МЕХТИ ГУСЕЙН

СХВАТКА

МЕХТИ ГУСЕЙН

СХВАТКА

Повести

Авторизованный перевод с азербайджанского
Юрия Карасева

Советский писатель
Москва 1963

Имя азербайджанского писателя Мехти Гусейна широко известно в нашей стране. Его романы «Утро», «Апшерон», «Черные скалы» принесли писателю заслуженную славу.

Сборник «Схватка» включает три повести, написанные М. Гусейном в разное время.

В ранней повести «Вражда», открывающей книгу, рассказана история трагической любви.

В повести «Схватка», посвященной первым годам коллективизации азербайджанской деревни, действуют два враждующих лагеря: с одной стороны, передовая сельская интеллигенция и беднота и, с другой стороны, кулачье, последыши мусаватизма, мусульманское духовенство. Бандитизм, религиозные суеверия, власть стародавних обычаев — со всем этим напряженно борются герои повести.

В «Трудной осени» изображены будни колхозной деревни в годы Великой Отечественной войны.

Романтическая окрашенность, взволнованная приподнятость стиля, динамичность сюжета придают повести М. Гусейна особое своеобразие.

вражда

1

В семью Садыха Гаджи-оглы пришла беда...

Старик узнал об этом, возвращаясь на становище из армянского городка Караклиса, куда ездил приторговывать арбу. Он уже одолел перевал, его серый конь резво трусил по бегущей вниз горной дороге. Садых-киши, покойно сидя в седле, с блуждающей на губах блаженной улыбкой смотрел на окутанные тучами вершины гор, на отары овец, беспечно пощипывающих изумрудную траву альпийских лугов, на реку, вьющуюся обок, в глубокой теснине. Слух его ласкали доносившиеся с пастбищ печальные звуки пастушьих свирелей.

До становища, расположенного чуть ниже, на плоскогорье, было уже рукой подать. Вдруг конь под Садыхом заржал; наставив уши, нервно подрагивая, косясь выкаченным, настороженным глазом на табун, пасшийся неподалеку, понесся галопом. Старик с силой натянул поводья — серый снова перешел на легкую рысцу. Завидев становище, Садых-киши пустил коня еще медленней: он словно растягивал удовольствие от предстоящей встречи с семьей. Заломив на самый затылок косматую папаху — ее лохмы, нависавшие над глазами, мешали смотреть, — он жадно, всей грудью вдохнул чистый, острый воздух и тотчас нахмурился: перед ним, как из-под земли, выросла сгорбленная старуха с кувшином на плече — видно, шла от родника. Пришлось осадить коня. Старуха, очутившись рядом, подняла на Садыха предостерегающий взгляд:

— Садых!.. Ты бы вразумил своего сына, не приведи аллах, еще беда случится!..

Садых-киши, перегнувшись к ней с седла, растерянно замигал глубоко сидящими, колючими, маленькими глазками, улыбнулся через силу:

— Ну, затрещала, сорока!.. Ты, Гюльпери, не полошись, обскажи толком, в чем дело.

Тетушка Гюльпери еще крепче сжала скрюченными пальцами ручку кувшина, огрызнулась:

— Я и говорю, присмотрел бы за сыном!.. Или мало у нас в кочевье девушек, красивых что твой джейран!

Видя, что от старой болтуньи толку не добьешься, Садых-киши, кряхтя, спешился и, вплотную подойдя к тетушке Гюльпери, сердито сказал:

— Что ты все вокруг да около!.. Не напускай тума-ну-то, говори прямо, что он натворил?..

Тетушка Гюльпери, в возбуждении не заметив даже, что с лица у нее упал яшмаг [1], заговорила быстрым, свистящим шепотом:

— Сын твой Лачин с невесткой Мухтара спутался, это с мужней-то женой!.. — Она поправила яшмаг, клятвенно подняла руку. — Не сойти мне с этого места, намедни сама, своими глазами их видела!.. Ты осади его, не дай бог, узнает муж, — кровь прольется, помяни мое слово, прольется напрасная кровь!..

Садых-киши слишком хорошо знал своего сына, чтобы вот так, на слово, поверить тетушке Гюльпери, любившей почесать язык по любому, даже зряшному, поводу; он мягко, увещевающе произнес:

— Подумала бы, что плетешь!.. Лачин не способен ни на что дурное. — Заметив, что она собирается возразить, он убежденно добавил: — Да он тени своей боится!

Гюльпери, крякнув, поудобней приладила на плече кувшин, засмеялась дребезжащим смешком:

— Эх-хе, нашел труса!.. Дай бог, чтоб мой сын был таким трусом!..

Смех ее звучал искренне. Садых-киши встревожился, улыбку с его лица как ветром сдуло; ведя коня в поводу, он свернул с горной дороги на каменистую тропинку, бегущую в становище, некоторое время брел молча, с опущенной головой, задумчиво теребя черными, заскорузлыми пальцами седую бороду. Сомнения терзали его душу. «У молодухи-то, говорят, ветер в голове, от нее всего можно ожидать, а муж ее, Самед, зверь зверем, еще и богач, ничего не боится, такому не попадайся под горячую руку. Ежели Гюльпери правду говорит — не миновать беды!..»

Старуха семенила чуть позади Садыха. Он вдруг резко вскинул голову, бросил через плечо:

— Где ты их видела?..

Готовно подавшись к нему, Гюльпери ткнула пальцем в тропинку, спускавшуюся к роднику, где только что брала воду:

---

[1] Яшмаг — покрывало, которым женщина закрывает нижнюю часть лица.

— Вон там, вчера в полдень. Я у себя в алачуге[1] сидела, видела, как они шли — не иначе как в ущелье, куда больше?.. Час, другой минул, а их нет и нет. Уж день начал к вечеру клониться, гляжу, твой Лачин домой возвращается, один, а там и Гюльяз выпорхнула, повертела туда-сюда головой, нет ли кого поблизости, кувшин на плечо — и к реке, чтоб, значит, следы замести... Вроде бы каждый сам по себе.

Рассказывая, тетушка Гюльпери время от времени посматривала на Садыха, проверяя, какое впечатление произвели ее слова; несколько раз она даже вздохнула с сочувствием, однако если бы старик поднял глаза, то заметил бы, что взгляд ее полон тайного злорадства. Но он не глядел на Гюльпери, потрясенный услышанным, и, уставясь в землю, медленно, в тяжком раздумье шагал по тропинке. Уже близ становища вытащил из кармана своего архалука кисет, набил табаком обкуренную трубку, высек кресалом огонь и после нескольких глубоких затяжек, пожав плечами, обескураженно проговорил:

— Ей-богу, голова кругом идет!.. Парень-то еще зеленый, мозги набекрень, мало что может выкинуть... Да и про Гюльяз всякое болтают...

Гюльпери искоса глянула на старика и, убедившись, что ее слова разбередили ему душу, довольно ухмыльнулась, чуть поотстав, подняла яшмаг до самых глаз и повернула к своему алачугу, крайнему в становище. Однако, не дойдя до дома, снова окликнула Садыха:

— Ты послушай меня, старую, задай ему хорошую трепку!.. Парень-то и правда молодой, может, образумится.

Садых-киши смолчал, выругался про себя: «Старая ведьма, еще ославит на все село!.. Язык-то без привязи!» Он дернул коня за поводья, прибавил шагу.

Собаки, сторожившие кибитки, с яростным лаем кинулись ему навстречу, но, узнав, поджали уши — одни, подбежав, начали ластиться, остальные, виновато виляя хвостами, разбрелись по своим местам.

Завидев Садыха-киши, ребятишки со всего становища припустились к нему со всех ног, обступили шумной гурьбой. Старик достал из кармана горсть конфет, куп-

---

[1] Алачуг — войлочная переносная кибитка.

ленных в Караклисе, роздал ребятам. Весело прыгая, перекликаясь, они проводили его до самого алачуга.

Становище жило своей обычной жизнью: девушки и женщины, сидя на корточках у алачугов, сбивали масло, молодые парни, пристроившись поодаль прямо на траве, балагурили, точили лясы. Один из них при появлении Садыха-киши поднялся, подбежал к нему, взял коня под уздцы, обращаясь к старику, ласково упрекнул его:

— Твоего возвращения, отец, приходится ждать, словно выхода шаха, — уж мы все глаза проглядели. Что так поздно?

Брови старика были насуплены, губы недовольно оттопырены; глядя мимо парня, он ворчливо ответил:

— Дожидался этого сына свиньи, он в Гюмри был, заявился лишь вчера под вечер.

— Купил у него арбу?

— Как бы не так, этот негодяй заломил такую цену...

— Опять не сторговались, — упавшим голосом сказал Лачин. — Придется, значит, и в этом году возвращаться в село на чужой арбе... Проклятая бедность!

Старик молчал, хмуря седые брови, стараясь не смотреть на сына. Лачин смекнул, что отец удручен не только неудачной поездкой.

— Ты отчего не в духе?.. Еще что-нибудь стряслось?

Садых-киши, не отвечая, стащил с коня хурджун, приказал сыну:

— Отведи коня. Седло пока не снимай!.. Да приглядывай за ним, чтоб по траве не катался: седло новое, помнет, чего доброго!

Лачин освободил коня от узды, повесил ее на стену алачуга, потом отвязал от луки седла длинную бечевку, взнуздал ею серого, повел на луг. Отец, сумрачно глядя ему вслед, крикнул:

— Конь вспотел, не давай ему пить, пусть пасется, где посуше!

Лачин выбрал место чуть пониже становища, неподалеку от чеила [1], стреножил коня и вернулся домой. Садых-киши сидел в алачуге на изодранном, расстеленном на полу перед пылающим очагом паласе туча тучей и по-прежнему отводил взгляд от сына. Лачин почуял недоброе: «Гневается старик... Видно, наболтали ему

[1] Чеил — заболоченное место на лугу.

про меня злые языки!..» Он с досадой покачал головой, опустился на палас, свернув калачиком ноги. Косясь на отца, с печалью подумал: «Отец, отец, ты своим молчанием душу мне выматываешь. Недоволен чем, так давай поговорим начистоту. Может, ты мне поверишь больше, чем другим!..»

Садых-киши продолжал сидеть с каменным лицом. Жена из кувшина полила ему на руки. Он вытер их о брюки и снова словно застыл.

Демонстративное молчание отца тяготило Лачина. Когда мать принесла в медной чаше простоквашу, он сердито попенял:

— Ты что, мама?.. Нынче не так уж жарко, чтобы потчевать старого человека простоквашей!

Мать вздрогнула. Поставив перед Садыхом-киши простоквашу и положив хлеб, пожаловалась ему:

— Ума не приложу, что с ним делать, какой камень бросить себе на голову!.. Сам горит и других жжет...

Старик, казалось, пропустил ее слова мимо ушей, он неторопливо накрошил в чашу ячменной лепешки, с аппетитом принялся есть. Но сетования жены заставили его задуматься: «Парень-то и верно переменился за последнее время — ишь кипяток!.. Женить бы его...»

В алачуге воцарилась тишина. Пока отец был занят едой, Лачин, в который уж раз, с горечью оглядывал свое убогое жилье. Старая домашняя утварь, дырявая войлочная подстилка у стены, у входа тощий мешок с мукой — все их запасы на лето, над головой отца грязная коптилка с длинным фитилем... Он вздохнул, нахмурился, как отец, понурясь, обнял руками колени: «Какой уж мир в доме при этакой-то бедности...»

Садых-киши наконец нарушил молчание, доедая простоквашу, сказал:

— С утра крошки во рту не было!.. Ночевал-то, как всегда, у Карапета-киши. Ох, солоно же им приходится!.. Хлеб нынче не уродился, детишки раз в день едят, да и что это за еда — пустая ячменная похлебка!.. Горько глядеть на них — личики бледные, шеи как черенки груши!..

Старуха покачала головой:

— Тяжка ты, бедняцкая доля!..

Лачину невмоготу было слушать эти разговоры, он молча поднялся, вышел из алачуга.

2

Бедность, бедность!.. Она-то и помешала его счастью, из-за нее он вынужден был теперь по вечерам, когда становище заволакивалось туманом, красться тайком, как вор, на свиданье с чужой женой...

Не будь он бедняком, голью перекатной, Гюльяз не другому, ему досталась бы в жены!..

Они подружились еще в детстве.

В семь лет Лачин был ловким, непоседливым пареньком, грозой местной детворы. Его побаивались даже те, что были постарше на два-три года. Если он с простодушным видом предлагал кому-нибудь из своих «недругов» пойти на луг за съедобными травами, тот, кинув исподлобья подозрительный взгляд, поспешно отказывался: с Лачином лучше не связываться!

Лачин рос, у него раздавались вширь плечи, и с каждым годом увеличивалась ребячья ватага, которой он верховодил; в нее входили уже и девочки, из тех, что побойчей.

Весной все их село снималось с места, уходило в горы, отделявшие их край от Армении, располагалось становищем на каком-либо плоскогорье, — вот уж где было раздолье ребятам!.. Они затевали на лугах веселые игры, рыскали по долинам и склонам гор, собирая съедобные травы. За ними часто увязывались мальчишки и девочки из соседних становищ. Из них Лачину особенно приглянулась Гюльяз, дочь бедняка из ближайшего кочевья. Он взял ее под свое покровительство, и она ни на шаг не отходила от него. Ее восхищали сноровка и смелость Лачина, а ему льстила эта ее восторженность и трогала чистая доверчивость, с какой она к нему относилась.

Однажды они отправились в долину Инджели за травами; их было тринадцать — пять ребят и восемь девочек. Ребята, как всегда, ушли далеко вперед. Лачин остановил их:

— Куда понеслись? Подождем девочек.

Когда девочки нагнали их, он весело крикнул:

— Пошли!..

И они все вместе двинулись дальше — Лачин и Гюльяз чуть впереди, остальные за ними. Ребята и девочки подняли шумную возню, бегали наперегонки, старались

подставить друг другу подножку, слышался смех, визг. Лишь Лачин и Гюльяз не принимали участия в этой кутерьме. Обычно Лачин не чурался таких проказ, сам порой ввязывался в шутливое единоборство с девочками, они визжали от удовольствия... Одну только Гюльяз Лачин не решался и пальцем тронуть, а если к ней приставал кто из мальчишек, он, надавав обидчику тумаков, прогонял его из своей ватаги. Гюльяз, благодарно улыбаясь, говорила ему, как взрослая:

— Да буду я жертвой рук твоих!..

И от этих слов сердце Лачина наполнялось счастливой гордостью.

Но вот взорам ребят открылась долина — всюду, насколько хватал глаз, пестрели цветы, зеленела трава, на полях колосились хлеба, от лугов, нагретых солнцем, похожих издали на узорчатые ковры, шел тонкий, пряный запах. Вчера здесь пролился дождь, и пологие склоны холмов, окружавших долину, переливались всеми красками, которые дала им весна. Во всем чувствовалась какая-то особенная свежесть.

Дойдя до некошеного луга, где было чем поживиться, ребята, приготовив мешки, рассыпались в поисках съедобных трав. Лачин снова оказался возле Гюльяз; они шли, то и дело нагибаясь, поглядывая друг на друга, пока не очутились у пшеничного поля. Тут оба заметили алеющий в пшенице пышный мак. Гюльяз первая бросилась к нему, за ней — Лачин. Из-за мака у них вспыхнула ссора. Гюльяз, повернувшись к подбежавшему Лачину, крикнула:

— Мой мак!.. Я первая увидела!

— Держи карман шире! — нахохлился Лачин. — Я первый!

— Все равно мой! — упрямо повторила Гюльяз. Она сорвала мак, отпрыгнула от Лачина, поддразнивая, замахала перед ним алым цветком. — Позлись, позлись!..

— Ах, ты так?..

Лачин, весь красный от злости, уязвленный тем, что девочка одержала над ним верх, не выдержал, набросился на нее, сжал ей руку у запястья, пытаясь отнять мак.

— Пусти, больно! — вскрикнула Гюльяз. — Пусти!.. Все равно не отдам!

Упрямство девочки только распалило Лачина. Он

повалил ее, опрокинув на спину; Гюльяз билась под ним, как птица, тщетно силясь высвободиться; мак осыпался; Лачин, прижимая Гюльяз к земле, тяжело дыша, торжествующе рассмеялся:

— Что, сдаешься? С Лачином еще никому не удавалось справиться!

На шум сбежались ребята, они обступили Гюльяз и Лачина. Лачин отпустил девочку, поднялся, окинул всех гордым, победным взглядом, по-взрослому снисходительно махнул Гюльяз рукой:

— Вставай!.. Будешь теперь знать, как со мной спорить! — И тут же, с детской непосредственностью и живостью увлекшись новой мыслью, блестя глазами, предложил ребятам: — Видите холм?.. А ну, кто первый на него взбежит?!

Ребята, толкаясь, выстроились в ряд, Лачин повернулся к стоявшей в сторонке Гюльяз:

— А ты что нос повесила? Иди к нам!

Гюльяз, обрадовавшись его приглашению, вмиг забыла о случившемся и присоединилась к ребятам. Они стояли, ожидая команды, а Лачин медлил, смотрел перед собой: вдали виднелась гора Авей, ее подножье было усеяно черными точками — там паслись стада. Ближе высились крутые, голые скалы, меж ними вилась дорога, соединявшая становище с армянским селом, а по дороге, держа путь к становищу, скакал всадник. Лачин, окликнув ребят, показал на него рукой:

— Это, верно, отец, он вчера поехал в Гулп, к своему другу Арутюну. — И хвастливо добавил: — Обещал привезти мне сукно на брюки и куртку!..

Кое-кто из ребят завистливо вздохнул. Лачин, подгоняемый нетерпеньем, поторопил своих товарищей:

— Насобираем еще немного травы — и айда домой!

Ребята привыкли подчиняться ему — снова все разбрелись кто куда.

Лачин и после этого дня продолжал держаться с Гюльяз как ни в чем не бывало. Но чем дальше, тем чаще вспоминалось ему ее раскрасневшееся лицо рядом с его лицом и упирающиеся, хрупкие, горячие плечи под его руками.

3

Когда в селе открылась русская школа, Садых-киши отдал в нее Лачина. Три года провел Лачин за партой, забросив детские игры, отдалившись от товарищей, он перестал встречаться даже с Гюльяз. Смышленый, бойкий и в то же время не по летам серьезный, он сделался любимцем учителя, и тот попробовал устроить его в школу при Горийской семинарии. Однако там для сына бедняка не оказалось места. «Не огорчайся,— утешал его учитель.— Примут в следующем году». Но Садых-киши не разделял этих надежд, к тому же пора уже было парню помогать семье. Отец отправил Лачина пасти общинное стадо — община платила чабанам за каждые двадцать голов по барану, для семьи Лачина это было немалым подспорьем.

И снова юношу потянуло к подруге детства Гюльяз, только на смену дружбе пришло новое, сладкое и тревожное чувство.

Лачину исполнилось уже семнадцать лет. Их становище располагалось там же, где и сейчас, отцы Гюльяз и Лачина оказались в одном кочевье, но, хотя Лачин видел девушку чуть не каждый день, он все не находил удобного случая открыть ей свое чувство, боялся, что, если заметят их вместе, по становищу загуляет сплетня.

Однажды девушки и молодицы, а с ними и Гюльяз надумали совершить паломничество к святым местам, на гору Маймаг. По пути они встретили отару, которую пас Лачин. Чабан подошел к паломницам; на нем была новехонькая бурка, на ногах щегольские чарыхи с вздернутыми носками. Настоящий джигит!.. Когда Гюльяз увидела его, у нее сердце зашлось от радости, но она ничем себя не выдала, только потупила глаза.

Лачин, вскинув на плечо пастуший посох с тяжелым набалдашником, шутливо сказал девушкам:

— А ну, красавицы, что несете на пир?..[1] Небось наготовили всяких лакомств! — Он повернулся к Гюльяз.— Девушка!.. Угостила бы бедного чабана.

Легкая краска разлилась по щекам Гюльяз, длинные черные ресницы дрогнули; она украдкой бросила на Лачина многозначительный взгляд, улыбнулась краешком губ, стараясь попасть в шутливый тон, проговорила:

---

[1] Пир — святое место.

— Уж так и быть, угощу. Ты любишь хамрали?

— Кто ж их не любит!

Гюльяз сошла с дороги, присев на теплый валун, развязала узел, полный хамрали — румяных хлебцев из дрожжевого теста, протянула один из них Лачину:

— Ешь на здоровье! — И вздохнула с деланным сокрушением. — Ой, боюсь, пока дойдем до Маймага, все хлебцы кончатся!..

Лачин, выпростав из-под бурки руку, взял хлебец, засмеялся:

— Авось что-нибудь останется!

Спутницы Гюльяз успели уйти вперед. Гюльяз поднялась, зашагала по дороге рядом с Лачином. Ребятишки-подпаски погнали отару следом.

Лачин и Гюльяз шли, оживленно разговаривая, вспоминая проделки и забавы детских лет, — на них снова пахнуло теплом той светлой поры, но и новый жар опалял их сердца, и, ловя на себе пылкий взгляд Лачина, Гюльяз краснела от смущения и счастья...

Доев хлебец, Лачин напился из первого попавшегося на пути родника, вытер полой архалука губы, спросил Гюльяз:

— А ты, верно, и думать обо мне забыла?

У Гюльяз часто-часто забилось сердце, кровь прихлынула к лицу. Не поднимая глаз на Лачина, она тихо сказала:

— Зачем так говоришь? — У нее задрожали губы. — Я тебя никогда не забуду!

Теперь уж и Лачин покраснел, взволнованный этим признанием, а в груди у него все ликовало — Гюльяз верна их дружбе, верна ему, Лачину!..

Они вышли к долине, по которой, преграждая им путь, мчалась бурная горная речка. Паломницы, опередившие их, растянулись журавлиной стаей, подбирая подолы, переходили речку вброд. Гюльяз в нерешительности остановилась на берегу. Лачин, глядя на реку, сказал:

— Вода, верно, холодная. Погоди, я разуюсь и перенесу тебя.

Гюльяз испуганно замотала головой:

— Нет, нет!.. Я сама!

Лачин снял свои чарыхи, подвернул брюки, Гюльяз тоже разулась. Взгляд Лачина невольно задержался на

ее стройных голых ногах... Справившись с неловкостью, он протянул ей руку:

— Держись за меня!

На этот раз она не стала отнекиваться: так, рука в руке, то и дело поглядывая друг на друга, они перебрались на другой берег и медленно двинулись вслед за женщинами — оба не спешили их нагонять.

Когда они достигли перевала, подпаски направили отару вверх по горному склону. Неожиданно со стороны Караклиса налетел туман, окутал все вокруг белой, густой пеленой — не стало видно ни отары, ни паломниц, — казалось, Лачин и Гюльяз остались одни на дороге.

Сдвинув брови, Гюльяз с беспокойством всматривалась в туман, откуда-то издалека доносились голоса ее подруг — ой, как же она отстала от них!.. Лачин, заметив ее испуг, улыбнулся:

— Не бойся, Гюльяз!.. Лачин не из таких!.

«Правда, Лачину можно довериться, — уговаривала себя Гюльяз. — Он не сделает мне ничего плохого». Все-таки она прибавила шагу. Лачин некоторое время шел по-прежнему не торопясь, но, увидев, что Гюльяз все удаляется, в несколько прыжков настиг ее, заглянув ей в глаза, спросил:

— Куда так спешишь?.. За нами вроде никто не гонится.

— Пойдем побыстрей! — взмолилась Гюльяз, отводя от него взгляд. — Смотри, как отстали!

«Боже, что о нас могут подумать?» — со страхом добавила она про себя.

Лачин, не отрывая глаз от ее пылающих щек, — как ему хотелось поцеловать их! — взял Гюльяз за руку, но тут же отпустил ее, смущенный близостью девушки. Сердце его бешено колотилось, он проговорил дрогнувшим голосом:

— Не беги так!.. Обождут твои подружки. Когда еще удастся поговорить...

Гюльяз отстранилась от него, нахмурила брови — зачем он ее задерживает, неужели хочет, чтоб про нее пошла дурная слава?.. Вдруг она остановилась — ладно, Лачин, будь по-твоему, давай поговорим, только ты не обижайся, я скажу все, что думаю.

— Лачин!..

Юноша уловил в ее голосе теплоту и волнение, лицо его просияло:

— Говори, я слушаю.

— Лачин!.. — Гюльяз замялась. — Послушай, Лачин... — Она потерла ладонями щеки, алые как маков цвет, захолодевшие на промозглом воздухе, вся дрожа от внутреннего напряжения, выдохнула одними губами: — Ты... ради меня... не можешь бросить батрачество?

До Лачина не сразу дошел смысл ее слов, он с недоумением взглянул на Гюльяз — что ж стыдного в том, что он батрак?.. Уж от кого, от кого, а от Гюльяз он не ожидал такого упрека. Или это ее старики сказали ей, что не отдадут дочь за простого чабана?.. Он побледнел. Помедлив, угрюмо сказал:

— Разве быть батраком позорно?.. Ты ведь знаешь, мой отец беден.

— Я не говорю, что позорно. Только... — Она опять запнулась, устремила взгляд в какую-то точку перед собой.

Лачин поторопил ее:

— Договаривай!

Она мягко коснулась его руки:

— Я хотела сказать... ты достоин лучшей доли!

Наступило молчание...

Туман все густел, пропитывая воздух знобкой сыростью. На Гюльяз было только легкое платье, холод пробирал ее до костей, она совсем продрогла, и, как ни пыталась, ей не удалось скрыть это от Лачина: он откинул полу своей косматой бурки, позвал девушку:

— Зазябла?.. Становись под бурку, не бойся, иди сюда!

Гюльяз, больше всего сейчас боявшаяся, как бы ее не увидели подруги, поспешно отказалась:

— Мне не холодно!

— Боишься! — усмехнулся Лачин. — Тогда нá, накинь бурку на себя!

— Нет, нет!

Лачин, потеряв терпение, привлек Гюльяз к себе, укрыл под буркой; Гюльяз попыталась вырваться — не тут-то было, он крепко прижал ее к себе, сказал срывающимся голосом:

— Вот так... И не бойся меня!..

Он обхватил рукой ее обмякшие, покорные плечи. Так они и пошли дальше под одной буркой, помалкивая от избытка чувств.

Туман стал постепенно редеть, уже завиднелась отара, рассыпавшаяся по склону горы, а вскоре из прозрачной мглы выступили фигуры идущих впереди женщин. Заботясь о Гюльяз, Лачин поспешил выбраться из-под бурки, зашагал чуть поодаль от девушки. Она одарила его благодарным взглядом.

Дорога круто устремилась в гору, это был уже Маймаг. На его вершине женщины остановились. Долгий путь утомил их, но стоило им только рассесться на траве, как они снова замололи языками. Завидев приближающуюся парочку, женщины внезапно умолкли; по их напряженным, полным любопытства лицам Лачин понял, что до их прихода односельчанки судачили о нем и Гюльяз. Он отошел от девушки, крикнул, стараясь придать своему голосу беззаботность:

— Девушка!.. Бурка пускай у тебя остается!

И заторопился к пасущейся на нетронутом лугу отаре.

Гюльяз, еще не оправясь от смущения, подошла к женщинам, свернув бурку, бережно положила ее на круглый, уже начавший подсыхать валун, обвела своих спутниц вопросительным взглядом. Они по-прежнему молчали, стараясь не смотреть на Гюльяз. Девушка в замешательстве сорвала травинку, задумчиво покусывая ее, оглянулась... Отсюда, с Маймага, одной из самых высоких гор Армении, видны были словно игрушечные, похожие на спичечные коробки, крытые черепицей дома Караклиса, железная дорога в Гюмри, поезда, ползущие по ней, словно черви по зеленому листку, еще дальше — густые леса, высокие холмы, за ними — голубеющие, как море, борчалинские пастбища и совсем-совсем далеко — окутанная туманом, теряющаяся в облаках вершина седого Арарата.

Лачин уже добрался до отары, повернул ее к дороге. Он медленно брел за сбившимися в кучу овцами, думая свои невеселые думы. «Если бы не лежало ко мне ее сердце, она бы не притихла так под буркой... Нам обоим было славно, она любит меня!.. Только, видать, одной любви мало для счастья — согласятся ли ее родители отдать дочь за бедняка, вынужденного пасти чу-

жих овец?.. Проклятая бедность!.. А мне без Гюльяз теперь и жизнь не в жизнь... Да что у нее, своей воли нет? Захочет, так уговорит стариков!»

Ему снова пришлось пройти мимо отдыхавших женщин. Он поймал на себе робкий взгляд Гюльяз, насупившись, отвернулся. Одна из молодиц окликнула его:

— Лачин!.. Спой нам песню о горах!

— Спой, спой! — наперебой загомонили остальные.

Лачин отрицательно качнул головой. «До песни ли тут! — горько подумал он про себя. — Вам-то, как погляжу, весело, у вас в головах одно, у меня другое...» Но женщины не отставали от него, а когда к их просьбам присоединилась Гюльяз, Лачин уступил. Он велел подпаскам вести отару назад, к становищу, сам же, нахлобучив папаху на самые брови, уставился в землю, словно припоминая слова песни, потом вскинул голову и, смотря прямо перед собой, затянул песню ашуга Алескера «Горы». Девушки и женщины обратились в слух; ободренный их вниманием, Лачин запел громче, увлеченней; песня эхом отдавалась в горах:

Затянуты мглою по самую бровь,
Готовы пролить вы невинную кровь,
Как осень цветы — сжечь чужую любовь.
Ни зла, ни добра вы не знаете, горы!..

Парча не нужна вам — милее стократ
Из белых туманов воздушный халат.
Равны перед вами — и нищ и богат,
Над миром земным вы витаете, горы!..

Боятся вас люди — живут вдалеке.
Я руку тяну к вам — лишь холод в руке!
Брожу, как Меджнун, изнывая в тоске.
Тоску эту вы охраняете, горы! [1]

Кончив петь, Лачин опустил голову, печально вздохнул. Женщины с дрожащими на ресницах слезами смотрели на теснившиеся вокруг безмолвные, равнодушные ко всему горы, о которых пел Лачин; перед их взором, как на ладони, лежали луга и долины, змеились выбегавшие из тумана горные тропы, проложенные кочевни-

---

[1] Перевод Ю. Карасева.

ками, вилась шоссейная дорога, ведущая к медным промыслам на Гамза-чинаме.

А Гюльяз исподтишка глядела на Лачина, и сердце у нее щемило — как он любит ее, как жалко, что он так беден!..

4

Да, бедность помешала счастью Лачина и Гюльяз. Покорная родительской воле, девушка вскоре вышла замуж за Самеда, сына Мухтара, грубого как животное, но зато владевшего самой большой отарой.

Гюльяз, однако, не в силах была забыть о Лачине — и не мужу, Лачину отдала свою любовь.

Они начали встречаться в начале этого лета, когда Самед спустился в село, на равнину, чтобы следить за ходом жатвы.

По вечерам, когда становище заволакивалось туманом, Лачин тайком, как вор, крался на свидание с чужой женой — своей Гюльяз, по той, спускавшейся к роднику и речке, тропинке, о которой говорила Садыху-киши всеведущая Гюльпери.

В ущелье, в укромном месте меж скалами, его обычно уже поджидала Гюльяз — она уходила из дому тут же после дойки коров, прикинувшись, будто спешит к реке по воду.

На другой день после возвращения Садыха-киши из Караклиса Лачин, незаметно выскользнув из дому, опять отправился в ущелье — они заранее договорились с Гюльяз о встрече.

Он сбежал по тропинке к роднику, прошел к ущелью — Гюльяз в условленном месте еще не было. Лачин присел на потемневший от времени, замшелый камень, отдававший рыбой, устремив взгляд в сторону становища, закрытого от него узкой, но плотной полосой тумана, стал ждать, когда на тропинке покажется Гюльяз. Она все не шла. «Не похоже это на нее, так запаздывать, — подумал он с беспокойством. — Неужто муж приехал?.. Она говорила, что он на днях должен вернуться, тогда уж ей не вырваться из дома!.. Да нет, если б он пожаловал, она уж как-нибудь дала бы мне знать».

Река с тихим рокотом, словно приглушенным тума-

ном, несла мимо Лачина быстрые воды, оба ее берега были сплошь покрыты сочной, душистой травой и яркими цветами. Лачин сорвал травинку, принялся рассеянно жевать ее, не сводя глаз с тропинки, по которой должна была прийти Гюльяз, и напевая себе под нос печальную песенку; звуки ее сливались с монотонным и тоже печальным плеском речных волн. Гюльяз все не было. Душу Лачина охватила тревога — никогда еще она так не задерживалась, уж не стряслось ли беды?..

Лачин любил Гюльяз и верил, что и она рвется к нему всем сердцем. Она признавалась юноше, что, как только увидит его, так всю ее тоску как рукой снимает, и пусть ее отдали за нелюбимого — она счастлива встречами с тем, кого любит. Она даже согласна была хоть сейчас убежать вместе с Лачином из дома, но ее удерживал страх перед родителями, а еще пуще боялась она, что их побег вызовет межродовую вражду и кровопролитие.

Лачин вскочил на ноги. Что же сегодня помешало ей прийти в ущелье?.. Неужели в селе узнали об их тайных встречах? Отец, вчера вернувшись из Караклиса, как-то странно держался с ним — уж не из-за Гюльяз ли?.. Или, может, на нее навалились домашние заботы?

Он начал торопливо взбираться по тропинке вверх, к становищу. Сердце его сжималось от тоски и тревоги. Дойдя до родника, где они порой тоже встречались с Гюльяз, он осмотрелся. И здесь ее нет!.. Возвращаться домой ему не хотелось, он решил еще немного подождать Гюльяз, повалился возле тропинки на траву и долго лежал, положив ладони под голову, прислушиваясь к учащенному биению своего сердца и бездумно глядя в мглистую глубину неба... Туман, наносимый от Караклиса, плыл над ним белыми волнами к становищу, трава была холодная, влажная — он не замечал этого.

Вдруг невдалеке послышались, приближаясь, чьи-то шаги. Лачин вздрогнул, сел на траве, напряженно вглядываясь в туман, завесивший становище. Вскоре из тумана проступили очертания двух фигур. Присмотревшись, Лачин узнал отца и тетушку Гюльпери; она семенила рядом со стариком, указывая ему дорогу. Лачин поднялся и замер на месте, не зная, что ему делать... Вот уж они совсем рядом. Садых-киши увидел

сына, и, встретившись с ним взглядом, Лачин невольно попятился: глаза у старика были налиты кровью, лицо серое как пепел, губы дрожали от ярости. Оставив Гюльпери, он шагнул к сыну, встал перед ним лицом к лицу... На нем был старый архалук, перетянутый серым кушаком, суженный конец которого болтался у самых колен, поношенные, висевшие мешком, мятые брюки с белой заплатой, черные обмотки на ногах... Взгляд юноши упал на толстый, очищенный от коры кизиловый прут, который старик держал в руке, — таким прутом он частенько лупил Лачина в детстве. Зачем он сейчас-то старику?.. Лачину уже восемнадцать, у него вон и усы пробиваются, неужто отец осмелится поднять на него руку?.. Да и за что?.. Если отец спросит его, как он тут очутился и кого ждет, Лачин ответит как можно беспечней, что ходил ловить форель; старик, конечно, потребует, чтобы он показал улов, так он и тут вывернется, скажет, что было холодно и он не решился лезть в воду...

Но Садых-киши ни о чем не стал его спрашивать. Смерив сына бешеным взглядом, он набросился на него, и кизиловый прут заходил по спине, по плечам, по ногам Лачина — тот не успевал увертываться от ударов, градом сыпавшихся на него: схватится за ушибленное плечо — прут обожжет руку, отдернет руку — удар придется по груди... Наконец, скрипя зубами от боли, Лачин изловчился, поймал отца за руки, стиснул их — и вырвал у него прут. Садых-киши стоял перед ним, тяжело дыша, сверля его сузившимися от ненависти глазами. Лачин с болью и недоумением спросил:

— За что, отец?.. Спятил ты, что ли?

Эти слова только подлили масла в огонь, у старика затряслись морщинистые щеки, губы сделались совсем синими, он вновь с кулаками накинулся на Лачина:

— Сукин сын!.. Ты еще спрашиваешь?.. Совсем стыд потерял, мерзавец!

Он так надрывался, что голос его гремящим эхом отдавался в скалах, высившихся на другом берегу реки.

Гюльпери, до смерти перепуганная этим криком, жалась в сторонку, но страх не мешал ей с тайным удовольствием внимать звукам тяжелых ударов, которые обрушивались на Лачина, — у нее словно занозу из сердца вынимали.

Садых-киши, как разъяренный петух, все наскакивал на Лачина, норовя схватить его за пояс и повалить на землю. Но Лачин ловко ускользал от него, и, видя, что ему не сладить с сыном, старик совсем осатанел — он готов был лопнуть от злости; бегая за Лачином, он, задыхаясь, с пеной у рта, осыпал его ругательствами, какие только приходили ему на ум:

— Сын свиньи!.. Ублюдок, вышедший из собачьей утробы!.. Клянусь, задушу тебя своими руками! Стой!.. Стой, говорю!.. Не то все кости тебе переломаю, поганое отродье!

В Лачине тоже все кипело. Он мог только догадываться, за что отец решил учинить над ним расправу, но все равно, он уж не маленький, чтоб его наказывать, старик, видно, совсем рехнулся!.. Поверил чьим-то наветам, ни с того ни с сего отхлестал прутом взрослого парня!.. У Лачина все ребра ныли от ударов, жгло руки и плечи — отец живого места на нем не оставил. Нет, правда, помешался старик!.. Опозорил Лачина перед товарищами, перед всем кочевьем — что теперь будут говорить соседи?.. В душе юноши закипала ненависть к отцу, руки тряслись от бессильного гнева!.. Нет, не носить ему папахи, если он когда-нибудь посмотрит старику в лицо!

Он отпрыгнул от Садыха-киши, резкой, быстрой походкой зашагал вверх по тропинке. Отец ринулся следом, за ними поспешила тетушка Гюльпери. Старик кричал, угрожающе размахивая руками:

— Куда, сукин сын, трус паршивый, ну погоди, я с тебя живого шкуру спущу!

В спину парню бил порывистый ветер. Туман над становищем начал рассеиваться — уже можно было различить в вечернем сумраке крайние кибитки. Взобравшись на плоскогорье, Лачин обернулся к отцу, который, пыхтя и бранясь, карабкался в гору, крикнул ему:

— Что тебе надо от меня, отец?.. Чем я тебя прогневал?

Старик тоже остановился, отдуваясь; уставился на сына непримиримым взглядом — ишь, негодник, овечкой прикидывается, недаром говорится, вор так орет, что у честного сердце в пятки уходит!.. Отдышавшись, он заголосил с новой силой:

— Будто не знаешь, щенок, чтоб тебя поразили недуги!.. Вон с моих глаз!.. Убирайся хоть к черту в пекло, видеть тебя не желаю!.. Нет у меня больше сына по имени Лачин!

Ветер дул в сторону Лачина — он ясно слышал, как тетушка Гюльпери подзадоривала старика:

— Так его, так!.. Авось теперь дурь-то из башки выкинет!

Мозг Лачина пронзила догадка — видать, тут не обошлось без Гюльпери, эта старая ведьма умеет пустить воду под солому, ну да, она как-то видела его с Гюльяз, вот и донесла об этом старику — как ему раньше-то не пришло это в голову!.. Ишь ужом крутится вокруг отца. Схватить бы ее за седые косы, намотать их на руку да выдернуть, чтоб впредь неповадно было мутить воду!.. Лачин даже зубами скрипнул при этой мысли, но осторожность взяла верх над мстительным порывом: свяжешься с ней — еще снова угодишь в лапы к отцу... И Лачин только прокричал сверху:

— А тебе что тут надо, дочь свиньи?.. Все вынюхиваешь, как собака!.. Будь проклят твой отец, Ибад-киши!.. Попадись мне только, так намну бока, что кости в воск превратятся!

Гюльпери спряталась за спину Садыха-киши. Лачин, от греха подальше, круто повернувшись, быстро зашагал к становищу.

5

Лачин угадал: Гюльяз не пришла в этот вечер в ущелье, так как узнала, что приезжает муж, — сообщить об этом Лачину она не успела.

Самед приехал в становище под вечер, когда скотина возвращалась с пастбища. По дороге его перехватила вездесущая тетушка Гюльпери. Поздоровавшись с ним, проговорила елейным, соболезнующим голосом:

— Да перейдут ко мне все твои недуги, Самед, ты у нас молодец из молодцов, гордость нашего кочевья, не допускай же, чтоб над тобой смеялись, подтяни вожжи своей женушке!..

И удалилась, ничего больше не прибавив, но и этих, полных скрытого смысла слов было достаточно, чтобы в душу Самеда закралось подозренье: видно, и впрямь

Гюльяз без него натворила что-нибудь, тетушка Гюльпери зря болтать не станет...

Он осадил коня возле самого большого алачуга, красовавшегося в центре становища, кинул поводья батраку, выбежавшему навстречу, молча снял с коня тяжелый хурджун, набитый абрикосами, яблоками, грушами и огурцами... Его окружили родичи. Он даже не поздоровался с ними, не взглянул в сторону жены, цыкнул на приветливо улыбающуюся мать:

— Иди, иди домой, я сейчас!..

Мать сердобольно вздохнула — бедняга, видно, притомился с дороги, а у Гюльяз, стоявшей в сторонке с поднятым до глаз яшмагом, со сложенными на груди руками, тревожно забилось сердце.

Самед вошел следом за матерью в алачуг. Та уже суетилась, готовя ему ужин: растопила на очаге масло, разбила яйца, нарезала чесноку. Не прошло и нескольких минут, как уж перед Самедом, пузырясь, шипела яичница. Он, однако, и не притронулся к ней. Мать, обеспокоенная его молчанием, несмело спросила:

— Да перейдут ко мне твои недуги. Что с тобой, сынок, отчего ты такой хмурый?

Самед взорвался:

— Перестань жужжать над ухом!.. — И, словно разговаривая с самим собой, раздраженно продолжал: — Сколько раз говорил отцу, на черта нам связываться с этим свинячьим отродьем, так нет, никто меня и слушать не хотел, благо бороды еще не было!..

Мать с сочувственным недоумением воззрилась на сына:

— Что случилось-то, родимый?..

На этот раз Самед удостоил старуху своим вниманием. Понизив голос, чтобы никто, кроме матери, не мог его услышать, злобно прошипел:

— А то и случилось, что меня опозорили!.. Весь род наш покрыли позором!.. Не будь я сыном Мухтара, если не изрежу ее на куски!..

В это время в дверях показалась Гюльяз. Услышав слова мужа, она испуганно отпрянула назад, в темноту.

Самед рассказал матери о своей встрече с Гюльпери. Доев остывшую яичницу, отрыгнул, развалился на паласе, опершись о мутаку с разноцветными кистями, которую мать заботливо подложила ему под локоть.

Если смотреть на Самеда глазами Гюльяз, он выглядел настоящим уродом. Рыжие, жесткие волосы, налитые кровью глаза, огромный, с мясистой бородавкой нос, свисающий почти до круглого, жирного подбородка, красный рубец на толстой, бычьей шее — все вызывало в Гюльяз неодолимое отвращение. Особенно безобразным Самед становился, когда его, вот как сейчас, разбирала злость. Однако для матери он был самым красивым и храбрым парнем на селе. Она любила его слепой материнской любовью, ради него, как родную, приняла в дом Гюльяз. На ее взгляд, лучшей жены для сына и невестки для себя не сыскать было во всей округе — старательная, работящая, она безропотно исполняла любое приказание свекрови, и той оставалось только расхаживать по дому, уперев руки в бока, этакой ханшей да отдавать распоряжения, — старуху это вполне устраивало... То, что она услышала от Самеда, грозило разрушить устоявшиеся домашние порядки, перевернуть вверх дном всю ее, такую покойную, безмятежную жизнь. Старуху это не на шутку встревожило. Силясь заглушить в себе порожденные словами Гюльпери сомнения, жалея сына, она принялась, как могла, утешать его, весь гнев свой обрушив на тетушку Гюльпери:

— Кого ты послушал?.. Эта дочь свиньи известная сплетница да завистница. У нас-то дом полная чаша, вот она и бесится, со злости болтает, что в голову взбредет, а ты в одно ухо впусти, в другое выпусти. Да как у нее язык повернулся — возвести на мою невестку такую напраслину!.. Такой кроткой да послушной во всем селе не сыщешь!

Слова матери немного успокоили Самеда — и правда, с какой стати он уши-то развесил, все знают, эта Гюльпери горазда склоку разводить!.. Но смутная тревога продолжала терзать его душу, и про себя он решил отделить от общей отары своих овец и уйти в другое кочевье, так, на всякий случай, ради собственного спокойствия.

Ближе к полуночи в алачуг ввалился сам Мухтар-киши, ездивший по делам в армянское село Берзан. Это был рыжий, как и его сын, рослый мужчина с могучими плечами. Почти всю свою жизнь он провел в горах, на свежем воздухе, и, может, оттого казался по сравнению с Самедом более сильным и крепким. Входя, он при-

гнулся и все же ударился головой о притолоку, но боли, видно, не почувствовал — благодушно улыбаясь, шагнул к сыну и обнял его так, что у того затрещали кости. Потом они сели на палас, отец принялся расспрашивать Самеда о здоровье, о делах, тот подробно доложил, какой урожай ожидается в этом году, сколько денег истрачено на жатву, и неожиданно заявил о своем намерении отделиться от кочевья. Отец, рассердившись, заспорил было с ним, не понимая, с чего это ему взбрело такое в голову, но Самед так горячился, с таким упорством настаивал на своем, что Мухтару-киши ничего не оставалось, как сдаться, — не все ли равно, в конце концов, с кем кочевать, богатство — везде богатство!..

— Ладно, сынок, будь по-твоему, ежели уж тебе вожжа под хвост попала. Надо только какой-нибудь повод придумать, не то пойдут разные толки...

Самед, усмехнувшись, успокоил его:

— Об этом не волнуйся, завтра же найду тебе сотню поводов!

Было уже поздно, и, когда в алачуг робко вошла Гюльяз, Самед сказал, что хочет спать. Гюльяз содрогнулась от отвращения, услышав его хриплый, повелительный голос. И пока она в маленькой кибитке, приютившейся возле алачуга, стелила постель, руки у нее дрожали, сердце трепетало, словно раненая птица. С ужасом думала она о той минуте, когда сюда явится Самед — бесцеремонно обнимет ее, притиснет к ее щеке свою щетинистую щеку... В первые дни после замужества она, покорившись судьбе, еще терпела его властные, грубые ласки, но теперь, узнав всю сладость настоящей любви, видела в муже жестокого, кровожадного зверя, самого заклятого своего врага!.. И не было для нее горше муки, чем необходимость жить с ним под одним кровом, спать в одной постели. «Почему смерть не взяла его — я бы тогда вздохнула свободно! — часто говорила она себе. — Но нет, ему не суждено так скоро умереть, бог дает таким людям долгую жизнь... Тогда я умру — задушу себя, и навсегда избавлюсь от всех мучений!..»

Медленной походкой, словно приговоренная к каз-

ни, вернулась она в алачуг. Самед посмотрел на нее снизу вверх, насупился. «И ей не совестно показываться мне на глаза!..» Но Гюльяз, бледная, напряженная как струна, была так красива, что его охватила похоть, и он попытался даже оправдать жену: «Да что я извожу-то себя, может, она ни в чем и не повинна, Гюльпери и соврет — недорого возьмет».

А Гюльяз, застывшая в дверях, не могла заставить себя взглянуть на мужа и не в силах была подавить в душе жгучую ненависть к нему. О, какое было бы счастье, если бы свекровь или свекор услали ее куда-нибудь!.. Но нет, видно, до конца жизни терпеть ей эту страшную пытку!

В это время свекровь, сидевшая у очага со сложенными на коленях руками, повернула к Гюльяз трясущуюся голову:

— Доченька, развяжи-ка хурджун!

Гюльяз, словно очнувшись от забытья, нагнулась над хурджуном, достала оттуда привезенные мужем фрукты, положила их перед свекровью. Мухтар-киши снял папаху, ремень, потянулся к абрикосам. Выбрав самый спелый, громко зачавкал, жмурясь от наслаждения. Самед встал, сладко потянулся, смотря на жену, спросил:

— Постель готова?

Гюльяз, судорожно глотнув воздух, кивнула и невнятно пробормотала что-то, уставясь в пол. Самед поднял с пола свой ремень и, взглядом приказав жене следовать за ним, удалился. Но Гюльяз не двинулась с места, ноги у нее словно налились свинцом, сердце отбивало гулкие удары. Смотря вслед мужу, она проклинала свою несчастную долю: «Да падет кара на того, кто продал тебе мое тело и душу...» Из раздумья ее вывел голос Мухтара-киши. Дожевав грушу, он сказал, покряхтывая:

— Эх-хе, что-то и меня разморило, постели-ка нам, дочка.

Гюльяз приготовила старикам постель и, еле передвигая ноги, словно кто тащил ее на канате, вышла из алачуга, побрела к кибитке, как на заклание...

6

Отец Лачина, Садых-киши, всю жизнь провел в бедности — дома порой не было даже ячменного хлеба, в общинной отаре паслось обычно не больше семи-восьми овец. А в этом году весь хлеб у них сгорел. Садых-киши все с себя продал, чтобы приобрести хоть немного ячменя. Семья перебивалась с хлеба на воду, и Лачин собирался осенью, после возвращения на равнину, поискать работу в городе или на медных рудниках Аллаверди.

Стычка с отцом ускорила события. Затаив в душе обиду на старика, Лачин в ту же ночь ушел из дома и пешком отправился в Караклис. При нем, кроме ножа, ничего не было, он шел, настороженно поглядывая по сторонам — в горах можно было встретить и грабителей, и диких зверей.

Он шел, и в его мозгу, затуманенном страданием, мысли, одна тревожней другой, неслись, как волны, беспорядочной чередой, сменяя одна другую: «Куда я иду, куда толкает меня коварная, жестокая судьба?.. Что скажут люди, узнав о моей ссоре с отцом?.. А Гюльяз?.. Доведется ли нам еще свидеться?.. Мужу, наверно, уж обо всем рассказали. Что сделает он с Гюльяз?.. Он убьет ее, и это я буду виноват в ее гибели, я не перенесу этого!.. Уж, видно, на роду мне написано — не знать счастья!.. Что мне оставалось?... Только бежать, подальше от этих мест!..»

Лачин брел по горной дороге, весь во власти изнуряющих душу сомнений, брел, ничего не замечая вокруг, не сознавая толком, куда и зачем идет, он словно спал, и во сне его мучали кошмары, а порой у него было такое ощущение, будто он проваливается в бездонную пропасть...

Непроглядный, промозглый ночной мрак окружал Лачина. Дойдя до спуска Санемсурилен, он задержал шаг, с тревогой огляделся: «Где это я?..» Если бы дело было днем, он увидел бы перед собой голые скалы, высившиеся в начале Санемсурилена, справа — овраг, густо заросший кустарником, слева — леса Караклиса. Но вокруг было темно, хоть глаз выколи, — что он мог разглядеть в этой кромешной тьме?.. Его охватил озноб: дрожа как в лихорадке, он зябко передернул плечами —

никогда еще не испытывал он такого страха... Проглотив подступивший к горлу комок, Лачин зашагал дальше. И только когда дорога пошла под уклон, юноша догадался, где находится, и удивился,— ему казалось, что он шел медленно, однако он успел одолеть половину пути, который обычно проходят за день. Глубоко вздохнув, Лачин пожаловался сам себе: «До чего ж я устал, на ногах словно пудовые камни!..»

Но под гору идти было легче, и на Лачина нахлынули воспоминания о днях, проведенных им здесь, в этих горах... Он вспомнил, как ходил сюда с Гюльяз собирать карагат[1], как, обняв, впервые поцеловал ее — это было еще до замужества. При этом воспоминании горькая усмешка тронула его губы: изменчивый, неверный мир!..

Припомнилось ему также, как он в позапрошлом году пас здесь овец и чабан Амирослан ночью украл ягненка из отары соседнего, армянского кочевья. Он принес свою добычу, закутав ее в бурку, разбудил Лачина — в памяти отчетливо, как будто это случилось вчера, возникло довольное, ухмыляющееся лицо чабана. Лачин словно услышал, как Амираслан зовет его: «Вставай, гляди, какой молоденький, нажарим мяса, вдоволь наедимся!..» Лачин тогда хоть и лег спать голодным, с презрением посмотрел на своего товарища и гневно воскликнул: «Убирайся ко всем чертям, я не ем ворованного!» Его всегда возмущали подобные набеги на чужие отары и стада. А ведь именно таким путем разбогатели многие его земляки, в том числе и Мухтар, отец Самеда, а про самого Самеда поговаривали, будто он с четырнадцати лет занимался конокрадством.

Кутаясь в бурку, он уже вошел в лес, дышавший сыростью и холодом. Лачин спросил себя: «Может, и мне нужно было воровать, как это делали Самед и Амираслан?.. Богатство, нажитое разбоем, все равно богатство, никто обо мне слова худого не молвил бы: разве Самед, хотя все знают, что он вор, не самый уважаемый человек в селе?..» Но тут же твердо сказал себе: «Нет, не нужно мне такого богатства!.. Честь дороже всего. А честный живет трудом своих рук. Отец никогда не ел

---

[1] Карагат — ягода вроде крыжовника.

и не стал бы есть хлеб, украденный у других. И я... Лучше яд принять, чем пойти на такое!.. Подлость рождает другую подлость. Богатство совсем лишило Самеда совести, он не постеснялся купить девушку, которая любила другого! Если бы я даже разбогател, как он, позволил бы я себе такую низость?..» И Лачин, чуть не теряя рассудок от муки, доставляемой этой мыслью, воскликнул про себя: «Нет, никогда!.. Мне в горло не полез бы хлеб, замешенный на чужих слезах. Пускай Самед и такие, как он, упиваются своим богатством. Мое богатство — доброе имя!» И, ускорив шаг, Лачин с надеждой подумал: «Не вечно же нам, беднякам, голодать да терпеть несправедливость, нас ведь больше. Придет время, когда те, кто гнет спину на таких негодяев, как Самед, будут плевать им в лицо — они заслужили это, разбойники, крадущие чужих овец, чужих невест, чужое счастье!.. Верю, так будет, наступит такой час!..»

Шум реки, преградившей ему путь, отвлек его от раздумий. Он остановился, рассеянно глядя вдаль... Уже занимался рассвет. Впереди из туманной дали, обретавшей все большую прозрачность, проступали расплывчатые очертания гор. Лачин сел на берегу, протер глаза, в которых появилась резь от бессонной ночи, торопливо умылся и лишь тогда почувствовал, как он голоден. Но он ни крошки не захватил из дому, и продать было нечего — разве что бурку. Так можно и помереть с голоду... Тяжело вздохнув, Лачин поднялся с земли, перешел вброд реку и вскоре ступил на широкую дорогу, ведущую в Караклис.

Пройдя еще немного, Лачин увидел и сам Караклис, приютившийся в долине меж двух высоких гор. Сквозь туман желтели черепичные крыши. Тягостным безмолвием веяло от пустынных улиц...

Лачин обернулся назад и долго смотрел на горы, словно прощаясь с тем, что оставлял, быть может, навсегда... Что-то обожгло ему щеки. Это упали на них скупые крупные слезы. Лачин вытер их тыльной стороной ладони, попытался совладать с охватившим его волнением и не смог — зарыдал как ребенок. На мгновение у него мелькнула мысль — а не вернуться ли в село?.. Там он снова нанялся бы пастухом или волопасом, все равно кем... В родном краю и от голода уме-

реть не страшно... Но тут припомнилось ему все, что заставило его покинуть отчий дом, он взял себя в руки, решительно сказал себе: «Назад пути нет!» — и, повернувшись лицом к городу, зашагал дальше.

Город уже очищался от легкого ночного тумана, все четче обрисовывались силуэты домов, деревьев, выстроившихся вдоль шоссе Дилижан — Караклис. Пейзаж этот с детства был знаком Лачину. Он прибавил шагу.

Когда юноша пришел к старинному другу своего отца, Карапету, хозяева, расположившись за большим столом, занимавшим чуть не всю комнату, неторопливо пили чай. Они искренне обрадовались появлению Лачина — девочки, дочери Карапета, широко заулыбались гостю, морщинистое лицо хозяйки, которая сгорбившись сидела у пузатого самовара, тоже расплылось в приветливой улыбке, сам Карапет с сияющими глазами вскочил со стула, обняв Лачина, расцеловал его в обе щеки. Лачин поздоровался с каждым за руку. Заметив, что за столом нет старшей дочери Карапета и одного из сыновей, его сверстника, удивленно спросил:

— А где Нушу, Айрапет?..

Хозяйка, ни слова не понимавшая по-азербайджански, улыбнулась щербатым ртом, закивала в ответ, из-под ситцевого платка выбились седые космы. Когда ей растолковали, о чем спрашивает Лачин, она принялась объяснять ему что-то жестами; Лачин, в свою очередь ничего не поняв, растерянно захлопал глазами. Карапет, смеясь, сказал:

— Она говорит, дети еще на заре ушли на сенокос. Садись, сынок, будь как дома.

Лачин аккуратно сложил бурку, примостил ее в сторонке и сел за стол. Карапет, поглаживая то редкие волосы на круглой голове, то маленькую, похожую на запятую бородку, завел с гостем оживленный разговор, стараясь за двоих — за себя и жену.

— Третьего дня у нас твой отец был, — рассказывал он. — Я уж было договорился с купцом насчет арбы, да он больно дорого запросил, меньше чем за тридцатку не отдает!..

При упоминании об отце Лачин помрачнел; Карапет же, решив, что парень негодует на купца, сочувственно продолжал:

— Сукины дети, знают ведь, что человеку деваться некуда, вот и наступают ему на горло!..

Лачин перебил его:

— Лучше расскажите, как сами-то живете.

Хозяин, потеряв нить разговора, вопрошающе уставился на Лачина, наморщил лоб, собираясь с мыслями, на лице его заходили желваки. Безнадежно вздохнув, он угрюмо проговорил:

— А что рассказывать?.. Собачья жизнь, да и только. Поднимаешься с петухами, домой приходишь за полночь, а брюхо все пустое!.. Сам знаешь, хлеб сеять в Караклисе — все равно что шилом могилу копать. В прошлом году посеяли немного пшеницы, картошку посадили, да бог не дал урожая, остались с пустыми руками. И прикупить не на что...

Он с жалостью посмотрел на своих детей и умолк, опустив голову. Лачин, мысленно ругая себя за то, что своим вопросом растревожил Карапета, поспешил ободрить его:

— Вы не горюйте, Айрапет-то уж вырос, вот вам и помощник!

И тоже замолчал — что проку от пустых утешений?.. Наступила тишина, даже самовар перестал вдруг ворчать и фыркать. Девочки, которых угнетало это молчание, выскочили из-за стола, побежали подпрыгивая во двор; Лачин проводил их сострадательным взглядом — бедняжки, и обуться-то не во что, так и шастают по городу босиком!.. И комната совсем голая — только стол да кровать. Бедность из всех углов смотрела на Лачина. Он повернулся к Карапету, через силу проговорил:

— Хочу попросить вас об одной услуге... Я нынче же к себе в село думаю податься, а денег даже на билет нет. Помогите бурку продать!

Карапет удивленно поднял брови:

— В село?.. Что так рано?

— Там трава осталась нескошенная, — соврал Лачин. — Надо б запасти немного сена. У нас уж многие вернулись!

Карапет задумался. С какой охотой ссудил бы он парня деньгами: ему и на дорогу понадобится, и в селе надо на что-то жить!.. Но у него самого в доме хоть шаром покати. Лачин, по-своему истолковав его молчание, настойчиво повторил:

— Помогите продать бурку!.. Больше денег достать неоткуда.

Карапет кивнул:

— Ты не беспокойся, продадим. Охотники найдутся!

— Тогда пошли на базар! — вскинулся Лачин.

Он встал, взял бурку. Карапет надел старый пиджак, схватил шапку и вышел с Лачином из дома. Лачин горько усмехнулся: «Дожил, продаю последнюю бурку!..»

— Что закручинился? — спросил Карапет.

Лачин покраснел и ничего не ответил.

7

Лавки были еще закрыты, только на базаре важно расхаживал городовой да толклись крестьяне, приехавшие с дальних эйлагов продавать овец. Среди крестьян Лачину и Карапету встретились знакомые. Поздоровавшись с ними, Лачин поспешил удалиться. Карапет, семеня за ним, сказал:

— Придется обождать. Отдадим бурку кому-нибудь из лавочников, он и продаст.

Лачин молча кивнул. Он шел, глазея на лавки, витрины с выставленными в них безделушками, и думал о своем: «Ладно, продам бурку, куплю билет, доберусь как-нибудь до села... А потом куда денусь?.. Дальше-то что мне делать?..»

Карапет тронул его за руку:

— Пошли на вокзал, Лачин, узнаем, когда приходит тифлисский поезд.

— На вокзал так на вокзал, — безучастно согласился Лачин.

Они зашагали по узкой грязной улице к вокзалу. Лачин, поплотней запахнувшись в бурку — больше-то уж не придется ее носить!.. — глядел на свои стоптанные чарыхи с загнувшимися вверх носками, на залепленные грязью обмотки и снова погрузился в раздумье. «Может, на рудник податься?.. Да, так меня сразу и возьмут на работу!.. Или в селе остаться, наняться к кому-нибудь в батраки?.. Ну нет, только не это!.. Поеду в город. Чем я хуже других? Грамоте обучен, читать, писать умею. В городе-то найдется для меня работа. Проживу с гре-

хом пополам!..» Новая мысль заставила его замедлить шаг: «А как не устроюсь никуда?.. Тогда и на то, чтоб воротиться, денег не будет, к кому на чужбине-то за подмогой обратишься?.. Так в Баку же много наших работает, прибьюсь к ним, даст бог, не оставят в беде!» И он уверенней зашагал вперед.

Карапет снова коснулся его рукава, показывая на видневшийся вдали, в верхней части города, небольшой сад, обнесенный покосившимся забором, пожаловался:

— Думали, хоть яблоками да грушами в этом году разживемся, только на них и была надежда, да все градом побило. Вот беда-то!..

В голосе его слышались сдерживаемые слезы. Лачин взглянул на его искаженное отчаянием лицо, участливо сказал:

— У нас, крестьян, все так — только на бога и надейся!..

До самого вокзала проговорили они о своих невзгодах. Лачин чувствовал себя вдвойне удрученным — мало ему своего горя, так и другим, оказывается, не слаще!.. Что и говорить, неблагодарен крестьянский труд.

Узнав на вокзале, что тифлисский поезд будет только к вечеру, они вернулись на базар.

Лавки все еще не открылись. Ожидание томило Лачина, ему уж и не верилось, что сегодня удастся продать бурку.

— Вдруг не найдется на нее покупателя? — сказал он, озабоченно хмурясь.

Карапет ободряюще улыбнулся:

— Купить-то купят, только во что оценят?..

— Я прошлой весной отдал за нее двух баранов. Деньгами-то это рублей двадцать.

Карапет деловито оглядел бурку:

— Совсем новая!.. Двадцатку и запросим.

Навстречу им, прихрамывая, шел коренастый, толстый армянин. Карапет остановил его, о чем-то горячо с ним заговорил. Армянин слушал, ковыряя пальцем в ухе, потом решительно помотал головой и двинулся дальше. Карапет, метнув ему вслед гневный взгляд, поспешил к Лачину:

— «И даром, говорит, не возьму, кому сейчас нужна бурка?»

Лачин сокрушенно вздохнул:

— И то правда, народ-то уже на равнину возвращается.

Карапет вдруг оживился. Показывая на белесого, толстошеего, в бархатном пиджаке купца, который, кряхтя и ругаясь, возился с неподатливым замком на дверях своей лавки, сказал Лачину:

— Покажем-ка ему. Может, он возьмется продать?..

Лачин следом за Карапетом побрел к лавке; сердце его тревожно билось — а ну как опять сорвется?.. Но, увидев, как тепло поздоровались купец и Карапет, он воспрянул духом. Карапет помог купцу отпереть дверь; между ними завязалась дружеская беседа. Купец несколько раз взглянул в сторону Лачина, и у того зажглась надежда — дело, судя по всему, слажено!.. Он подошел к Карапету. Купец и правда согласен был купить бурку, только они никак не могли сойтись в цене. Но вот купец сказал по-азербайджански:

— Пятнадцать рублей — последняя цена!.. И то ради Карапета, ему спасибо скажи!..

Обрадованный Лачин не стал больше торговаться:

— Ладно, по рукам!

Он снял бурку, свернув ее, протянул купцу. Тот не спеша прошел за прилавок, повесил на гвоздь свою шапку и лишь после этого взял у Лачина бурку и упрятал ее в дальний закуток. Он был доволен покупкой: бурка новая; перепродав ее, можно неплохо подработать.

Лачин, схватив полученные от купца деньги, сунул их в карман и торопливо зашагал прочь от лавки. Он так радовался удачной, как он полагал, сделке, что даже забыл про Карапета.

8

В становище готовились к дойке овец.

Девушки и молодицы несли к тому месту, где мужчины должны были доить овец, подойники, кастрюли, медные миски; поставив их на землю, отходили в сторону.

Отара уже подошла. Овцы, тесня друг друга, щипали на лугу траву. Вскоре подоспели и дояры; лица у них

были довольные: денек выдался погожий, на небе ни облачка, с гор веяло свежим, прохладным ветерком.

Среди дояров был и Самед. Он решил вместе со своими батраками принять участие в дойке. В отличие от других, вид у него был мрачный и грозный — тетушка Гюльпери уж постаралась растолковать ему, почему Лачин удрал из дому, и вот уже третий день Самед не находил себе места. Какие только проклятия не сыпались на голову Лачина: «Думаешь, сукин сын, тебе удалось спастись от моей мести?.. От меня не убежишь. Где б ни укрылся, все равно разыщу, хоть из-под земли достану!.. Уж тогда берегись, собачье отродье!» Самед хотел было сразу же расправиться и с Гюльяз, но, вняв советам отца и матери, даже не выгнал ее из дома: разойдись он с женой, все кочевье узнало бы о его позоре, на него пальцами стали бы показывать!.. Этого он боялся больше всего и чем дальше, тем тверже укреплялся в мысли — отделиться от этого кочевья, так-то оно спокойней.

Вот и сейчас, перед дойкой, повязывая кожаный передник, он все раздумывал, как бы ему переметнуться в другое кочевье, не вызвав ни нареканий, ни подозрений. Не дай бог, вообразят еще, что он, не справившись со своим врагом, решил выместить злость на своих односельчанах!..

Дояры уселись на траве, образовав плотное кольцо, в котором оставили два прохода: в один загоняли овец, из другого они выходили после дойки. Самеду давно не приходилось доить. Натянуто улыбнувшись, он обернулся к соседям:

— Как бы не осрамиться, поотвык я от этого дела...

Примостившийся рядом с ним горбатый седобородый старик ободряюще проговорил:

— Скажи жене, пускай еще миску притащит, подсоблю тебе.

Самед самолюбиво нахмурился:

— Сам как-нибудь управлюсь.

Дойка началась.

Ребятишки, размахивая длинными рогатинами, подбежали к отаре, отделили от нее нескольких овец и загнали в круг. Дояры узнавали своих овец по клейму. На овцах Самеда возле уха было выжжено клеймо в

виде буквы «С». Остановив свою овцу, Самед принялся доить ее. Упершись лбом в мягкий овечий бок, он обеими руками выжимал из сосцов молоко, время от времени косясь в сторону Гюльяз — она стояла в нескольких шагах от дояров, ожидая, когда муж передаст ей полный подойник. Голова ее была опущена, яшмаг поднят до самых глаз, печальных и задумчивых. «Сука, верно, о своем Лачине думает! — бранился про себя Самед. — Погоди, я так тебя отделаю, что света невзвидишь!» Он даже застонал от душевной муки и ярости. Соседи изумленно оглянулись на него; он мысленно и их выругал: «Ишь вылупились, сукины дети!.. У меня сердце разрывается, а им забава!..»

Выдоив овцу и дожидаясь следующей, он от нечего делать стал прислушиваться к беседе дояров. Они сетовали на то, что овцы дают мало молока, корили чабанов.

— К-какие это ча-ча-чабаны! — заикаясь, говорил сидевший неподалеку рыжий дояр, дядя Самеда. — Одно название... Дрыхнут це-целыми днями, а отара го-голодная. Откуда ж молоко-то во-возьмется?

Ребятишки, пригнавшие новую партию овец, прыснули, услышав, как он заикается. Дояр беспомощно оглянулся, побагровел от смущения и умолк.

Самед уже кончал доить вторую овцу, когда взгляд его упал на безухую овечку, смирно стоявшую перед крестьянином в огромной, нахлобученной на самые брови, папахе. У Самеда глаза полезли на лоб — это была его овца!.. Он крикнул сдавленным от злобы голосом:

— Эй, сын свиньи, ты чего это мою овцу доишь?

Крестьянин сдвинул папаху на затылок, приглядевшись к овце, виновато улыбнулся:

— Ой, прости, Самед, ей-богу, не заметил!..

— Ослеп, что ли? — не слушая его, кипятился Самед.

Крестьянин проникновенно повторил:

— Клянусь сыном, не заметил!

За него вступились другие дояры; они принялись дружно увещевать Самеда:

— Эко горе!.. Возьми да подои его овцу.

— Что взбеленился-то?.. Мало что бывает, ну, перепутал бедняга, не помрешь же ты от этого!

Но Самеда трудно уже было остановить; он осата-

нел от жадности, — виданное ли дело, его овцу доят!.. К тому же ему нужно было сорвать на ком-то накопившуюся в сердце злость. Он вскочил на ноги, крикнул мальчишкам, гнавшим новых овец, чтобы подождали, и, подступив к крестьянину, покусившемуся на его собственность, грязно выругался. Крестьянин, у которого тоже лопнуло терпение, ответил ему столь же хлесткой бранью. От Самеда досталось жене крестьянина, от того — матери Самеда.

Дояры смотрели на разбушевавшегося Самеда с нескрываемым презрением. Один из них, покачав головой, с упреком сказал:

— Вот уж не ожидал от тебя!.. Людей бы постыдился!

Самед резко повернулся к нему:

— Это вы совесть потеряли, за вора заступаетесь! — И снова заорал на крестьянина в папахе: — Сукин сын, да я тебя на куски изрежу!

Крестьянин тоже поднялся, с ненавистью посмотрел на Самеда:

— Попробуй только, шкурой поплатишься!.. Ветром станешь, и то мимо меня не пройдешь!

Самед выхватил из ножен свой кинжал. Дояры набросились на него, заломили руки за спину. Бешено заорав, он с силой дернулся, стараясь вырваться, но они крепко держали его; один, вывернув ему руку, отнял кинжал, предупредил:

— Не очень-то разоряйся, не то мигом утихомирим, небо с овчинку покажется! Ишь, сын свиньи, опозорил человека из-за паршивой миски молока!

Самед неожиданно успокоился. Злобно усмехнувшись, пригрозил:

— Ладно, придется мне, видно, отделить своих овец от отары — уйду в кочевье Томту-оглы!

Кто-то расхохотался:

— Ох, напугал!.. Да убирайся на все четыре стороны, воздух чище станет. Жаль, вчера не ушел, — уже сегодня не мозолил бы нам глаза!

Крестьяне, отпустив Самеда, разошлись по своим местам, а Самед, не мешкая, принялся отгонять от отары своих овец — их было немало, двести дойных и восемьдесят яловых.

Гюльяз, не двигаясь с места, с молчаливым возмущением наблюдала за ним, проклиная в душе: «Да посыплется твоя голова пеплом — будто сам никогда не воровал!..»

9

Когда Садых-киши узнал об уходе Лачина, его охватили печаль и раскаяние. Он пожалел, что так жестоко обошелся с сыном, — кто теперь будет покоить его старость?.. А тут еще жена взбунтовалась — с утра до вечера она лила горькие слезы и осыпала старика упреками:

— Ай, киши, вонзил ты мне кинжал в самое сердце, зачем поверил наветам этой дочери свиньи, Гюльпери?.. Какой камень сбросить мне себе на голову?!

Садых-киши молчал, слушая эти причитания, — что он мог возразить жене, если и у самого на душе скребли кошки?.. Да знай он, что парень так упрям и решителен, он ни за что в жизни не осмелился бы поднять на него руку!.. Теперь уж сделанного не поправишь. Он дал гневу ослепить себя, и вот расплата — Лачин, ловкий, работящий, надежда и опора семьи, ушел из дома!.. Казалось, только сейчас почувствовал старик, как любит Лачина. Нежданная разлука с сыном сокрушила его, он согнулся под тяжестью горя, за один день постарел на несколько лет. Не выдержав упреков жены, он разрыдался.

— Ругай, ругай меня, старого дурака, я своими руками разрушил свой очаг. Почему у меня не отсохли руки, когда я бил его?..

В день дойки овец, выйдя из дома, он встретил своего брата Хади-киши, возвращавшегося с луга. Брат рассказал старику о выходке Самеда, о том, что тот собирается нынче же уйти в кочевье рода Томту-оглы, происходившего из этого же села, и посоветовал Садыху-киши быть настороже.

— Этот сын свиньи так разошелся, что лучше не попадаться ему на глаза. Того и гляди убьет, чего ему бояться-то — притянут к ответу, так за свое богатство спрячется. Продай, что можешь, купи ружье и патроны.

Садых-киши обреченно вздохнул:

— Мне смерть не страшна, лучше уж помереть, чем так мучиться... Нет мне жизни без Лачина! — Он вытер выступившие на глаза слезы. — Лачин, сын несчастного, зачем навлек ты беду на наши головы?!

Хади-киши тоже прослезился — своих детей у него не было, он был привязан к Лачину, как к родному.

— Не горюй, — сказал он. — Отыщется наш Лачин!.. Ты бы Самеда поостерегся, от этой собаки всего можно ожидать.

Садых-киши задумался. На какие деньги купит он ружье?.. Продать коня и волов?.. На чем же он тогда вернется в село? Ища поддержки, он обратился к брату:

— Ума не приложу, как быть... Разве что овец продать?.. Уж ты тоже поступись парой барашков, раздобудем ружье — считай, что оно твое, а я буду брать его в случае надобности.

Брат кивнул:

— Ладно. А пока попробуем Лачина поискать; чует мое сердце, он не иначе как в Караклис отправился. Где твоя кляча?.. Скажи ребятам, пусть приведут.

Садых-киши с братом пошел на луг, где пасся его конь, с помощью ребятишек поймал серого, оседлал его и спустя несколько минут уже скакал по горной дороге, держа путь в Караклис.

10

Однако Лачина в Караклисе уже не было — он в это время подходил к своему селу, раскинувшемуся посреди равнины, на берегу Куры.

В селе, как всегда в эту пору, не было ни души — даже оставшиеся на время кочевья сторожа куда-то попрятались от жары. В воздухе стояла тяжкая духота. Комары роились перед Лачином, набивались в рот, ноздри, уши. Лачин с облегчением вздохнул, дойдя наконец до своего дома. Но едва он вступил в хлев, где хранился всякий домашний скарб, как на него набросились полчища блох. Он пулей вылетел наружу, присел на широкий пень, торчавший во дворе под старым навесом. По всему телу разлилась усталость. Лачин лег прямо на землю, и тотчас его сморил сон.

Проснулся он, разбуженный голосом, доносившимся с соседнего двора. Лачин вскочил, протер глаза и не сразу признал в парне, стоявшем за изгородью, соседского сына, Теймура. На Теймуре были рубаха и брюки из тонкой серой парусины, солдатские ботинки на высоких каблуках, в одной руке он держал кепку, в другой платок, которым вытирал лоб и отгонял комаров. Заметив, что Лачин пристально, с недоумением вглядывается в него, парень перемахнул через изгородь, подошел к соседу:

— Как в горах, Лачин?

— Теймур! — обрадовался Лачин. — Тебя и не узнать. Лучше расскажи, как в Баку. Постой-ка... Чего это ты в село пожаловал?

Теймур хлопнул себя по щеке, к которой присосался комар, хмурясь, ответил:

— За своими приехал, хочу их к себе забрать. В горы-то они этой весной так и не смогли перебраться — малярия свалила... Ей-богу, я с ними совсем голову потерял!..

Лачин смотрел на Теймура с дружеским сочувствием, а тот продолжал:

— Как назло, жара стоит. Боюсь за них... А ты что так рано?.. Твои-то где? —И , видя, в какое замешательство привел Лачина этот вопрос, встревожился: — Случилось что-нибудь дома?..

Искреннее участие, звучавшее в голосе друга, тронуло Лачина, и он, не таясь, рассказал ему обо всем, что довелось ему пережить за последние дни.

— Вот так я и очутился между водой и огнем, — закончил он со вздохом. — Прямо не знаю, куда податься — то ли в Баку, а может, на рудник в Аллаверди?..

Теймур, взяв его за локоть, повел к себе. Как и многим другим в этом селе, жильем ему служила ветхая лачуга. Во дворе под навесом лежали больные — вся его семья. Лишь старшая сестренка была на ногах, ухаживала за остальными.

Теймур кивнул в сторону навеса:

— Лекарство-то я привез, только им еще и есть нужно, на одном хлебе да мутной воде долго не протянешь. Вчера сходил на станцию, купил кое-что из еды, бедняги вроде немного отошли. Как поднимутся — отвезу их в Баку, там хоть смогу за ними присматривать...

У Лачина защемило сердце, когда он взглянул на больных. Жена Теймура так исхудала, что ее трудно было узнать; от детей тоже остались кожа да кости; шея самой маленькой девочки была тоненькой, как черенок груши, — она словно из могилы вышла. В этой семье будто воплотилось все горе бедняцкой жизни. Лачин подумал: «Вряд ли эти бедняги выживут». Не в силах больше смотреть на них, он отвернулся. Но Теймур, судя по его бодрому тону, не терял надежды увидеть жену и детей живыми и здоровыми. Лачин от души посоветовал ему:

— Поскорей увози их, да покажи доктору.

— Ехать-то пока нельзя, — с сожалением сказал Теймур. — В Баку сейчас тоже жара. Вот вернутся наши с кочевья, продам свою лачугу, хлев и укачу!..

Они сели на палас, постеленный на земле, неподалеку от навеса. Теймур примолк, раздумывая над незадачливой судьбой своей семьи и семьи Лачина, потом вдруг предложил:

— Айда со мной в Баку?.. Подыщем тебе работу, как-нибудь проживешь. Отцу-то нелегко без твоей подмоги...

Лачин вспыхнул:

— Не говори мне о нем!.. Больше я не взгляну ему в лицо! — Он опустил голову. — До сих пор видны на теле следы от его прута...

— Что бы там ни было, Лачин, — мягко, увещевающе сказал Теймур, — он все же твой отец... Он тебя вырастил, на ноги поставил. Должен ты вернуть ему долг?.. Кого из нас отцы не били?.. Ведь нам же добра желали!

Лачин молчал... Наступившую тишину нарушил стон больной женщины. Теймур, обернувшись к ней, спросил:

— Хуже стало?..

Женщина металась в жару, с пересохших губ срывались бессвязные фразы:

— Теймур... не уходи... Умираю, Теймур!.. Не оставляй меня!..

Лачин, не выдержав, поднялся:

— Ты прости, мне нужно еще к дяде заглянуть. Он с сыном на огороде возился, может, уже вернулся домой. Я еще зайду.

Теймур, бросив на него понимающий взгляд, сказал:

— Обязательно приходи, чаю попьем. Наверно, голодный?..

Отмахиваясь от комаров, норовивших ужалить в лицо, Лачин торопливо удалился.

А через несколько дней вместе с Теймуром и его семьей он уехал в Баку.

Искать работу в Баку оказалось делом нелегким. В течение многих недель Лачин без толку обивал пороги различных контор, попробовал устроиться в какую-нибудь лавку — Теймур и другие рабочие, с которыми он познакомился тут, отговорили его: «Не мужское это занятие — торговля!» Тогда Лачин решил поступить наборщиком в типографию — ведь он немного владел грамотой, но и это ему отсоветовали: заработка наборщика едва хватало на одного человека. Все считали, что Лачин должен устроиться не нефтяном промысле. Снова начались бесплодные хождения по конторам. Лачин за эти дни по уши залез в долги. Больше всего его мучило сознание, что он стесняет Теймура. Приютивший юношу Теймур жил с женой, двумя дочерьми и сыном в тесной каморке, такой душной, что по ночам в ней нечем было дышать. Жена и дети все еще болели. Все свои деньги, добытые тяжким трудом, Теймур тратил на лекарства. Лачин начал уж было подумывать о возвращении в село, но тут Теймур принес ему радостную весть: Лачина приняли на тот же промысел, где работал сам Теймур. Лачин был на седьмом небе от счастья. Вспомнил о Гюльяз: как-то она там живет, бедняжка? — и тень набежала на его лицо...

— Эй, что нос повесил? — с недоумением спросил Теймур. — Радоваться надо, а ты...

— Да так... — уклончиво ответил Лачин. — Мать вспомнил... Верно, сейчас бьет себя по коленям да слезами обливается...

До полуночи он не мог уснуть — все думал о своей жизни в селе и становище, о ссоре с отцом, о Гюльяз... Не сладко ей, наверно, приходится... Если узнали об их встречах — с грязью смешают, муж вышвырнет ее из дома, не то, не ровен час, убьет... И виной этому он, Лачин!.. Как ему хотелось очутиться в эту минуту рядом

с Гюльяз, взять ее на руки и увезти далеко-далеко, где никто не мог бы их отыскать!..

Измученный этими мыслями, Лачин заснул, но сон его был зыбкий, тревожный...

Его разбудил Теймур. В каморку сквозь мутное окно просачивалось неяркое осеннее солнце... Лачин бодро вскочил на ноги. Он больше уже не помышлял о возвращении в село, ему не терпелось поскорей отправиться на промысел!

Вместе с Теймуром он вышел из дома и зашагал на работу.

11

Вскоре после этого Лачин получил письмо от отца. Привез письмо знакомый рабочий, земляк Лачина, ездивший в село проведать родных. Оно написано было по-русски, даже некоторые азербайджанские слова были выведены русскими буквами. Взглянув на письмо, Лачин узнал почерк своего школьного учителя, но голос услышал отцовский — учитель постарался сохранить манеру речи Садыха-киши.

«Дорогой мой сынок, свет очей моих, Лачин! — так начинал Садых-киши. — Искал я тебя повсюду, да понапрасну, лишь нынче узнал от добрых людей, где ты прячешься от нас, стариков... Ты уехал, оставив нас в слезах, мать все глаза повыплакала, о тебе горюя, а я стал совсем дряхлый, руки-ноги слабеют с каждым днем... Ох, сынок, разрушил ты наш дом!.. Урожай в нынешнем году скудный, еле концы с концами сводим, я продал кое-какое барахло, запасся малой толикой зерна. Наша кляча околела... Недаром молвится, беда одна не приходит. Только на тебя, сынок, вся наша надежда!

А сын Мухтара теперь заклятый наш враг. Он уже про все знает и, толкуют, замыслил недоброе, нож на меня точит... Приезжай, сынок, да перейдут ко мне твои недуги. Мать извелась, тебя дожидаючись. Ты ведь не допустишь, чтобы твой отец смотрел в чужие руки?.. Приезжай, родимый.

Твой отец, Садых Гаджи-оглы»

Лачин несколько раз перечитал письмо. Сердце сжималось от жалости к старикам и тревоги за них. Не мешкая, он раздобыл конверт, бумагу и сел за ответное письмо:

«Уважаемые отец и матушка!

Письмо ваше получил, оно меня очень опечалило. Коль уж говорить правду, я поклялся больше не возвращаться домой, но теперь вижу, что вы любите меня по-прежнему. Я чуть не плакал, читая ваше письмо... Бедная мама, как я перед тобой виноват!.. Ты ведь мне дала жизнь, выходила меня, а я, неблагодарный, заставил тебя лить горькие слезы. Клянусь, я постараюсь сторицей отплатить тебе за все твои заботы.

Уважаемый отец!.. Я работаю на нефтяном промысле, получаю двадцать рублей в месяц. Но живу пока у Теймура. Им и самим туго, семья большая, а комната совсем крохотная. Как накоплю немного денег, так пошлю тебе. Купи коня, в хозяйстве без коня никак нельзя. А когда я подзаработаю побольше, то вернусь в село.

Самеда не бойся, пусть только попробует пальцем тебя тронуть, уж я с ним посчитаюсь. Но все же поглядывай в оба, чтоб он не застиг тебя врасплох.

Низкий поклон всей нашей родне.

Помнящий и любящий вас

Лачин Садых-оглы»

Пробежав глазами написанное, Лачин сложил листок вчетверо, сунув его в конверт, вывел адрес, но только поднялся, чтоб отнести письмо, как дверь распахнулась и в комнату ворвался Теймур — сияющий, чисто выбритый, аккуратно причесанный. Увидев в руках Лачина конверт, он воскликнул:

— Письмо накатал?.. Домой?.. Припиши — пускай твои старики в Баку едут!

Лачин ошарашенно уставился на него.

— Что глаза вытаращил? Пусть едут — я нашел тебе комнату!

И он бросил на Лачина торжествующий взгляд.

Когда наконец до сознания Лачина дошли слова Теймура, он бросился обнимать товарища:

— Ой, молодец, вот друг так друг!.. — И затормошил его: — Пошли посмотрим!..

Они вышли вместе. Дорогой Лачин опустил письмо в почтовый ящик и, обернувшись к Теймуру, весело сказал:

— Вроде дела пошли на лад!.. Сколько просят за комнату?

— По-божески, — Теймур лукаво улыбнулся. — С тебя магарыч!..

— За мной не пропадет! — тоже с улыбкой откликнулся Лачин.

Если бы знал он, какая туча на него надвигается!..

12

Утром, когда Садых-киши проходил мимо школы, его остановил учитель:

— Садых-киши!.. Что дадите за добрую весть?

— О Лачине? — радостно встрепенулся старик.

— О нем самом.

— Что пожелаешь, дам!.. Последнего барашка не пожалею.

Учитель засмеялся, сунув руку в карман, достал синий конверт:

— Тогда слушай, я тебе почитаю — это от Лачина письмо!

Они присели на крыльце. Учитель прочел и перевел старику письмо Лачина — оно было написано по-русски.

Когда он закончил, Садых-киши вскочил и расцеловал его:

— Да перейдут ко мне твои недуги, вот уж обрадовал так обрадовал!.. Клянусь аллахом, у тебя легкая рука, сколько уж ты добра людям сделал!

Отерев платком лицо, ласково глядя на Садыха, учитель шутливо сказал:

— На письмо, написанное мной, другого ответа и не могло быть. Ты и впредь обращайся за помощью не к молле, а ко мне, ладно?

— Да буду я твоей жертвой, к кому мне еще

идти? — проговорил старик, порывисто подавшись к учителю так, словно хотел еще раз обнять и расцеловать его. — Дай бог тебе здоровья и счастья!.. Ты уж не посетуй, покину тебя, пойду старуху порадую...

Он торопливо зашагал домой. Жена, коловшая во дворе дрова, едва завидев его, крикнула:

— Киши, есть какие вести от мальчика?

— Есть, старая, есть!..

Своими словами он пересказал ей, что пишет Лачин, и принялся хвалить учителя — какой он знающий да добрый!.. Старуха заплакала от радости, вытирая слезы уголком выцветшего передника, слабым голосом проговорила:

— Да буду я жертвой Лачина и учителя — осчастливили старую...

Садых-киши приволок барашка, одиноко пасшегося на задах, повалил его мордой к кибле[1]. Прирезав, попросил жену:

— Подержи-ка за ногу, я его освежую... За добро надо добром платить. Вечером позовем учителя в гости, попотчуем шашлыком...

Жена стала молча помогать Садыху-киши. Они содрали с барашка шкуру, тушу подвесили к столбу, подпиравшему навес.

И, взглянув друг на друга, счастливо, понимающе улыбнулись, — они на все были готовы ради своего Лачина...

13

Письмо сына воодушевило Садыха-киши. Он уж давно облюбовал коня в табуне рода Муганлы и теперь решил купить его — чтоб порадовать Лачина. Подзаняв денег у местного ростовщика, старик стал собираться в дорогу: от их селения до кочевья Муганлы было не близко. Жена поторапливала Садыха, да он и сам спешил — хотелось заполучить и объездить коня до возвращения сына.

Спустя несколько дней на рассвете старик, положив

---

[1] Кибле — сторона, куда обращаются лицом мусульмане во время молитвы.

в новый хурджун хлеба и сыра, взяв сплетенную женой длинную веревку, тронулся в путь.

Перебравшись на лодке через Куру, он бодро зашагал проселочной дорогой к железнодорожной станции.

Когда он вступил в лес Караязы, солнце уже позолотило верхушки могучих дубов. Крепкий запах опавшей листвы ударил ему в ноздри. В лесу стояла таинственная тишина, нарушаемая лишь щебетом птиц, порхавших с ветки на ветку, хрустом сухих листьев под ногами да еще какими-то трудно определимыми звуками — словно бы дыханием самого леса.

Садых-киши вышел на залитую осенним солнцем поляну, оглянулся и скорее почувствовал, чем услышал, что где-то рядом родник. Он нашел родник под высоким тополем. Поставив хурджун на землю, старик умылся студеной водой. Пройдя вниз по течению ручейка, он набрел на небольшое озерцо; оно было такое прозрачное, что виднелись дно и стайки рыб, поблескивавших, как серебряные монеты, среди тонких, длинных стеблей тростника. Садых-киши попробовал поймать хоть одну из них, но они пулями уносились из-под его рук в светлую глубину. Он вернулся к роднику. Вывалив содержимое хурджуна на землю, разостлал его и совершил утренний намаз. Глаза его были устремлены к небу, но, поглощенный молитвой, он не видел ни самого неба, чистого как родник и бескрайнего как море, ни дальних гор, выставивших над краем леса свои белые папахи.

После молитвы старик поел хлеба с сыром, стряхнув с бороды крошки, сунул остатки домашней снеди обратно в хурджун и двинулся дальше.

На траве, на лопушистых, распластанных по земле листьях бага ярпагы [1] еще сверкала роса, но солнце припекало все сильней и все густели сладкие лесные запахи...

Старик неторопливо брел по обочине дороги, вдыхая полной грудью пьянящий воздух, и, чтоб скрасить одиночество, то мурлыкал дрожащим тонким голосом песни своей юности, то издавал носом замысловатые рулады, подражая звукам пастушьей свирели, на которой и сам наигрывал, когда — еще молодым — пас чужие отары.

---

[1] Бага ярпагы — буквально: черепашьи листья.

14

С тех пор как Лачин ушел из дома, невольно выдав этим и себя и любимую, Гюльяз житья не стало от мужа и его родителей. Не проходило дня, чтобы Самед нещадно не избивал ее. Свекровь, поначалу принявшая было ее сторону, теперь придиралась к ней из-за каждого пустяка. Каких только оскорблений не наслышалась от нее невестка!.. По ночам в постели она плакала навзрыд, обливая слезами подушку, но слезы ее лишь еще пуще озлобляли Самеда — он готов был, словно дикий зверь, накинуться на нее, задушить, разорвать на части!..

Когда они вместе с новым кочевьем спустились на равнину, в село, заболела и умерла свекровь, и все заботы по дому свалились на слабые плечи Гюльяз. А муж и свекор с каждым днем допекали ее все сильней. Самед, возвращаясь по вечерам домой, на глазах у жены принимался смазывать ружье, злобно косясь на Гюльяз, цедил сквозь зубы:

— Уж будь покойна, этому сыну свиньи недолго осталось жить. Носить мне платок, а не папаху, если я не сровняю с землей их проклятое логово!..

Гюльяз молчала, но каких усилий стоило ей безответно сносить ругань и угрозы мужа!..

Жизнь опостылела ей, она не видела в будущем просвета и уж недалека была от того, чтоб покончить с собой — броситься в волны Куры или тайком пробраться в хлев и там повеситься.

Лишь когда она узнала, что Лачин прислал домой письмо, искра надежды затеплилась в ее сердце. Самед словно учуял это — в тот же день избил ее до полусмерти; Гюльяз изошла криком. На шум сбежались соседи. Увидев лицо Гюльяз, все в синяках и кровоподтеках, черное, как увядший лист, они обрушили на Самеда град упреков. Испугавшись всеобщего возмущения, он больше не давал воли рукам и злобу свою изливал лишь в грубых оскорблениях, но Гюльяз и этого не в силах была уже терпеть.

Она попыталась искать утешения у своей матери. Придя к ней, бросилась ей в ноги, рыдая поведала о своих невзгодах, но мать только тяжело вздохнула:

— Муж — хозяин в семье, он властен что угодно с женой делать, наша доля — терпеть...

Гюльяз еле доплелась от матери до своего дома и всю ночь проплакала.

Ее измученную, смятенную душу согревали лишь воспоминания о прошлом. Все чаще оживали перед ее мысленным взором годы детства и юности, дни, проведенные с Лачином... Как ни бедно она тогда жила — порой не во что было даже обуться, — зато не знала ни горя, ни печали, веселилась, как все дети, а когда подросла — беззаботно отдалась тем скромным радостям, какие дарит человеку юность. Если где-нибудь играли свадьбу, Гюльяз, нарядившись в канаусовое платье матери, хранившееся в большом деревянном сундуке, спешила с подругами на свадебный пир и, как только музыканты-армяне брались за свои зурны и раздували щеки, пускалась в пляс. Особенно любила она танцевать «Джейрани». На свадьбе двоюродного брата Самеда она своим танцем всех привела в восторг. Лачин тогда вытряс все деньги, какие у него были, и осыпал ими Гюльяз, а потом сам станцевал с ней.

Могла ли она тогда думать, что отец, соблазнившись чужим богатством, выдаст ее замуж за нелюбимого!..

И теперь она жила только воспоминаниями о прошлом, о своей любви, о Лачине. Она тревожилась за него, мечтала о встрече с ним, а мужа ненавидела всем своим существом. При одной мысли о нем сердце ее холодело от боли и отвращения. Ей только и оставалось — покончить с собой или уйти из мужнинего дома, ставшего для нее мрачной темницей.

Самед видел, что Гюльяз в последнее время сама не своя; ярость бушевала в его душе, ища выхода. Однажды, возвращаясь из соседнего села, он встретил приятеля, от которого узнал, что Садых-киши собирается завтра на рассвете ехать в дальнее кочевье — через Караязы. Кровь бросилась Самеду в голову: «Вот он, удобный случай посчитаться со старым псом. Погоди, сын свиньи, ты мне ответишь за своего выродка!..» Он договорился с приятелем встретиться ночью и, переправившись на конях через Куру, подкараулить старика в лесу. Придя домой, Самед тайком от жены вычистил ружье, набил патронташ, оседлал коня.

В полночь Гюльяз, проснувшись в неясной тревоге, не увидела мужа на обычном месте. Ее объял ужас: она поняла, что он замыслил.

15

Садых-киши, не подозревая о грозящей ему опасности, все шел и шел, напевая песни своей юности, как вдруг перед ним на дороге появились из-за деревьев два всадника. Когда они приблизились, он узнал в одном Самеда; другой, рослый парень лет двадцати, был ему незнаком. В руках оба всадника сжимали ружья, на поясе Самеда болтался еще и длинный кинжал.

Преградив старику дорогу, Самед спросил хриплым, насмешливым голосом:

— Куда это тащишься в такую рань?

Старик сердцем почуял беду и побледнел от страха.

Самед, ловко спрыгнув с коня, закинул ружье за плечо, злобно ощерясь, подступил к старику:

— Уж какой месяц я тебя на небесах ищу, а ты мне на земле попался!..

И тут же даже подобие улыбки исчезло с его лица, оно сделалось иссиня-багровым, глаза налились кровью. Садых-киши почувствовал, что близок его последний час, и подумал с горечью: «Сам виноват, вольно ж было, дураку, выйти без оружия!..» Он стоял перед Самедом, трясясь всем телом от страха, не в силах слова вымолвить, сдвинуться с места. Но беспомощный вид его не смягчил жаждущего мести Самеда; передав поводья приятелю, он схватил старика за рукав и поволок в сторону от дороги. Тот попытался было вырваться. Самед вцепился в него еще крепче, увлекая в лесную чащу. Приятель Самеда, спешившись и стреножив коней, направился следом за ними. Садых-киши уже и не упирался, только все клял себя за то, что не взял ружья, — ведь предупреждали его, чтоб остерегался Самеда!..

Отпустив его руку, Самед обернулся к своему товарищу:

— Давай доведем его до Куры, а там прикончим — и в воду!

Тот возразил:

— Еще увидят!

Садых-киши слышал, о чем они спорили; отчаяние и чувство бессилия охватили его. Ведь если даже он упадет к их ногам, моля о пощаде, злодеи не смилуются. Самед впился в него злобным, пронзительным взглядом, бешено заорал:

— Паршивый пес!.. Я повешу тебя на первом дубу, все пули в тебя всажу, а потом брошу у дороги, чтоб каждый, кто мимо пройдет, плюнул в твою поганую рожу!..

Приятель его оказался не таким жестокосердным. Взяв Самеда за руку, он отвел его в сторону:

— Отпусти его, Самед!.. Не могу я... Жалко старика... Он-то при чем?.. В селе его уважают, клянутся его именем.

— Распустил слюни! — закричал на него Самед. — Верный друг!.. Баба ты, а не друг. Знал бы, не связывался с тобой! Что хвост-то поджал?.. Не бойся, ничего нам не будет. Самеда, сына Мухтара, никто пальцем не осмелится тронуть!

Он отвернулся от приятеля, вырвал из рук Садыха-киши хурджун и моток веревки, хурджун бросил на землю, а веревку распутал и принялся привязывать к толстой ветви тутового дерева, не переставая обливать старика грязной руганью:

— Собачье отродье!.. Сын свиньи!.. Вот повешу, а потом на куски изрублю, пускай все знают, что я не стрелял в тебя из-за угла, а вдоволь над тобой, паскудой, натешился, прирезал, как погань какую, да собакам бросил!..

Садых-киши, однако, уже ничего не слышал. Чувства его притупились, все тело одеревенело: он смотрел перед собой пустым, невидящим взглядом. Приятель Самеда, стараясь не глядеть на старика, проговорил срывающимся голосом:

— Жестокий ты человек!.. Зачем мучить старика?.. Пристрелим его, и дело с концом.

Самед, не отвечая, продолжал прикручивать к ветке отнятую у Садыха-киши веревку.

Вдруг за его спиной грянул выстрел. На дороге тревожно, испуганно заржали кони. Самед, схватившись за

ружье, резко обернулся — его товарищ стоял с опущенной головой, дуло его ружья дымилось. Тело Садыха-киши недвижно лежало на земле. Трава вокруг была в алой росе, опавшие листья алели, словно лепестки мака. По лесу еще катился глухой отзвук выстрела; словно ропща на убийцу, шелестели деревья.

Самед бросил ружье на траву, подскочил к приятелю:

— Ты что?..

Тот нервно засмеялся:

— Ей-богу, так лучше. Не мог я смотреть, как он мучается...

Обоих била дрожь. Самед зверовато оглянулся по сторонам. Лес уже затих, но было в этой тишине что-то пугающее. Самеду вдруг почудилось, будто деревья грозят ему зелеными руками и вот-вот бросятся на него. Он прикрыл глаза, стиснул зубы, стараясь овладеть собой. Его товарищ угрюмо смотрел на простертого на земле Садыха-киши. Старик лежал навзничь, лицо было спокойное, просветленное. Он словно радовался тому, что уснул навеки в этом тихом лесу, на ложе из травы и листьев, под ясно-голубым небом.

Кони смирно стояли неподалеку, подняв морды, уставясь друг на друга большими удивленными глазами.

Казалось, прошла вечность, прежде чем товарищ Самеда смог наконец вымолвить, с трудом шевеля губами:

— Черт меня дернул пойти с тобой на это дело. Первый раз в жизни пролил невинную кровь!..

Звук его голоса заставил очнуться и Самеда. Криво усмехнувшись, он взглянул на мертвого Садыха-киши:

— Повезло старому псу!..

Вытащив из-за пояса длинный кинжал, он шагнул к трупу. Товарищ его отвернулся, закрыв лицо руками.

Самед вырыл кинжалом яму и закопал в нее останки убитого. Звериная ярость вновь проснулась в его темной душе; он крикнул приятелю:

— Садись на коня!.. Со старым псом покончено, надо теперь разыскать его щенка. Ему не уйти от моей мести!..

Вскочив на коней, они поскакали прочь от места кровавой расправы.

16

Лачин, как только дошла до него весть об убийстве отца, отпросился у хозяина и поспешил в село.

Труп старика еще не был найден, но все говорили, что он убит Самедом в лесу Караязы. Всяк на свой лад рассказывал, как это произошло. Одни считали, что, надругавшись над телом Садыха-киши, Самед зарыл его поглубже, другие — что он бросил труп в Куру.

Выслушав эти рассказы, Лачин взял отцовскую винтовку и отправился в лес. Целый день пробродил он по тем местам, где, по слухам, был зверски замучен его отец. Слезы катились по щекам парня. Он сполоснул лицо в том роднике, где последний раз в жизни умывался и Садых-киши... Так и не отыскав могилы отца, Лачин вернулся домой.

Он чувствовал себя одиноким, чужим в родном селе, не мог без гнева думать о жестоких обычаях, во власти которых находились его земляки. Чем отец-то был виноват, за что этот изверг так беспощадно расправился с безобидным стариком?..

Все дни после приезда в село Лачин проводил в тягостных раздумьях.

Однажды вечером, когда он дома беседовал с заглянувшим к нему двоюродным братом, с улицы кто-то позвал его. Прихватив ружье, с которым он теперь не расставался, Лачин вышел наружу и увидел перед собой старуху из той части села, где жила Гюльяз с мужем. Старуха, обняв и поцеловав Лачина, сказала, что ее послала к нему Гюльяз.

— Ох, сынок, да перейдут ко мне твои недуги, девочке дома житья нет, совсем извелась, встретишь — не узнаешь. Мне бы, говорит, хоть одним глазком глянуть на Лачина, тогда и помереть не страшно! Я бы, говорит, убежала с ним хоть на край света!.. Уж так хочет повидаться с тобой!..

Лачин пообещал старухе, что придет завтра в назначенное Гюльяз место. Старуха на прощание чмокнула его в щеку и посоветовала быть осторожней — Самед грозился и с ним рассчитаться.

Дома Лачин ни словом не обмолвился о разговоре со старухой. Когда двоюродный брат ушел, он отправился в хлев, наглухо закрыл вход и отверстие в крыше,

повалился на старый тюфяк, постеленный на земле, задул висевшую над головой коптилку, но уснуть не мог, все думал, думал... «Придется повременить с отъездом в Баку. Гюльяз, Гюльяз, ты не забыла меня, ты в любви оказалась преданней и мужественней, чем я!.. Бедная моя, страшно подумать, как этот зверь измывается над тобой!.. Нет, я не мужчина, если не избавлю тебя от этих мучений, не увезу с собой. Да, надо убираться из села — надо навсегда отсюда уехать, не то эта скотина подстрелит меня из-за угла, как куропатку. Смерти я не боюсь... Но что с Гюльяз станется?.. Нельзя ее тут оставлять!»

С этой мыслью он и заснул. Встал рано, взяв в углу вилы, открыл отверстие в крыше — в хлев проник утренний свет. Одевшись, Лачин пошел к матери и рассказал ей о своем решении — увезти Гюльяз с собой в Баку. Мать в испуге затрясла головой:

— Что выдумал!.. Пожалей меня, сынок, не разрушай нашего дома. Самед и с тобой расправится, как с отцом!..

Лачин усмехнулся:

— Он и так, говорят, только ждет случая, чтоб всадить в меня пулю. Богатому-то все нипочем!.. А Гюльяз гаснет на глазах... Оставлю ее тут — пропадет. Она согласна бежать со мной.

По лицу старухи ручьями лились слезы, но, как ни умоляла она сына, он остался непреклонен в своем намерении. Тогда мать, покорно вздохнув, проговорила:

— Будь по-твоему. Только береги себя, сынок!.. Ты ведь один у меня...

Позавтракав, Лачин взял ружье и вышел из дома. Неподалеку от его лачуги сидели на бревнах, толкуя о чем-то, молодые парни — они, видно, поджидали Лачина. Когда он подошел к ним, один из них, двоюродный брат, спросил его:

— Куда путь держишь?

— К Куре.

Другой парень, поднявшись, обратился к остальным:

— Айда за ним, братцы! — И объяснил Лачину: — Одному тебе опасно идти, напорешься еще на этих сукиных детей.

Лачин гордо качнул головой:

— Нет, я пойду один.

И решительно зашагал в сторону Куры. Парни было увязались за ним, они боялись отпускать его одного, но Лачин, ускорив шаг, бросил через плечо:

— Слышали?.. Обойдусь без охраны. Я не трус!

Обиженно переглянувшись, парни остановились, но долго еще молча обеспокоенно смотрели вслед Лачину.

Лачин шел к Куре. Там, у родника, назначила ему встречу Гюльяз.

А вот и река. На берегу, возле родника, толпились девушки и молодицы. Одни о чем-то весело болтали, другие резвились, обливая друг друга водой из медных кувшинов. Визг и смех разносились над рекой.

Кура, обычно буйная, катила сейчас воды тихо, медленно, словно все еще не проснулась. Осеннее солнце купалось в сонных волнах, разбрызгивая вокруг искристые блики. От противоположного берега, где лес вплотную подступал к реке, отчалила лодка и вскоре совсем рядом с Лачином врезалась в прибрежную гальку. Из лодки с шумом высыпали парни — со многими из них Лачин был знаком. Один, соседский сын, держал в руках ягненка, другой, школьный товарищ Лачина, — большой узел. Оба, как только выпрыгнули из лодки, устремились к Лачину. Школьный товарищ, длинный, худой, с голубыми глазами и шрамом на лбу, обрадованно воскликнул:

— На ловца и зверь бежит!.. А мы к тебе. Я лишь вчера узнал, что ты здесь и нынче вечером уезжать собираешься. Уж прости, получше-то ничего не нашлось, вот, зарезал барашка, — он показал глазами на узел. — Это тебе. Отнесу его твоей матери.

Соседский сын, поглаживая ягненка по мягкой, шелковистой шерстке, с улыбкой сказал:

— И от меня тебе подарок!.. Говорят, кто добром своим делится, тому нечего стыдиться. — Он вздохнул. — Жаль, на овец нынче падеж напал, чуть не всех пришлось собакам выбросить...

Лачин, тронутый заботой своих друзей, не нашелся что ответить, только благодарно улыбался. Школьный товарищ спросил его:

— Мы в село. Ты с нами?..

Лачину не хотелось признаваться, зачем он сюда пришел, и он коротко сказал:

— У меня тут небольшое дело... Вы подождите, я через часок вернусь.

— Ждем!..

Они зашагали в село, а Лачин подошел поближе к роднику так, чтобы его могла заметить Гюльяз. И она увидела Лачина, вся так и просияла, но тут же залилась краской и потупила взгляд. Увидели Лачина и девушки, толпившиеся у родника; они враз притихли, принялись торопливо наполнять водой свои кувшины. Стараясь не подать и вида, что он здесь ради Гюльяз, Лачин, окинув всех безразличным взором, скучающей походкой побрел к кустам, росшим на берегу, и укрылся за ними. Только бы Гюльяз догадалась сюда прийти!.. Ожидание встречи с ней на минуту вытеснило из его сердца боль недавней тяжкой утраты; охваченный любовью, он мог сейчас думать только о Гюльяз. «В селе о ней бог весть что болтают... А чем она виновата?.. Что меня любила, а ее продали за овец да деньги этому зверю, Самеду?.. Зверь, зверь!.. Мою Гюльяз заел, отца убил ни за что ни про что... Нет, если я после всего этого уеду, оставив Гюльяз в его когтях, не знать мне покоя до конца моей жизни!.. Говорят, она уж думала руки на себя наложить — вон до чего дошло!.. А она ведь храбрая, храбрей всех девушек в селе!..» И Лачин сказал себе: «Решено!.. Увезу её, и дело с концом. Пускай наживу себе еще врагов — что ж делать, не могу я ее бросить!..»

Он опустился на землю под молоденькой ивой, вздохнул: «Что-то сердце щемит... Не дай бог, проведает Самед о нашем сговоре... А, черт с ним, не боюсь я его!.. Трусу в глаза, говорят, уж наверняка попадет соринка. Сделаю, как решил, а там будь что будет!..» Он вскочил на ноги, посмотрел в просвет между деревьями в сторону родника, силясь разглядеть Гюльяз. Девушки там опять подняли возню. Гюльяз среди них не было видно. Лачин встревожился: «Неужто не подойдет?.. Подружек боится?.. Нет, должна прийти, сама же меня позвала, а уж она не из тех, кто изменяет своему слову!.. Умру, а дождусь!»

Ждать Лачину пришлось долго, не раз еще он выглядывал из кустов, ища глазами Гюльяз. Девушки, подняв на плечи кувшины, одна за другой покидали родник, направляясь в село, и лишь когда все они ушли, Лачин увидел Гюльяз...

Гюльяз все это время тоже, как и Лачину, от нетерпения не сиделось на месте; она ждала и не могла дождаться, когда наконец разойдутся по домам ее подруги. Переговариваясь с девушками, с притворным любопытством наблюдая за их возней, она мучительно размышляла: «Возьмет ли меня Лачин с собой?.. Если откажется — я убью себя!.. Куда мне деваться? Матушка и отец меня не примут — ведь это они приневолили меня выйти замуж за Самеда. А больше у меня никого нет... Только Лачин. Нет, он не оставит меня здесь одну. Если любит, так увезет в Баку!»

Едва последняя из девушек скрылась из вида, Гюльяз поставила на землю кувшин и, озираясь по сторонам, побежала к Лачину. Длинная юбка путалась в ногах, из-под тонкой косынки выбились черные растрепавшиеся волосы.

Лачин бросился ей навстречу, сжал ее ладонь обеими руками:

— Здравствуй, Гюльяз!.. Я уж думал, ты обо мне забыла.

Гюльяз покраснела:

— Ты ведь знаешь... Я никогда тебя не забуду!..

Лачин на минуту задумался, потом, в упор посмотрев на Гюльяз, решительно проговорил:

— Гюльяз!.. Поедешь со мной в Баку?..

Гюльяз так растерялась от радости, что еле смогла вымолвить:

— С тобой?.. В Баку?..

— Ну да. Поедешь?

— Когда?

— Завтра вечером!.. Погоди-ка, я принесу твой кувшин, не то увидит кто...

Он сбегал за кувшином, отдал его Гюльяз, обеспокоенно спросил:

— Девушки не догадаются, зачем ты осталась?

— Я им сказала, что мужа дожидаюсь, он должен приплыть с того берега. — Заметив, что Лачин еще пуще встревожился и ищущим взглядом окинул оба берега, Гюльяз поспешила его успокоить: — Ты не бойся, он в Тифлис уехал, не скоро вернется.

Взяв Гюльяз за руку, Лачин усадил ее рядом с собой на пожелтевшую траву. Оба молчали. Он смотрел на ее порозовевшие щеки, черные тонкие брови, боль-

шие, сверкающие как звезды глаза, округлую молодую грудь — никогда еще не казалась она ему такой красивой и желанной — и счастлив был тем, что она снова с ним. В памяти его оживали их прошлые встречи в ущелье, пестревшем цветами, возле чистого, как слеза, родника. Лачин не удержался, обнял Гюльяз за плечи, поцеловал в пылающую щеку.

— Гюльяз!.. — сказал он взволнованно. — Завтра вечером жди меня у дороги, возле кладбища.

Гюльяз согласно кивнула.

— Пойдем наберем воды, — предложил Лачин. — От свекрови тебе не достанется?

— Ее уж давно земля приняла...

Лачин оглядел пустой берег и, убедившись, что их никто не видит, прошел с Гюльяз к роднику, помог ей наполнить кувшин. Проверив на всякий случай, заряжено ли ружье, он проводил ее немного. Прощаясь, спросил:

— Значит, договорились?

Гюльяз было и стыдно и радостно. Встретив горячий взгляд Лачина, она улыбнулась ему, тихо проговорила:

— Я приду...

— Тогда до встречи!..

17

Самед за несколько дней до этого уехал в Тифлис продать сыр и масло, поднакопившиеся за лето.

Поселился он у знакомого лавочника. Товар шел плохо, но это не слишком огорчало Самеда. Он беззаботно слонялся по городу, навещал своих знакомых, предавался холостяцким утехам... За все время своего пребывания в городе он ни минуты не был трезвым.

Хозяин дома относился к нему с дружеским уважением — Самед не однажды оказывал ему разного рода услуги. У лавочника была своя дача в Караклисе, и каждый раз, когда он отдыхал там, Самед присылал ему коня. Лавочник с друзьями-собутыльниками поднимался в горы и там уж давал себе волю — с утра до вечера объедался шашлыком, запивая его водкой. Устав от многодневного разгула, он возвращался на коне Самеда в Караклис.

В Тифлисе он старался, как мог, ублажить дорогого

гостя. Утром они распивали бутылку водки и пошатываясь отправлялись в лавку; там съедали бозбаш, принесенный из ближней харчевни, опять выпивали. Потом Самед, еле держась на ногах, выходил в город и там приставал к женщинам. Вернувшись в лавку, с пьяным хихиканьем рассказывал другу о своих похождениях. Лавочник, не уступавший Самеду в разнузданности, хвалил его:

— Молодец, наслаждайся жизнью на этом свете, на том уж не придется!..

В тот день, когда Лачин должен был встретиться с Гюльяз, чтобы увезти ее в Баку, Самед пировал в доме лавочника. Хозяйка, которую он тоже знал давно, не успевала подавать на стол блюда и наполнять вином графины. Глаза Самеда сделались красными как перец, он говорил с бессмысленным смехом:

— Меджид, надоело мне дожидаться, пока мы весь товар продадим. Ты вот что, загони его без меня, купи, что я просил, и — ко мне в село!.. А я раздобуду в Гулпе кизиловой водки, уж погуляем — небу жарко станет!..

Лавочник криво улыбнулся — ему из-за Самеда пришлось раньше закрыть лавку, и потому он в душе досадовал на беспутного гостя. А тот, ничего не замечая, продолжал:

— Ей-богу, приезжай!.. Сам говорил, надо наслаждаться жизнью на этом свете!.. Зарежу три... нет, четыре барашка... Угостимся на славу!.. Приедешь, друг?..

Лавочник отогнал докучные мысли, поднял стакан с водкой:

— Пей!..

Самед выпил водку, поморщился:

— Пах, пах!.. Крепка!..

Он покосился на хозяйку, подмигнул ей с пьяной хитрецой... Меджид, слышавший краем уха, что в семье Самеда не все ладно, вдруг спросил:

— Слышь-ка, что у тебя там с женой?.. Болтают разное...

Самед спьяну не сразу понял, о чем его спрашивают, некоторое время смотрел на хозяина мутным взглядом, потом, побагровев, в сердцах хватил кулаком по столу:

— Эх!.. Только аппетит перебил.

Меджид не предполагал, что слова его так расстроят гостя. Оправдываясь, пробормотал:

— А зачем от меня таил?.. Я от других услышал, ей-богу, ушам не поверил, да один твой земляк подтвердил... Уж я так за тебя переживал!..

Самед оборвал его:

— Не растравляй душу!.. — И сжал кулаки. — Ничего, с отцом его я уже рассчитался. Дай срок, доберусь и до этого сукина сына!..

В это время в дверь постучали. Меджид, встрепенувшись, вышел из-за стола:

— Может, покупатель...

Он открыл дверь. Перед ним стоял, весь красный от быстрой ходьбы, парень в высокой папахе, с лихо закрученными черными усами, с ружьем в руках и кинжалом на поясе. С трудом переведя дыхание, он спросил:

— Самед не у тебя?..

— Вот он! — хозяин кивнул на Самеда.

Самед с тревогой воззрился на вошедшего — это был его приятель, Ахмед. Он хмурился, видно было, что явился не с добрыми вестями. Когда он приблизился к Самеду, тот, бросив вилку, вскочил с места, прохрипел:

— С чем пришел?.. Стряслось что?..

Меджид, надавив Самеду на плечо, усадил его обратно:

— Что всполошился?.. Ты ешь давай, что там могло стрястись!..

Ахмед, не дожидаясь приглашения, прислонил ружье к стене, сел рядом с Самедом, медленно произнес:

— Самед!.. Выслушай меня спокойно...

— А ты не тяни! — взорвался Самед. — Ну?..

Парень, справившись с собственным возбуждением, принялся рассказывать:

— Понимаешь, какое дело... Вчера я в селе был... Наши ребята Лачина видели. Верно, приехал из Баку. Говорят, уж и с твоей Гюльяз успел встретиться. Я как услышал это, так сразу сюда... Весь день тебя разыскивал, с ног сбился!

Самед при этих словах рванулся из-за стола, не глядя ни на кого, стал торопливо укладывать в хурджун свои вещи. Меджид попытался образумить его:

— Ты не пори горячку, поезд-то еще неизвестно когда будет...

— Я спрашивал на вокзале, — вмешался Ахмед. — Поезд только завтра утром. — Он подошел к Самеду, потянул его за рукав. — Садись, ешь. Уж дня два-три Лачин пробудет в селе...

Они сели за стол, но к еде никто не притронулся. Самед сжал виски кулаками, на лбу вздулись жилы, мысли путались: «Вернулся, значит... Ишь какой смелый!.. Ничего не скажешь, храбрец!.. Ну погоди, посмотрим, как завтра запоешь, голодранец паршивый!.. От меня тебе не уйти, сукин сын! Так тебя разделаю, сам меня молодцом назовешь!.. Отправлю вслед за старым псом в сырую землю... А что, если я его не застану?.. Нет, так быстро он не уедет, небось у него и денег-то на дорогу нет... Рвань этакая!»

Он поднял голову, уставясь выпученными глазами на приятеля, зловеще процедил:

— Так, говоришь, он уж и с Гюльяз стакнулся?..

— А кто его знает, я их не видел. Навряд ли он на это решился, кишка тонка!..

Но Самед не слушал его. Впервые в жизни у него потемнело в глазах, сперло дыхание — словно кто-то сдавил ему горло. «Сукины дети, опозорили мой дом, как теперь на люди показаться?.. Нет, довольно я терпел, обоих прикончу!.. Зря я отца послушался, не задушил эту стерву... Отблагодарила меня за все мои заботы!.. Ничего, голубчики, не носить мне папахи, если не отомщу вам за все!.. Эй, Лачин, ты не чуешь, что близка твоя смерть?.. Готовься, собака! — Самед схватился за кинжал. — Этот кинжал заставит ваших матерей захлебнуться в слезах!..»

Злость распирала его, он порывисто поднялся, вслух пригрозил невидимому врагу:

— Ладно, завтра я с тобой рассчитаюсь!..

В комнате установилась такая глубокая тишина, что стало слышно, как тикают часы в кармане Меджида. Все со страхом смотрели на Самеда. Меджид не в силах был произнести ни слова, только судорожно глотал слюну. А Самед, багровый от ярости, бешено вращая налитыми кровью глазами, все повторял, как в бреду:

— Завтра свидимся!.. Уж попляшешь у меня!.. Устрою тебе встречу с твоим стариком, не будь я Самед, сын Мухтара!..

18

А Лачин в это время поспешно собирался в дорогу. Вечером к их лачуге подкатила арба, и мать принялась перетаскивать в нее нехитрый домашний скарб. Лачин, стоя в арбе, укладывал вещи. Собравшиеся у лачуги родные и соседи с печальным сочувствием смотрели на Лачина. Женщины втихомолку плакали, сморкаясь в уголки носовых платков. Двоюродные братья Лачина, перебивая друг друга, кричали ему:

— Ты не забывай нас!.. Пиши!.. А летом приезжай!

Столько искренней любви было в их словах, что Лачину тоже взгрустнулось — жаль было покидать добрых товарищей, родню, село, в котором он прожил всю свою жизнь, и он горько проклинал судьбу, гнавшую его из отчего дома.

С бледной, еле различимой в вечернем сумраке улыбкой он отвечал с арбы своим братьям:

— И писать буду и приеду!.. Вы тоже меня не забывайте. Пишите!

Дядя Лачина, старый Хади-киши, поторопил его:

— Кончай, сынок, не то на машину опоздаем.

Наконец все было уложено, мать Лачина уселась среди вещей, дядя — на передок. Арба тронулась. Лачин замешкался, прощаясь с провожающими; как он ни старался сдержаться, но и у него на глазах выступили слезы. В последний раз окинул он тоскливым взглядом свою лачугу и поспешил за арбой.

— Счастливого пути, сынок!.. — крикнула ему вслед жена Хади-киши.

Он больше не оборачивался.

Когда арба поравнялась с кладбищем, Лачин, вглядываясь в темноту, позвал:

— Гюльяз!..

Никто не откликнулся, не подошел к арбе. Он повторил свой зов. Молчание. «Испугалась?.. Передумала?.. — мелькнуло у него в мозгу. — Нет, она не такая!.. Может, муж вернулся из Тифлиса?.. Или кто проведал о нашей встрече?..» Так или иначе, но Гюльяз в условленном месте не было. Лачин тронул Хади-киши за плечо:

— Езжай!

И тотчас спохватился: «А вдруг она придет?.. Что

подумает обо мне, не застав меня здесь?.. Она любит меня, у нее преданная душа, она не может не прийти!» Только арба отъехала от кладбища, как он спрыгнул и, попросив Хади-киши подождать, побежал назад. Долго он бродил в темноте по кладбищу, окликая Гюльяз, — ночная мгла хранила молчание, а серые надгробные камни, словно недвижно сидящие люди, хмуро смотрели на него из мрака...

— Гюльяз! Гюльяз!.. — разносилось над уснувшей землей.

В поисках любимой Лачин обежал вокруг кладбища — ее нигде не было. «Не может быть, чтоб она не пришла! — убеждал он себя. — Наверно, придет позднее. Она сама говорила, что не забудет меня, что ради меня готова хоть на смерть!» О, если б можно было руками разорвать окружавшую его темень, он обшарил бы каждую пядь земли, только б найти Гюльяз!..

Он и не заметил, как дошел до селения — услышал вдруг лай собак, увидел словно повисшие в воздухе тусклые пятна. Это изливали мертвенный свет оконца лачуг. Лачин остановился как вкопанный и резко повернул назад.

Арба ждала его на дороге. Хади-киши, уронив голову на грудь, гнусавил себе под нос ашугскую песню из дастана «Кёр-оглы». Мать, видно, дремала.

— Дядя, трогай! — сказал Лачин.

Хади-киши вздрогнул:

— Напугал ты меня!.. Что кричишь?

— Поезжай! — коротко повторил Лачин.

Снова заскрипели колеса арбы. Лачин понурясь побрел следом. Он еле передвигал ноги — нелегко было уходить из родных мест, расставаться с надеждой увидеть Гюльяз... «Разве не обещала она прийти? Если испугалась, могла бы хоть предупредить!.. Ведь знает же, что я ее жду. А может, она уже приходила, да так ни с чем и ушла?..» Догадки, вопросы, сомнения терзали Лачина, он задыхался от тоски и отчаяния, шел за арбой, то и дело оглядываясь назад, где оставалось родное село и Гюльяз, его счастье...

— Лачин!

Голос Хади-киши вывел Лачина из оцепенения; он поспешил к дяде. Тот, хлестнув волов прутом, сказал:

— Мать твоя говорит — и слава богу, что не пришла, не то не обобрались бы беды!..

Лачин не нашел в себе сил возразить на эти слова — только еще ниже склонил голову.

Когда они добрались до переправы через Куру, Лачин различил на берегу неясные фигуры. Он напряг зрение — и не поверил своим глазам: его поджидали несколько друзей, в том числе соседский сын, вчера подаривший ягненка, и... Гюльяз!

Гюльяз не подошла к арбе — ее, видно, смущало присутствие матери и дяди Лачина. А соседский сын, приблизясь к Лачину, горячо заговорил:

— Послушай, Лачин, вот история... Иду это я по дороге к Куре, гляжу — возле кладбища сидит на траве какая-то женщина и плачет. Подошел поближе, а это наша Гюльяз!.. «Ты что, говорю, делаешь тут на ночь глядя?..» Молчит, слезами заливается... «Да объясни, говорю, толком, что с тобой?..» Она и говорит сквозь слезы: мол, Лачин обещал увезти меня, жду-жду, а его все нет. Видать, уже уехал... Меня смех взял. «Вставай, говорю, пошли к Куре, он скоро туда явится». Клянусь тобой, Лачин, чуть не силком ее приволок... А ты, ей-богу, настоящий мужчина! — Восхищение зазвучало в его голосе. — Похрабрей Самеда оказался. Самед — зверь, а ты... молодец, Лачин!..

Его прервал другой парень:

— Довольно болтать, ехать надо. Лодка уже пришла. Давай грузить вещи.

Они перенесли вещи из арбы в лодку, усадили туда же мать Лачина. Лачин позвал Гюльяз. Вся пунцовая от смущения, она робко примостилась возле старухи.

Лодка понеслась наперерез волнам к другому берегу. Хади-киши, проехав вверх по течению, пустил волов вброд. Остановив арбу на дороге, у опушки леса, стал ждать остальных.

Вскоре лодка причалила к берегу, вещи снова уложили на арбу, Лачин попрощался с товарищами. Не обошлось без слез — горько им было расставаться друг с другом. Соседский сын, обнимая Лачина, сказал взволнованно:

— Ты не забывай нас. Хочешь — нагрянем к тебе в Баку?! Побаиваюсь я за тебя, Лачин!.. Этот злодей уж наверно будет тебя искать.

— Не бойся! — успокоил его Лачин. — Что я, не справлюсь с ним, что ли?.. Руки-то и у меня есть.

Арба, на которой сидели мать, дядя Лачина и Гюльяз, уже скрылась в темноте. Расцеловавшись с товарищами, Лачин побежал за ней, обернувшись, прощально махнул рукой, крикнул:

— Спасибо, братья!.. За все спасибо!..

Никогда прежде Лачин не сознавал так ясно, что он не один. Это сознание прибавляло ему сил и уверенности.

И у его спутников после таких проводов спокойней стало на сердце.

Арба медленно катилась по дороге, Лачин шагал следом с ружьем за плечом.

19

Поезд Тифлис—Петербург еще не пришел. Лачин заглянул к дежурному по станции. Тот сидел за столом, писал что-то оловянным карандашом. Когда Лачин спросил его, в котором часу будет поезд, тот, не поднимая головы, буркнул:

— В восемь утра!

Лачин вернулся к своим, в тесный, длинный зал ожидания. Гюльяз сидела на широкой скамье, задумчиво глядя в пол, мать и дядя чуть поодаль о чем-то разговаривали. Лачин прервал их беседу:

— До поезда еще часа три-четыре. Может, перекусим пока?

Старуха развязала объемистый хурджун, достала еду. Лачин уселся рядом с матерью, позвал Гюльяз. Подкрепившись, он сдал вещи в багаж и купил билеты. Когда он опять вошел в зал ожидания, Гюльяз дремала, яшмаг у нее упал на грудь, на щеках выступил легкий румянец. Понизив голос до шепота, Лачин сказал Хадикиши:

— Ты поезжай домой, и так уж умаялся... Да и волов надо покормить. В Караязы распряжешь их, пускай пасутся.

Хади-киши поднялся со скамьи, поцеловал племянника в лоб, обнял сестру и, забрав у Лачина ружье, ушел.

Лачин пристроился рядом с Гюльяз и тоже заснул.

Немногочисленные пассажиры, находившиеся в зале, не обращали на них внимания; они не знали Лачина — это были крестьяне из дальних сел. Лишь один, стоявший напротив, у стены, с любопытством оглядев Гюльяз и Лачина, сказал своему приятелю:

— Верно, муж и жена, видал, как он ее обхаживал?..

Приятель возразил:

— Навряд ли, старуха-то не похожа на свекровь, уж больно ласкова с девушкой...

Лачина разбудил протяжный гудок и нарастающий грохот — это подходил поезд Тифлис—Петербург. По расписанию он должен был стоять пять минут. Лачин вскочил на ноги, растормошил мать и Гюльяз, схватив хурджун, устремился на перрон. Мимо, тяжело дыша, прополз паровоз. У Лачина был билет в восьмой вагон, он побежал в хвост поезда. Поезд, звякнув буферами, остановился. У восьмого вагона Лачин встал в очередь, вскоре к нему подошли мать и Гюльяз. Лачин оглянулся — и оторопел: из шестого вагона выходил Самед с двумя товарищами. Лачин поспешил втолкнуть мать и Гюльяз в вагон, сам прыгнул за ними, обернулся. Кажется, Самед их не заметил, он уже шел по перрону со своими приятелями, за плечом висело ружье, в правой руке он нес туго набитый узорчатый хурджун.

Гюльяз, стоя на площадке вагона, с детским любопытством рассматривала входящих и выходящих пассажиров, ее черные, большие, сияющие глаза улыбались — она впервые выбралась из села, и все ее изумляло. Мужа она не видела — Лачин заслонил его от Гюльяз своей широкой спиной. Да Самед к тому же был уже далеко от их вагона, он поравнялся с навесом, под которым покачивался станционный колокол.

Вдруг кто-то закричал из шестого вагона:

— Ахмед!.. Ты узел забыл. Забери его!..

Один из приятелей Самеда, черноусый парень в высокой каракулевой папахе, обернулся на крик и тотчас схватил Самеда за руку:

— Гляди!.. Это не Лачин?..

Лачин догадался, что его обнаружили, но не шелохнулся, а Самед уже бежал к нему, на ходу срывая с плеча ружье. Лачин слышал, как щелкнул затвор.

Раздался выстрел.

Пуля вонзилась в стенку вагона, пробив в ней дыру в ладонь величиной. Пассажиры в панике повысовывались из окон, из вагонов высыпали кондуктора, поднялась суматоха. К Самеду уже спешили полицейские и дежурный по станции.

Но ему, видно, море было по колено, он торопливо перезаряжал ружье. Лачин, с хурджуном в руках, словно окаменев, стоял на подножке. Рядом с ним показалась Гюльяз. Увидев мужа, поднимавшего ружье, она побелела как полотно, но не отступила назад. Лачин обнял ее за плечи. Так они и застыли, смело глядя на Самеда.

Прозвучал второй звонок.

И вместе с ним — второй выстрел.

Но, видно, дрогнула рука у Самеда — мстительная злоба бессильна перед подлинным мужеством! — пуля опять пролетела мимо цели.

В это время поезд тронулся. Лачин видел, как подоспевшие полицейские схватили Самеда за руки, вырвали у него ружье. Он и не пытался сопротивляться. Ненавидящим, злобным взглядом проводил он вагон с Лачином и Гюльяз на площадке.

Лачин крепко держал за плечи свою Гюльяз.

1934—1962

СХВАТКА

ПРОЛОГ

1

По шоссе, высекая копытами искры из камней, мчались разгоряченные кони, запряженные в старенький фаэтон. Вокруг сплошной черной стеной стоял непроглядный ночной мрак, только позади крохотными звездами мерцали огни железнодорожной станции.

Кучер (он же и хозяин фаэтона) тешил себя песней; он пел о жизни и о зацветающей весне, стройных юношах, девушках с тонким и гибким станом. И казалось, от его песни пробуждаются скованные зимней дремотой долины.

Это была народная песня; и для молодого врача Шариф-заде, сидевшего в фаэтоне, она звучала, как сладкая колыбельная.

Вдруг из кустов, темневших близ дороги, раздался хрипловатый голос, резкий и неожиданный, как выстрел:

— Стой!.. Сто-о-ой!..

Перепуганные кони с разгона остановились, фаэтон сильно тряхнуло, и песня, которую с такой задушевностью пел кучер, оборвалась на полуслове.

Шариф-заде приподнялся и, пристально вглядываясь в темноту, с тревогой спросил:

— Кто вы такие? И что вам от нас нужно?

В ответ — наглое и насмешливое:

— Подробные сведения получишь после. А сейчас вылезай из фаэтона! Да не мешкай!

Оружия при Шариф-заде не было, и ему ничего не оставалось, как выбраться из фаэтона и повторить свой вопрос:

— Что вам от нас надо?

В ответ — щелканье затвора.

Шариф-заде замер на мгновение, прислушался к ночной тишине. Ни звука, ни шороха... На шоссе никого не было. И Шариф-заде в душе обругал себя за беспечность: дернула же его нелегкая выехать со станции ночью... Но жалеть об этом было поздно, и врач решительным шагом направился к видневшимся невдалеке теням.

— Вы что с нами сделать хотите? Куда собираетесь вести?

Очертания одной из теней изменились: человек поднял винтовку.

— Попридержи язык! Говорить будешь, когда тебя спросят! И пойдешь туда, куда скажем. Эй, кучер! Поворачивай лошадей, следуй со своим тарантасом за нами! И смотри у меня: будешь дурить — пеняй на себя.

Уверившись наконец, что перед ним бандиты, Шариф-заде проникновенно сказал:

— Дорогие мои, напрасно вы себя утруждаете! Что возьмешь с бедного студента? Разве что книги?

Бандит, угрожавший винтовкой, понял, видно, что пленник безоружен, и осмелел. Он шагнул к Шариф-заде, схватил его за руку и с силой притянул к себе:

— Э, да ты, я вижу, из болтунов!.. «Бедный студент!» Ха!.. А для нас все хороши: и студенты, и учителя, и инженеры. Были бы при них какие-нибудь бумажонки.

«Уж не собираются ли они отобрать у меня партбилет?..»—холодея, подумал Шариф-заде и, вырвавшись из рук бандита, отступил в сторону.

— Что ж, пошли!..

— Э, нет, ты иди впереди!

И бандит подтолкнул студента дулом винтовки.

Теперь Шариф-заде видел, что бандитов двое. Надежды на спасение не было. Но он ничем не выдал своей тревоги и, повернувшись назад, спокойно приказал кучеру:

— Обожди меня здесь. Я скоро вернусь.

Один из бандитов погрозил кучеру плеткой:

— Слышал, что я сказал?.. Поедешь за нами.

Из леса, куда они направились, тянуло кисловатым запахом опавшей листвы. Земля была влажной от росы. Ночной холод пробирал до костей.

Шариф-заде двигался медленно, прислушиваясь к хрусту сучьев под ногами. Бандит, показывавший дорогу, изредка оборачивался и покрикивал недовольно:

— Эй, без нежностей! Иди, как все люди.

А сзади слышалась отборная ругань кучера: он вымещал на лошадях всю свою злость и досаду. Наконец в полном отчаянии кучер воскликнул:

— Ну, что я могу поделать!.. Эти чертовы кусты того и гляди весь фаэтон раздерут!

Бандит, следовавший за Шариф-заде, расхохотался:

— А нам что за дело! Слезай со своего трона и веди лошадей под уздцы!

Ночную тишину снова наполнили отчаянная ругань кучера, фырканье лошадей, свист кнута, но фаэтон словно вмерз в землю. Бандит, не вытерпев, крикнул:

— Не валяй дурака! Кому сказано: слезай оттуда.

Схватив плетку, он принялся нещадно хлестать коней (порой перепадало и кучеру), а потом плюнул в сердцах и смачно выругался. Шариф-заде во время этой сцены стоял как вкопанный и думал о том, что его ждет. «Убьют они нас... Убьют!..» А бандит опять накинулся на кучера:

— Что стоишь, осел? Подтолкни сзади; не видишь: колесо застряло. Недотепа!

— Ты, кажется, только и умеешь, что ругаться! — сказал кучер.

Бандит дернул кучера за рукав телогрейки. Бедняга споткнулся, упал в кустарник, на колючки, вскочил как ужаленный и, взглянув на разорванный рукав, крикнул:

— Да будь же ты человеком!.. Ну, чем провинилась перед тобой моя телогрейка?..

Шариф-заде издали прислушивался к этой перепалке и зябко поеживался. Все вокруг было погружено в густой, плотный мрак. Изредка со стороны железной дороги раздавался пронзительный гудок паровоза. Горы и леса отзывались глухим эхом; оно, слабея, волнами перекатывалось над землей, и тонкая легкая грусть была в этих угасающих звуках.

Кучеру, видно, приходилось не сладко, но он крепился, старался свести все к шутке и даже откровенно издевался над бандитами:

— Вы бы подобрали себе другое занятие! На кой черт сдалось вам работать по ночам?..

— Иди, иди! — подталкивал его бандит. — Фарман-бек ждет вас не дождется; там уж вволю наговоришься!

Они привязали коней к сосне и вместе с Шариф-заде и другим бандитом снова тронулись в путь.

В лесной чащобе, на широкой поляне, ярко пылал костер: рядом нечетко вырисовывались тени. Подойдя ближе, Шариф-заде яснее разглядел людей, сидевших вокруг костра. Двое из них, стоя на коленях, подбрасывали в огонь сухие сучья.

Костер разгорался все пуще; пламя его взметнулось

вверх, озарив лица бандитов красноватым дрожащим светом, полыхнуло в них сухим жаром, и сидевшие у самого костра поспешили отодвинуться подальше.

Медно-красные лица, багровые отсветы в глазах — все было как в мрачной сказке. Неподалеку от костра, подложив руки под голову, лежал на спине смуглый мужчина с длинными усами, в старом сером башлыке.

Некоторое время Шариф-заде стоял неподвижно, только глаза его перебегали с одного бандита на другого. Дольше всего задержался его взгляд на человеке в башлыке, выделявшемся среди остальных глазами, в которых, словно угли костра, тлели злоба и ярость.

«Верно, главарь шайки, — решил Шариф-заде. — Вот дьявол! Кажется, что из глаз у него прямо-таки кровь сочится».

Один из бандитов, задержавших врача, приблизился к человеку в башлыке и доложил:

— Фарман-даи![1] Фаэтон застрял, мы оставили его в кустах.

Фарман-бек перевернулся со спины на бок, рукой указал врачу место перед собой и отрывисто бросил:

— Что стоишь?.. Садись! — Он откинул за спину концы башлыка, закрывавшего его щеки, и повторил: — Да садись же, не бойся!

Шариф-заде сел, скрестив ноги, на землю и гневным взглядом окинул бандитов, которые привели его сюда. Одному — высокому, худощавому — было на вид года тридцать три — тридцать четыре. Баранья папаха сдвинута на затылок, усы опущены книзу, на глаза падают пряди иссиня-черных волос, от правого глаза к большому горбатому носу тянется застарелый шрам. Как потом оказалось, звали этого бандита Мадатом. У другого, помоложе, обращали на себя внимание белые нежные руки, тонкие губы, неширокие брови, сросшиеся на переносице. На щеках слабо розовели бледные пятна, как у чахоточной девушки. Да и вообще он был похож на девушку.

Лицо его показалось Шариф-заде знакомым, и он неожиданно спросил:

— Послушайте, вы не учились в медицинском институте?

---

[1] Даи — почтительное обращение к старшим.

Юноша покраснел, опустил голову, но сделал вид, что не слышал вопроса. А Фарман-бек, которому не по душе пришлась смелость пленника, метнул на него исподлобья злобный взгляд и мрачно потребовал:

— Дай документы!

Врач, казалось, только и дожидался этого приказания: он с готовностью достал из кармана тонкую пачку бумаг и бросил в ноги Фарман-беку.

Тот приподнялся на локте, подобрал с земли бумаги врача и снова лег на бок. Лицо его окуталось папиросным дымом, сквозь сизую пелену видны были только сверкающие глаза, устремленные на Шариф-заде. Страшен был этот тяжелый, испытующий взгляд, но врач даже не шелохнулся. Фарман-бек усмехнулся зловеще и покосился на людей своей шайки. Бандиты сидели затаив дыхание, вытянув шеи: как бы чего не проглядеть, не прослушать...

Фарман-бек небрежно просмотрел документы врача, и вновь на его лице появилась улыбка, не предвещавшая ничего доброго.

Шариф-заде стало ясно, что жизнь его на волоске. Он смотрел перед собой погрустневшими глазами и, казалось, был далек от всего, что происходило вокруг. Ему вдруг вспомнилось детство... Незабвенные годы кипучей студенческой жизни. Как наяву, увидел Шариф-заде милый сердцу край: высокие карабахские горы, темные ущелья, прозрачные, будто слезы, родники, бурливые вешние воды, заливающие землю. Увидел он и родную деревню, и мать, старуху мать, которая горюет, верно, в своем тоскливом одиночестве о покинувшем ее сыне.

А Фарман-бек щелчком выбил из костяного мундштука папиросу и после недолгого молчания неожиданно спросил:

— Ты партийный?..

Этим вопросом он, видно, хотел ошеломить пленника, но тот спокойно ответил:

— Это не твое дело!

— Выкладывай партбилет! — в бешенстве закричал Фарман-бек. — Можешь забрать обратно свои бумажонки! Нам нужен партбилет. Давай его сюда!

Врач, глядя прямо в лицо разъяренному беку, медленно произнес:

— У тебя руки в крови! Ты запачкаешь ими мой партбилет.

Губы у Фарман-бека побелели, зрачки расширились.

— Ах, вот как!

В наступившей тишине слышно было, как потрескивают в огне сучья, как вдали коротко ржет конь.

— Ах, вот как! — Фарман-бек потянулся к плетке, засунутой за голенище сапога. — Ну погоди же... Я из тебя большевистский дух вышибу... Ты еще будешь в ногах у меня валяться и молить о пощаде! И сам, сам отдашь мне свой партбилет!

Еще издавна Фарман-бек славился своей жестокостью. В годы мусавата[1] он был начальником полиции и всячески измывался над крестьянами. А как он истязал жену! Он не мог уснуть, если не избивал ее до крови. Ему доставляло величайшее удовольствие мучить людей и смотреть, как они мучаются.

Вот и сейчас он мог бы просто обыскать врача и отобрать у него партбилет. Но Фарман-беку хотелось увидеть пленника жалким, покорным, униженным. И он повторил, угрожающе помахивая плеткой:

— Ну?.. Где же партбилет?..

Шариф-заде оставался неподвижным, как камень. Страх, закравшийся было в его душу, прошел. Врач был гордым человеком и привык в минуту опасности смело смотреть в лицо врагу.

Гордое молчание пленника взбесило Фарман-бека. Он вскочил с земли, шагнул к врачу, оглядел его налитыми кровью глазами и, подозвав одного из бандитов, велел ему привязать пленника к дереву. Услышав это приказание, кучер, которого бандиты подтолкнули поближе к Фарман-беку и врачу, вздрогнул. Бедняга не понимал, зачем их привели сюда, за что хотят расправиться с молодым доктором, и, холодея от страха, еще ниже опустил голову. Вплотную подойдя к Шариф-заде и хлестнув по воздуху своей длинной плеткой, Фарман-бек крикнул:

— Клянусь честью, если ты сам отдашь мне партби-

---

[1] Имеются в виду 1918—1920 годы, когда у власти в Азербайджане стояла азербайджанская буржуазно-помещичья националистическая партия «Мусават», опиравшаяся на поддержку английских интервентов.

лет, я отпущу тебя на все четыре стороны! А нет... тогда пеняй на себя.

Шариф-заде молчал, уставившись в землю, а когда поднял глаза, то заметил, что один из бандитов, сгрудившихся вокруг своего главаря, молодой парень с лицом простого крестьянина, взглянул на него с состраданием и, нахмурившись, шепнул что-то на ухо своему товарищу.

А Фарман-бек, помахивая плеткой, продолжал:

— Ну?.. Что же ты молчишь? Я жду!..

И плеть бандита оставила на щеке врача багровую полосу.

— Я жду!.. Ты что, оглох?..

Вторым ударом бек рассек пленнику ухо. На глазах у врача выступили невольные слезы, но он по-прежнему хранил молчание.

Плетка, просвистев в воздухе в третий раз, обожгла ему лоб.

Шариф-заде с тоской смотрел вдаль и молчал.

Нет, он не склонит перед врагом голову. Он умрет так же мужественно, не проронив ни слова, как и его отец, погибший от рук карабахских бандитов.

Жаль только, что приходится умирать молодым.

Фарман-бек со всей силой, которую придала ему ярость, нанес пленнику четвертый удар.

— Эй, торопись! Или ты не боишься смерти?

Шариф-заде выпрямился, гордо вскинул голову:

— Не боюсь!

Бандиты, стоявшие поодаль, смотрели на пленника с немым изумлением. Кучер плакал, закрыв лицо ладонями. Откуда-то издалека снова донеслось тоскливое ржание коня. Сухо и резко потрескивали сучья в костре.

А Шариф-заде, забыв об иссеченном лице, забыв о недавней печали, громко повторил:

— Нет, не боюсь! Убивайте!

И возглас его, подхваченный эхом, улетел вдаль, в черную глубину леса...

Фарман-бек вновь взмахнул плеткой. Теперь нельзя уже было сосчитать ударов, обрушившихся на Шариф-заде. Лицо врача превратилось в кровавую маску. Фарман-бек в ярости отбросил плетку, крикнул бандитам, чтобы они отвязали пленника, свалил его ударом кула-

ка на землю и принялся топтать сапогами. Кое-кто из бандитов, не выдержав, отвернулся. Наконец, насытившись, Фарман-бек отступил назад, поднял винтовку, прицелился...

Кучер знал, что бандиты не оставят в живых свидетеля этой кровавой сцены; и в эту последнюю минуту ему захотелось быть рядом со своим отважным спутником. Обернувшись к бандитам, он громко крикнул:

— Убивайте!

Фарман-бек торопливо нажал курок. Грянул выстрел. И тело Шариф-заде, залитое кровью, распростерлось на земле.

2

Бандиты расстреляли и кучера; зарыли трупы у высокой сосны и решили отметить свой кровавый подвиг ночной пирушкой. Они достали из нарядного дорожного хурджуна, взваленного на лошадь, жирную баранью тушу, разрезали ее на куски.

Юноша, похожий на девушку, передал Фарман-беку документы, найденные при Шариф-заде. Фарман-бек внимательно прочитал их, порылся в чемодане доктора, который бандиты прихватили с собой, взял несколько романов, а остальные книги (в чемодане была в основном политическая литература) бросил в костер.

— Поди-ка сюда, Махмуд, — позвал он юношу. — Сядь рядом и слушай, что я тебе скажу... Комсомольцы не дали тебе доучиться. Ты вел среди студентов националистическую агитацию, и тебя вышвырнули из института! За твое исключение голосовал, верно, и этот молодчик. Ведь ты узнал его, правда?..

— Да, я его знаю, — медленно произнес Махмуд. — Он из партийной организации нашего института. Его отец в дни революции вступил в партизанский отряд и был убит людьми Султан-бека из Курдистана.

— Что же ты не сказал мне сразу?

Юноша помедлил; потом, решившись, объяснил:

— Я боялся, что ты убьешь его...

— Вот как?

— Да, я не хотел этого! Прости меня, Фарман-бек, но ты и так пролил слишком много крови. Человек не должен быть таким жестоким!

Фарман-бек злобно расхохотался:

— А откуда ты взял, что я человек? Нет, пока я не передушу всех большевиков — всех до единого! — я не позволю себе быть человеком! Но послушай меня, Махмуд. Тебе повезло. Ты получишь диплом без всяких экзаменов! Этот молодчик, оказывается, только что окончил институт. Вот его временное удостоверение вместо диплома, а вот направление на работу. Тут же и партбилет и личное дело. Завтра утром ты отправишься в районный центр. Покажешь эти документы, и — за работу! Ясно? Лучшего и желать нечего! Твой отец, Сардар-бек, должен послать мне с того света благословение!..

Бандиты расстелили на земле скатерть, принесли от костра шомполы с шашлыком, вынули из хурджуна бутылки с водкой.

— Ешь шашлык, Махмуд! — сказал Фарман-бек. — Тебе здорово повезло!

Бандиты поздравили Махмуда, выпили за его здоровье. Звону стаканов вторило жадное чавканье. Махмуду подкладывали самые жирные куски. Отправив в рот большой кусок шашлыка, Фарман-бек проглотил его, почти не разжевывая, и снова обратился к Махмуду:

— В добрый путь, сын мой! Но смотри, будь осторожен. Встретишь знакомых — сразу же перебирайся в другой район. Найдутся, верно, друзья и у этого докторишки. Так что гляди в оба!

Махмуд залпом выпил стакан водки, икнул и, отдышавшись, спросил:

— А если все раскроется? Из меня же тогда чучело набьют!

— Не смей и думать об этом! — решительно сказал Фарман-бек. — Поблагодари бога и делай, как я говорю! А почуешь опасность, собирай свое барахло — и ко мне! Я же еще не подох, всегда тебя выручу!

Бандиты, громко чавкая, доедали шашлык.

Вокруг черной стеной стоял непроглядный ночной мрак, и только вдалеке, за лесом, мерцали крохотными звездами огни железнодорожной станции...

Так было положено начало повести о лжедокторе Фазиле Шариф-заде.

ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Вместе с учителем в класс вошла весна — весна 1930 года.

Настроение у всех было праздничное, радостное. Тарлан вел урок с каким-то особым подъемом.

В классе читали Вагифа. Вся деревня — от мала до велика — увлекалась стихами седовласого мудреца. А сейчас, казалось, поэт вплел свой голос в голоса весны; он словно приветствовал юных из дальней дали времен и вместе с приветом прислал им в подарок «Журавлей», несущих на своих крыльях весну!

С задней скамейки встал высокий, худощавый, белокурый мальчик. Он начал было читать «Журавлей», но сразу же запутался и молча, опустив голову, сел на место.

В классе поднялся шум:

— Учитель, разрешите, я прочту!..

— Я, я хочу прочесть!..

Тарлан откинул назад длинные черные волосы, падавшие ему на глаза, и спокойным, неторопливым шагом прошел к последней парте. Дети, сидевшие впереди, тянули вслед ему руки:

— Я, я, учитель! Вызовите меня!..

Тарлан неодобрительно покачал головой и сказал с упреком:

— Нехорошо, ребята. Вы сами сбили Джамиля с толку. А я уверен: он знает урок.

Тарлан ласково погладил Джамиля по голове и оглядел класс. Взгляд его остановился на черноглазом мальчугане с широким лбом и обритой наголо головой.

— Ладно, Вели. Прочти ты.

Отступая шаг за шагом, Тарлан прошел к учительскому столу и, остановившись, снова кивнул мальчику:

— Начинай!..

Вели стоял, не выпуская из рук крышку парты, и молча смотрел на учителя. А все остальные с каким-то лукавым ожиданием смотрели на товарища. У Тарлана чуть дрогнули брови. «Что это с ними? Чего они на него так уставились?» Тарлан знал Вели как ученика спокойного, вдумчивого. Ему и в голову не могло прийти, что мальчик, оставаясь серьезным, часто рассказы-

вал товарищам смешные истории. Серьезность рассказчика только еще больше смешила всех. И поэтому даже тогда, когда Вели не хотел никого смешить, ребята все равно смеялись: они уже привыкли к забавным выдумкам товарища.

При Тарлане школьники обычно сдерживались: на его уроках никто не смел ни потешать, ни смеяться. Но сегодня в классе хозяйничала весна, дети расшалились, и их трудно было остановить.

Тихо в классе... Но тишина эта непрочная, обманчивая. Вели видит: многие вот-вот прыснут. Лицо его становится чуть растерянным и сердитым. Кажется, он хочет попросить друзей: да не смотрите вы на меня, ничего смешного я не скажу!

Молчание гнетет и Тарлана, и Вели, и самих ребят. Но вот Вели коротко вздохнул и рукой показал на окно.

— Учитель, с улицы кто-то зовет вас!

Все дружно расхохотались: слова, произнесенные Вели, были не очень-то похожи на строки стихотворения, которое он должен был читать.

Тарлан улыбнулся, медленно подошел к распахнутому окну и увидел посыльного из сельсовета. Тот извлек из кармана большой, изрядно помятый конверт и протянул учителю.

— Вашей жене письмо, учитель!.. Я никак не мог разыскать ее и решил отдать вам.

Тарлан с минуту задумчиво смотрел на посыльного («Интересно, от кого письмо? И почему оно послано на адрес сельсовета?»), потом, перегнувшись через подоконник, взял конверт, прочел обратный адрес. Какой-то Ашраф... Имя это было Тарлану незнакомо.

Учитель покраснел и сунул письмо в карман.

2

Тарлан закончил урок без всякого вдохновения. Почувствовав, что их учитель чем-то обеспокоен, ребята угомонились, притихли.

Как только прозвенел звонок, Тарлан поспешно вышел из класса. В учительскую он явился раньше всех.

Расхаживая по комнате вдоль длинного стола, за-

стланного красным бархатом, Тарлан мучительно припоминал: кто же такой этот Ашраф? Может, это один из школьных друзей Сарии?.. «Но она никогда не говорила мне о нем. Впрочем, что зря ломать голову? Проще всего прочитать, что он пишет. До сих пор у меня и Сарии не было тайн друг от друга!..»

Тарлан разорвал конверт.

«Любимая моя, маленькая Сария! — писал незнакомец. — Ты и представить себе не можешь, как я радовался, получив твое последнее письмо. Я еще крепче поверил в то, что любовь наша вечна...»

У Тарлана потемнело в глазах, сердце начало отбивать тяжкие, гулкие удары. Нет, это не было письмо друга! Речь в нем шла о любви, о каких-то клятвах и обещаниях...

В учительской постепенно собирались преподаватели. Тарлан скомкал письмо и торопливо положил его обратно в карман. Он старался не смотреть на товарищей: боялся, как бы они не заметили его волнения. А заметить это было нетрудно: когда Тарлан волновался, он сердито покусывал нижнюю губу.

Вдруг одна из преподавательниц, севшая недалеко от Тарлана, залилась звонким заразительным смехом. В другое время Тарлан, больше всех уважавший эту учительницу, непременно поинтересовался бы, что ее так рассмешило, и посмеялся бы вместе с ней. Но сейчас он нахмурился и отошел к окну.

Преподаватель географии Азиз, давно уже посматривавший на смешливую девушку, спросил с притворной строгостью:

— Что случилось, Садаф-ханум?

Но Садаф не смогла ему ответить. Она вытерла платком глаза и расхохоталась снова.

Хотя Садаф и приходилась племянницей Фарман-беку, на селе она слыла одной из самых боевых комсомолок. Сметливая, жизнерадостная, трудолюбивая, она все делала с огоньком. В районе о Садаф говорили как об умном, талантливом педагоге. Уроки ее ставили в пример учителям других сел.

Отец Садаф был когда-то народным учителем. Старик воплощал в себе лучшие черты старой, близкой к народу интеллигенции: он любил народ, понимал его нужды и, как мог, заботился о его счастье.

С шурином своим Фарман-беком он порвал еще во времена мусавата, когда тот, предпочтя высокому званию народного учителя чин начальника полиции, оставил школу. И до конца жизни не примирился отец Садаф с этим человеком, запятнавшим свое имя.

Садаф целиком была на стороне отца. Как и отец, всем сердцем ненавидела она Фарман-бека.

...Садаф не сидится на месте. Всегда она так: хохочет, перекидывается с товарищами задорными шутками.

Не дождавшись ответа на свой вопрос, Азиз поднялся и подошел к Садаф.

— Ханум, расскажите, почему вы смеетесь? Нам тоже хочется посмеяться.

— С удовольствием, товарищ Азиз, — несколько успокоившись, сказала она. — Вернее, Азиз-товарищ[1]. Ты повелеваешь — мы повинуемся! Но чтобы от души посмеяться, тебе надо было бы побывать на моем уроке. Сегодня в пятом классе мы читали с ребятами один рассказ. Так вот, вначале автор сообщает, что у его героини черная коса до пят. Ладно, до пят так до пят. А через страницу автор, забыв о том, что написал раньше... подрезал девушке косу! Он стал вдруг уверять, что ее светло-каштановые волосы коротко подстрижены! Дети сами указали на эту ошибку, и мне пришлось краснеть за автора.

— Что же тут смешного? Плакать надо!

— Да разве не смешно, что писатель не умеет отличить черное от светлого? И что он с искусством парикмахера стрижет своих героинь?

И Садаф снова расхохоталась.

А Тарлана все сейчас раздражало: и рассказ Садаф, и ее задорный смех. Ему хотелось заткнуть уши, закрыть глаза, чтобы ничего не слышать, никого не видеть, и отдаться своим невеселым думам. Покусывая губу, он уперся тяжелым неподвижным взглядом в дощатый пол. Вдруг кто-то тронул его за рукав. Рядом с ним стояла Садаф:

— Товарищ Тарлан, а вы почему такой хмурый?

Тарлан поднял голову, рассеянно посмотрел на учительницу и, ничего не ответив, вышел из комнаты.

На балконе, с которого открывался вид на Куру,

---

[1] Игра слов: «Азиз» в переводе: «дорогой».

Тарлан дочитал письмо. На двух страничках, вырванных из ученической тетради, собраны были все эпитеты, прилагаемые обычно к слову любовь: и «вечная», и «бесконечная», и «бессмертная».

Тарлан почувствовал, как холодеют у него губы. «Это не проделка местного шутника! Письмо действительно из Нухи: штемпель на конверте говорит сам за себя! Значит, Сария обманывала меня?.. Притворялась? Нет, на это она не способна! Я не могу в это поверить! Но ведь смысл письма ясен. Что же делать? С кем поделиться своими сомнениями, у кого попросить совета?»

Тарлан стоял неподвижно, устремив невидящий взгляд на далекую Куру. Мысли сменяли одна другую — так осенним днем несутся по ясному, спокойному небу быстрые облака; вот они заволокли все небо; бросили на землю хмурую тень и вдруг расступились, и вновь открылся среди облаков ослепительно голубой просвет.

Немало трудностей встречалось в жизни Тарлана. Ему приходилось решать задачи куда сложней, чем сегодняшняя; но никогда еще он не мучился так, как сейчас. Ведь он всей душой, всем существом своим верил в любовь Сарии! А она... И Тарлан рассмеялся горьким, беззвучным смехом. А потом, словно опомнившись, спросил себя: «Верил?.. Но почему же теперь я не должен ей верить?» Он вспомнил, какой была с ним Сария все эти годы, вспомнил ее ясные, чистые, не умеющие лгать глаза, и на лбу у него выступил холодный пот. «Да как я посмел хоть на минуту усомниться в моей Сарии?.. Верной, любящей Сарии?» Тарлан вытер лоб платком и стал медленно спускаться по лестнице. Жесткое выражение, мелькнувшее на миг в его черных глубоких глазах, сменилось виноватым, покаянным, морщины на лбу разгладились, щеки тронул легкий румянец, на губах появилась беспомощная улыбка.

Сейчас Тарлан уже стыдился недавних подозрений, бранил себя за то, что скверно подумал о человеке, которому верил, которого любил. «Спокойней, спокойней, дружище! Выкинь из головы черные мысли! Доверься своей Сарии. Ведь если она полюбит кого-нибудь, она сама скажет тебе об этом! Не силой же держишь ты ее в своем доме!»

Вдруг кто-то окликнул Тарлана:

— Ты что, не слышал? Давно был звонок! У тебя сейчас урок в седьмом классе.

Обернувшись, Тарлан увидел Азиза; взгляд у него был удивленный, недоумевающий. Тарлан кивнул ему успокоительно («Иду, иду!»), улыбнулся чему-то и, положив письмо в карман, быстрыми шагами направился в класс.

3

Шариф-заде, сельский врач, посмотрел на часы. Было без пяти четыре. Сегодня, пожалуй, никто не обратится к нему за помощью. Он сунул книгу, которую читал от нечего делать, в лежавший на столе портфель, резким движением поднялся со стула и, что-то напевая себе под нос, прошел к умывальнику.

Послышался знакомый скрип двери: кто-то вошел в приемную. Врач, продолжая мыть руки, взглянул через плечо на вошедшего и приветливо улыбнулся:

— А, Шамиль! Добро пожаловать! Где ты пропадал все эти дни?

Шамиль плотно прикрыл дверь, воровато огляделся и шагнул к Шариф-заде.

— Здравствуй, доктор! Я только что приехал. Был в лесу, у беглецов. Потом завернул в город купить водки. Все, что ты наказывал, я сделал. У меня ведь одна забота: делать то, о чем мы с тобой договорились. А заходить к тебе часто нельзя... Боюсь я. Эти сукины дети следят за мной и чуть что доносят Тарлану. Если же мы провалим дело, то мы недостойны носить на своих головах папахи!..

Шариф-заде вытер полотенцем лицо, руки и повернулся к Шамилю.

— Садись, пожалуйста, и рассказывай, какие вести привез ты мне от Фарман-бека? Как он там живет? Пополнился ли наконец его отряд?

Шамиль достал из нагрудного кармана сложенный вчетверо лист бумаги и протянул Шариф-заде.

— На, прочти; там про все сказано. Фарман-бек пишет, что он недоволен тобой. Уж не знаю, как ты теперь перед ним оправдаешься.

— Недоволен? Чем же это я его прогневил?

Шариф-заде развернул бумагу и углубился в чтение.

Шамиль, следя исподтишка за выражением его лица, вытащил из кармана табакерку, скрутил толстую цигарку и закурил.

Оба молчали.

Первое знакомство Шариф-заде с Шамилем произошло около месяца тому назад. Врач только что приехал в деревню и поселился у секретаря сельсовета Гамида.

Однажды вечером Шариф-заде и Гамид задержались на собрании партийной ячейки. Домой они возвратились усталые и сразу же легли спать. Молодая хозяйка — жена Гамида Салатын — занялась штопкой.

Среди ночи Шариф-заде почувствовал, что кто-то трясет его за плечо, и услышал испуганный голос Салатын:

— Доктор, к тебе пришли! В темноте я не разобрала, кто это. Просят выйти на улицу.

— Ходят тут всякие на ночь глядя! — сквозь сон проворчал Шариф-заде. — Скажи: пусть завтра придут.

Салатын молча прошла к двери и передала ответ врача человеку, ожидавшему во дворе. Но тот не спешил уходить. Приблизившись к Салатын, он заговорил быстрым, умоляющим шепотом:

— Да будет горе твое моим горем, уговори его выйти! Мой ребенок... ребенок у меня умирает! Скажи ему, пусть он сжалится над нами! Или он не мусульманин?

Салатын сокрушенно вздохнула и, вернувшись в комнату, снова принялась будить врача:

— Доктор, у него ребенок при смерти! Жалко его, беднягу. Надо выйти.

Шариф-заде с неохотой оделся, накинул на плечи плащ, сунул в карман револьвер и направился к двери. Выйдя из дому, он оглянулся по сторонам: никого не было. Шариф-заде сделал несколько медленных, осторожных шагов и громко спросил:

— Эй, кто там звал меня?..

— Это я, Махмуд, — послышалось из темноты, — я — Шамиль.

Шариф-заде вздрогнул, словно его ударило током, и в страхе попятился назад.

— Шамиль? Какой это Шамиль?..

— Отойдем подальше, я все объясню.

Почувствовав на своей щеке чужое дыхание, врач брезгливо поморщился, а Шамиль, пристально вглядываясь в темноту, вновь зашептал:

— Махмуд, к тебе приехал один человек. Он ждет тебя в верхней части села, в саду Мешади-Джаббара. Сделай милость, поторопись.

Чтобы лучше рассмотреть незнакомца, знавшего его настоящее имя, Шариф-заде, вытянув из кармана папиросу, чиркнул спичкой. Он увидел перед собой коренастого мужчину лет тридцати, с лихо закрученными усами, в серой солдатской шинели и грубых сапогах.

Несмотря на то что папироса у него курилась, Шариф-заде зажег еще одну спичку и, когда она загорелась, сердито спросил:

— Кому это я понадобился в ночную пору? Почему мне не дают отдохнуть? Как будто нельзя выбрать другое время!

Поняв, что врач не верит ему, Шамиль приблизил губы к уху Шариф-заде и доверительно шепнул:

— Ты что, боишься меня? Не бойся, ступай за мной. Скоро все узнаешь. Кажется, твой знакомый от Фарман-бека. У него есть письмо к тебе. Идем!

Услышав имя Фарман-бека, Шариф-заде отступил назад.

— Да вы что, с ума сошли? Какой такой Фарман-бек? Не знаю я никакого Фарман-бека!

Шамиль за рукав притянул врача к себе и снова принялся уговаривать:

— Ай, Махмуд, ай, брат мой, да не бойся ты меня! Клянусь богом, я не вру! Клянусь богом, тебя ждет человек от Фарман-бека!.. Он спрятался в саду, говорит, здесь его многие знают, надо быть осторожным. Потому-то и послал за тобой меня...

Шариф-заде прислонился спиной к столбу, подпиравшему навес, и несколько раз глубоко затянулся папиросой. Шамиль стоял совсем рядом, но лица его не было видно, и только прогорклое дыхание обжигало врачу щеку. «Во мне, видно, сомневаются, — раздумывал Шариф-заде, — вот и установили слежку. Да, да, это ловушка!» Он бросил окурок на землю, наступил на него ногой и спокойно, отчетливо произнес:

— Пойди к тому, кто послал тебя, и скажи ему: во-первых, я не Махмуд, а Шариф-заде. А если в деревне

есть еще врач, которого зовут Махмудом, то к нему и обращайтесь. Во-вторых, я не знаю никакого Фарман-бека. Это имя ничего мне не говорит. Я сказал — ты слышал. Все. Из дома я — ни ногой. Ясно?..

Шамиль в отчаянии махнул рукой.

— Вот история!

— Не болтай лишнего, — строго сказал Шариф-заде. — Иди и сделай так, как я сказал. Иди, иди!

И, оставив ночного гостя под навесом, врач быстрыми шагами прошел в комнату.

Шамиль словно прирос к земле. Он не знал, что ему делать, какими словами остановить, удержать Шариф-заде. «Вот беда-то!.. Уж не спятил ли он? Подумать только: Махмуд — и не знает Фарман-бека!..» Но медлить было нельзя, и Шамиль решительно шагнул в темноту.

Не успел Шариф-заде объяснить хозяйке, почему он так задержался, как с улицы его снова позвали. На этот раз Шамиль не стал с ним разговаривать: он схватил врача за рукав и чуть не силой подвел к человеку, сидевшему поодаль от дома, на бревне. В темноте Шариф-заде не узнал пришельца, но голос показался ему знакомым.

— Это я, Махмуд. Не узнаешь?.. Я — Мадат.

— Мадат? — растерянно переспросил врач.

— Да. Я привез тебе письмо от Фарман-бека. На, прочти.

Встреча с Мадатом рассеяла последние сомнения Шариф-заде. Он взял у него из рук письмо и чуть не бегом бросился в комнату.

Из-за ситцевой занавески слышался храп Гамида. Салатын еще не спала. Она чинила мужу рубашку. Шариф-заде, словно затравленный зверь, обшарил недоверчивым взглядом комнату, посмотрел исподлобья на Салатын. Он всего сейчас боялся: ему казалось, что все догадываются о самых тайных его помыслах.

Почувствовав на себе взгляд постояльца, Салатын подняла голову и без тени подозрения спросила:

— Что случилось, брат? Тебе удастся спасти ребенка?..

Поведение врача ничуть не удивляло Салатын, она даже жалела Шариф-заде: вот работа!.. И ночью ему приходится маяться!

— Если сейчас же не достать лекарство, — взволнованно сказал Шариф-заде, — больному станет совсем худо. Надо немедля ехать в город за лекарством.

Салатын сочувственно покачала головой, печально вздохнула и снова склонилась над рубашкой.

А Шариф-заде, пристроившись у лампы, разложил перед собой письмо Фарман-бека и сделал вид, что составляет рецепт.

«Дорогой мой Махмуд, — писал Фарман-бек,— давно уж не получаю я от тебя вестей и не знаю, как твои успехи. Но, как я слышал, ты не выполнил еще тех поручений, которые я дал тебе в последнем письме. И это меня очень сердит. Может быть, тебе понравилось твое новое положение и ты решил отказаться от наших планов? Или ты просто забыл, о чем мы договаривались? Люди ко мне в отряд не идут. Но все равно мы не сидим сложа руки. Готовится восстание в селе Биттили, близ Шамхора, и если нам удастся затея с явлением имама, то дела наши пойдут на лад. И слава богу, потому что я устал уже бродить по горам да лесам. Нас ищут. Вчера пришлось выдержать жестокий бой с отрядом районной милиции. Мы убили двоих, а сами потеряли четверых. Ты их не знаешь, они из Шамхора. Сейчас мы снова вынуждены скрываться, это письмо я посылаю тебе с Мадатом и не знаю, сумеет ли он вернуться целым и невредимым.

В ближайшие же дни я думаю продвинуться к иранской границе. Говорят, что мусаватистские офицеры, удравшие после революции в Иран, сколотили там отряд и готовятся к наступлению. Намечены восстания в Карабахе, Геокчае и Шеки. Мы хотим влиться в этот отряд.

Жду от тебя подробного письма.

Любящий тебя больше брата Фарман-бек».

Шариф-заде опять покосился на Салатын и собрался было положить письмо в карман, но в это время и Салатын взглянула на него. Тогда Шариф-заде повернулся к ней спиной и незаметно порвал письмо на мелкие клочки. Он был взволнован и что-то бормотал про себя, беззвучно шевеля губами. Салатын прислушалась, но не смогла ничего разобрать.

— Да что с тобой, брат? — спросила она удивленно.

Шариф-заде бросил клочки письма в печь, написал что-то на лежавшем перед ним чистом листе бумаги и торопливо направился к двери.

Во дворе Шариф-заде остановился и, сдерживая дыхание, приник настороженным слухом к безмолвию ночи. Деревня спала, даже псы, не знавшие по ночам покоя, и те молчали.

Стараясь не шуметь, Шариф-заде подкрался на цыпочках к Шамилю, они растолкали задремавшего Мадата (он не спал уже несколько ночей) и все вместе отошли подальше от дома.

— Пойдемте к долине Махмудлу, — тихо сказал врач. — Там нам будет спокойно. Посидим, потолкуем.

Он проверил, заряжен ли револьвер, и испытующе поглядел на Мадата, словно все еще сомневался и в нем и в Шамиле.

Тихонько, осторожными, вороватыми шагами, чтоб не спугнуть спавших псов, все трое двинулись вперед. У белого дома, светлым пятном выделявшегося в ночном мраке, они свернули налево и, постепенно удаляясь от строений, вышли на проселочную дорогу, которая вела из верхней, южной части деревни к долине Махмудлу.

Хотя Шариф-заде прожил в деревне всего около месяца, он хорошо знал эти места: они были удобны для охоты, и врач проводил здесь все свободное время. И сейчас, несмотря на непроглядную тьму, он шел уверенно и свободно.

До сих пор никто не проронил ни слова, не было слышно и шагов. Мадат, на которого тишина этой черной ночи нагоняла тоску, шепнул Шамилю:

— Было б неплохо, если б ты привел моего коня.

Шамиль шагнул в сторону, и ночной мрак заслонил его от товарищей. Вскоре на краю деревни залаяла собака, а потом опять все затихло. Мадат и Шариф-заде прошли еще несколько шагов, и только тогда врач спросил:

— Как дела у Фарман-бека? Где он сейчас? Давно я его не видел.

— Мы теперь прячемся в лесу, — шепотом ответил Мадат. — Сам Фарман-бек прихворнул было, но сейчас как будто поправился. Через несколько дней он хочет

совершить налет на один городок. Только вот людей у нас маловато. Как Фарман-бек ни бьется, все не может пополнить отряд. А что можно сделать с двадцатью всадниками?.. Да ты же читал его письмо: там все прописано. Фарман-бек ждет, что ты поможешь ему.

Врач молчал. В душе он злился на Фарман-бека, действовавшего без должной решительности и пытавшегося свалить все на него, Махмуда, но ничем не выдал своего недовольства. После недолгой паузы Шариф-заде задумчиво сказал:

— Сам знаешь, положение сейчас сложное... Приходится проявлять предельную осторожность. Если на меня падет хоть тень подозрения, все наши замыслы пойдут прахом. Здесь и так следят за каждым моим шагом. Стоит собраться куда-нибудь — и уж вся деревня пялит на меня глаза!.. Но все равно я делаю все, что могу. После моего приезда из колхоза ушло, наверное, уже человек пятнадцать. Я уговорил одного из самых уважаемых колхозников — его зовут, кажется, Адхамом — подать заявление об уходе; за ним потянулись и другие. Но обмануть крестьянина не так-то просто. Он ведь не против колхоза, ему только не по душе некоторые беззакония, понимаешь? И понадобится немало времени, чтобы переманить крестьян на нашу сторону, завербовать их в отряд Фарман-бека. Сейчас в деревне...

Сзади послышался размеренно нарастающий стук, и Шариф-заде, вздрогнув, замолчал. Мадат успокаивающе пожал ему локоть.

— Не пугайся: это, наверно, Шамиль.

— Так вот, — продолжал врач, — В деревне начинают сеять хлопок. Работать придется день и ночь. А есть нечего. Часть земли колхозники засеяли пшеницей, но сверху пришло распоряжение: перепахать поля, высеять на них хлопок. Хлеб, который должны прислать крестьянам, до сих пор еще не получен. Многие недовольны. Нам надо воспользоваться этим и начать действовать, действовать быстро и решительно. Но для этого нужны деньги. Много денег. Скажи Фарман-беку: пусть он подумает об этом.

Из темноты выступил силуэт всадника: это подъехал Шамиль. Он спрыгнул с коня и взял его под уздцы. Врач опасливо покосился на Шамиля и, наклонившись к уху Мадата, тихо спросил:

— Скажи, на него можно положиться?

Мадат рассмеялся.

— Что значит положиться? Это наш первый помощник! Ты знаешь, кто был его отец? Имран-бек, самый знатный бек в этой деревне!

— И Шамиль ничего, живет и здравствует? — удивился врач.

— Э, да он ведь шурин заведующего райзо!.. — смеясь, объяснил Мадат. — Шамиль опирается на гору!

Шариф-заде обернулся к Шамилю и с досадой произнес:

— Почему же ты раньше ничего мне не сказал, жестокий ты человек?

— А, доктор, ты слишком уж осторожничал!.. Тебе говорят — ты не веришь. Я уж и клялся и божился, а ты только рассердился на меня!

— Ну, если я не буду осторожным, — улыбнулся Шариф-заде, — то скоро мне на шею петлю накинут.

Наконец они достигли долины Махмудлу. Долина лежала между двумя рядами высоких холмов, верстах в трех от деревни. Здесь, как всегда, было тихо, безлюдно.

С того места, где они остановились, днем хорошо была видна извилистая проселочная дорога, взбегавшая на один из холмов, заросли колючего кустарника, бескрайние луга с зеленой волнующейся травой и далеко внизу — извивавшаяся змеей Кура, стиснутая скалистыми берегами. Днем здесь чувствовалось дыхание весны: алые маки, зеленая трава, цветы, переливавшиеся на солнце яркими, свежими красками, — все наполняло воздух сладким, пьянящим запахом.

А сейчас и земля и небо были погружены во мрак. С неба сеялся реденький дождик. Шариф-заде и Шамиль отыскали местечко поукромней, Мадат вбил в землю колышек, к которому привязал лошадь, и присоединился к товарищам.

Вытирая капли дождя, упавшие на щеку, Шариф-заде сказал:

— В ближайшее же время я отправлюсь в город. Я думаю написать жалобу на Тарлана и на председателя колхоза Мурсала-киши и передать ее в райком партии и в райисполком. Нам необходимо подорвать их авторитет. В деревне Тарлан пользуется большим уваже-

нием, и пока мы не очерним его, не бросим на него тень, руки у нас связаны...

Шериф-заде умолк, закурил и выжидающе посмотрел на своих собеседников. Оба сидели задумчивые, сосредоточенные. Мадат заговорил первым:

— Махмуд прав. Но надо привлечь к этому и крестьян. Вот если ты составишь веское заявление и уговоришь крестьян подписаться под ним, это будет в самый раз!

Шариф-заде покачал головой.

— Уговорить крестьян! В этом вся трудность и заключается. Крестьяне в Тарлане прямо души не чают. А если собрать подписи у таких, как ты да Шамиль, то жди провала. Сразу заорут, что это дело рук классового врага! В общем, решим разгладить брови, да попадем в глаз. М-да... Если уж правду говорить, работает Тарлан действительно здорово. И ему верят, верят, черт побери!.. Вот уже три года подряд его выбирают секретарем партячейки...— Шариф-заде задумался на минуту и медленно, со злорадством произнес: — Но кой-какой материальчик все-таки подобрать можно... Старший брат Тарлана был офицером в мусаватистских войсках, а потом бежал за границу. Так вот, мы напишем, что Тарлан поддерживает со своим братом тайную переписку. Организуем несколько подписей, и — что нам еще нужно?..

— Ай, ловко придумано! — воскликнул Шамиль, смотря на врача восторженными, заблестевшими от радости глазами. — У нашего доктора светлая голова! Уговаривать народ, собирать подписи — это я возьму на себя.

— Да подожди ты, — оборвал его Шариф-заде. — Тут надо все учесть... А вдруг в райкоме решат проверить факты, пришлют комиссию? Как мы тогда все докажем?

— А зачем нам доказывать? Пусть-ка лучше он сам докажет, что не получал писем от брата и не отвечал ему.

Врач, соглашаясь, кивнул головой, и они замолчали. Мадата давно уж не было слышно: он, видно, опять задремал.

Шариф-заде уперся подбородком в колени и погрузился в тяжелое раздумье. Его начали вдруг одолевать сомнения. Перед ним сильный, умный враг... Может слу-

читься и так, что планы, которые он строил, рухнут и погребут под собой и его, Махмуда. Что же делать? Шариф-заде усмехнулся. Ну, что ему здесь делать,— это ясно. Он хорошо помнит, зачем его послали в эту далекую деревню.

Еще тогда, когда Шариф-заде жил в районном центре, он получил от Фарман-бека письмо с новыми указаниями. Фарман-бек писал, что скоро по всему Азербайджану прокатится широкая волна восстаний, и требовал, чтобы Шариф-заде выехал в деревню и с помощью осторожной агитации постарался поднять против советской власти как можно больше крестьян. Шариф-заде, не мешкая, отправился к секретарю райкома и заявил, что хочет быть поближе к народу и просит послать его на работу ну хотя бы в деревню Элляр.

Да, Шариф-заде знал, что ему нужно делать. Но теперь... теперь и Фарман-бек переменил тон! В последнем его письме знакомые посулы чередуются с жалобами. Фарман-бек, как видно, утерял былую уверенность. Он ждет помощи от Шариф-заде. Но чем Шариф-заде может помочь ему?.. Он, как никогда ясно, чувствует шаткость своего положения. И надо же ему было, приняв обещания Фарман-бека за чистую монету, кинуться очертя голову в это село, где приходится все время быть начеку! Ну, разве в силах он повести за собой всю деревню?.. Да как ни старайся, все равно ничего из этого не получится. Можно еще уговорить одного, от силы пятерых крестьян, но всех?.. «Нет, это невозможно. Нам, интеллигентам, крестьяне не верят. Они ненавидят нас...» Шариф-заде глубоко, с жадностью затянулся папиросой, в сердцах швырнул окурок на землю и со злостью плюнул. Мадат, прикорнувший рядом, с трудом поднял тяжелую голову, испуганно спросил: «Что, что случилось?..» — и тут же опять уснул.

А Шариф-заде все не мог отделаться от своих путаных мыслей. Ему подумалось вдруг, что он сам во всем виноват. До сих пор он слепо подчинялся указаниям Фарман-бека. Но довольно ему быть игрушкой в чужих руках, довольно прислушиваться к чужим советам. Он будет теперь действовать по собственному усмотрению. Он пойдет к той же цели, но своим путем! Шариф-заде считал себя куда умней и дальновидней Фарман-бека. Фарман-бек, как и многие другие, опутан рели-

гиозными предрассудками, он фанатически верит в скорый крах новой власти. Смешная наивность! Шариф-заде смотрит на это трезвее. Убежденный противник советской власти, он ясно видит, на какую огромную силу эта власть опирается. Потому-то и не удается ему избавиться от сомнений и колебаний. «Нужны сильные армии, чтобы сдвинуть эту гору с места. А на создание таких армий уйдут многие годы».

Шариф-заде так сосредоточился на этой мысли, что не подумал даже о последствиях принятого им для себя решения. Он посмотрел на Шамиля, на Мадата и с какой-то безрассудной запальчивостью сказал:

— Ну-ка, друзья, вставайте! Пора расходиться.

«Друзья» вытаращили глаза. Казалось, слова врача не дошли до их сознания. Мадат недоумевающе спросил:

— Эй, Махмуд, для чего же нам было тащиться в этакую даль?.. Мы и не поговорили толком.

— Я привел вас сюда, заботясь о вашей же безопасности, — объяснил Шариф-заде. — В деревне вас могли заметить, и тогда несдобровать бы вам обоим... — Он повернулся к Мадату: — Садись на коня, Мадат, и отправляйся к Фарман-беку. Скажи, пусть он оставит меня в покое. Какое мне дело до его планов? В деревне я на хорошем счету и как врач и как партиец. Что же мне еще нужно?.. Я и вам советовал бы отказаться от безумных затей. Двадцать всадников не в состоянии свалить советскую власть!

Шамиль и Мадат не верили своим ушам.

— Да ты что, спятил?..

— Нет, я только прихожу в себя. И не хочу больше верить пустым бредням! Не хочу ставить на крапленую карту свою жизнь! Ха!.. Ну, скажите, вы, безмозглые люди, кого может испугать ничтожная горстка головорезов?

— Ах, вот ты как! — зловеще сказал Мадат. Он вскочил и схватился за винтовку. Шариф-заде быстро сунул руку в карман, где лежал револьвер.

— Не дурите! — прохрипел врач. — Подумайте-ка лучше сами: о каком восстании может идти речь, если число сторонников Фарман-бека не растет, а уменьшается?

Шамиль, поначалу принявший слова Шариф-заде за

шутку, увидел, что дело принимает серьезный оборот, и, поднявшись, шагнул к врачу.

— Нынче ночью ты умрешь, доктор! — с угрозой прошипел он.

Мадат стукнул о землю прикладом винтовки.

— Подожди, Шамиль. Не трогай его. Тебе что, не жалко патронов? Мы лучше сделаем так, — он усмехнулся, — завтра же сообщим куда надо, что некий Махмуд под чужим именем занимается в деревне Элляр темными делами. Видишь, как все просто!

Шариф-заде понял, что переборщил и напрасно открыл собеседникам свои карты. Он подался назад и вдруг разразился продолжительным хохотом.

— Ха-ха-ха! Здорово же я вас напугал, смешные вы люди! Да я просто хотел испытать вас! А вы и поверили? Эх, вы! Ну, да ладно, зато я убедился, что вы не из трусов и тверды в своих намерениях. Один такой джигит стоит целой армии!

Шариф-заде легко удалось убедить Шамиля и Мадата в том, что он разыграл их, и, примирившись, все трое снова опустились на землю и до рассвета протолковали о своих делах. Даже дождь, редкий и нудный, переходивший иногда в короткий ливень, не мог прогнать их из долины.

Проводив Мадата в лес, Шариф-заде и Шамиль, как добрые, старые знакомые, двинулись к деревне. На окраине они простились.

С этого дня Шамиль и Шариф-заде стали друзьями.

...Молчание длилось долго. Наконец Шариф-заде отложил письмо Фарман-бека в сторону (оно мало чем отличалось от прежних его посланий) и, продолжая прерванный разговор, сказал:

— Все-таки ты должен заходить ко мне почаще. Прикинься больным, встань, как все другие больные, в очередь. Ты же знаешь: я здесь совсем один. А теперь — о деле. В деревню скоро явится секретарь райкома. Я уже позаботился о том, чтобы как можно больше колхозников получили освобождение от работы. Мурсал-киши рычал на меня, как собака, ну, да мне-то что?.. Я врач, я имею право выписывать бюллетени. От тебя же требуется, чтобы ты собрал всех этих людей и

подбил их устроить гулянку. С водкой, конечно. Если к приезду секретаря эта пьяная орава выйдет на улицу, все будет в порядке. Он увидит, что колхозники здесь уклоняются от работы. Пусть тогда Тарлан и Мурсал-киши попробуют оправдаться!

Шамиль одобрительно кивнул:

— Молодец, доктор! А самому-то тебе не влетит?

— Они не станут вмешиваться в дела, в которых мало что понимают. Я врач, я один отвечаю за здоровье крестьян. Так что на этот счет можешь быть спокоен. — Он оглянулся с видом заговорщика и добавил: — А я тут придумал еще одну штуку. Вчера я отправил на адрес сельсовета письмецо жене Тарлана. И так обделал это дельце, что не подкопаешься! Старый конверт, штамп нухинской почты... Молодчик, верно, уже прочел его. Втоптать в грязь его жену — это ведь тоже не плохо, а?

Шариф-заде, довольный своей сметливостью, ткнул Шамиля кулаком в бок, рассмеялся беспечно, а потом, посерьезнев, положил руку на плечо приятеля.

— А теперь иди и делай так, как я сказал. Ясно? Но будь осторожен! Сам пей поменьше, лишнего не болтай. Постарайся подпоить Гюльали-оглы: этот, кажется, будет нашим; ему здешние порядки не по душе. Можешь, как бы невзначай, намекнуть на романчик нашей уважаемой Сарии-ханум.

— Все будет сделано, доктор, — сказал Шамиль, поднимаясь. — Ну, будь здоров.

— Желаю успеха! Да постарайся не попасться на глаза людям. Никто не должен знать, что ты был у меня. Ступай.

4

В школе еще шли уроки, когда Тарлану сообщили, что в колхоз приехал кто-то из районного центра. Тарлан дал ученикам задание на дом и, выйдя из школы, направился к длинному белому зданию, давно отведенному под кооперативный магазин. Неподалеку от магазина поблескивал свежим лаком автомобиль новой советской марки. Вокруг него толпились крестьяне, рядом с машиной стояли председатель колхоза старик Мурсал-киши и председатель сельсовета Гаджи-оглы.

В смуглом мужчине, сидевшем в автомобиле рядом с шофером, Тарлан узнал секретаря райкома.

Шагах в двух от автомобиля стоял, подбоченившись, невысокий худощавый крестьянин с заросшим щетиной лицом, в телогрейке, перетянутой широким солдатским ремнем, и в кепчонке, чудом державшейся на самой макушке. Это был Гюльали-оглы. Обращаясь к секретарю райкома, он выкрикивал резким, гнусавым голосом:

— Ай, товарищ райком! Ты ведь, слава богу, человек бывалый, ты поймешь. Клянусь...

Он хотел было опять побожиться, но вдруг запнулся и испуганно оглянулся вокруг: ему вспомнилось, как смеялись над ним комсомольцы, называвшие его и невеждой, и фанатиком, и еще бог знает как. Однако, не заметив в толпе никого из своих «врагов», Гюльали-оглы успокоился и храбро закончил:

— Клянусь единым богом, дома у нас не осталось и горстки муки! Да пусть вот Мурсал-киши скажет, — он показал рукой на председателя и повысил голос: — Да, да, пусть он скажет! Эй, Мурсал-киши, что же ты молчишь? Воды в рот набрал, что ли? Объясни всем, много ли можно наработать на пустой желудок? Нет, вы сперва дайте нам хлеба, пусть люди наедятся досыта, и, если после этого кто-нибудь уйдет с поля, я готов сбрить себе усы! Эй, довольно отмалчиваться, Мурсал-киши! Подними голову, посмотри людям в глаза. Ведь не я же председатель колхоза, не мне отвечать, если завтра у нас не будет хлопка!

Тарлан подошел к автомобилю, поздоровался с секретарем райкома и, сунув руки в карманы плаща, встал рядом с Мурсалом-киши.

— В чем дело, Гюльали-оглы? — Он улыбнулся невеселой улыбкой и, передразнивая Гюльали-оглы, добавил: — Клянусь единым богом, ты опять на что-нибудь жалуешься!

Крестьяне захохотали, рассмеялся и секретарь райкома:

— Ай, спасибо тебе, учитель. Выручил! В одиночку я с ним не справился бы!

Однако и Тарлану не удалось успокоить расходившегося Гюльали-оглы. Тот горячился все больше, и слова его были такими же жесткими, сердитыми, как и лицо.

— Душа моя, скажи, чем же мы-то виноваты? Будь нам неладно, детям свиньи: мы от зари до зари гнем спины, в животах у нас пусто, а кормят нас только обещаниями. «Не подыхай, осел, подожди: придет весна, вырастет клевер». Но от слова «халва» во рту сладко не будет! И чует мое сердце, уморите вы нас всех!

Все ждали от секретаря райкома гневных, осуждающих слов. Даже Тарлан был уверен, что секретарь осадит Гюльали-оглы. Но секретарь райкома понимал, что окриком тут ничего не добьешься. Колхозникам и правда приходилось сейчас туго, и все из-за ошибочных действий прежних руководителей. Отдельные люди из руководства, незнакомые с местными условиями, рассудили так: Азербайджан — край хлопководческий, а значит, на поля, уже засеянные хлебом, надо пустить тракторы и перепахать эти поля под хлопок. В результате горе-руководители погубили хлеб и нанесли серьезный урон хлопководству. Чтобы исправить их промах, каждый теперь должен был трудиться за двоих, за троих.

И секретарь райкома не стал спорить с Гюльали-оглы, а спокойно и дружелюбно сказал:

— Товарищ Гюльали-оглы! Почему ты все сваливаешь на других? Ведь многое зависит и от вас, колхозников. — Он неожиданно улыбнулся и, обращаясь ко всем крестьянам, добавил: — Но я и с себя не снимаю ответственности. Не будем ругать старое руководство, сейчас я за все в ответе.

Мурсал-киши, наклонившись к секретарю райкома, с укором сказал:

— Ай, Надир! Ну что ты обращаешь на него внимание? Это же Гюльали-оглы! Пусть себе болтает на здоровье, а ты не слушай. Пустой он человек!.. Ты бы лучше вылез из машины да малость передохнул. Устал, поди, с дороги-то...

Убедившись, что никто больше не будет его слушать, Гюльали-оглы нахмурил брови и исчез в толпе. Когда секретарь райкома поднял голову, Гюльали-оглы среди колхозников уже не было. Надир поискал его глазами и увидел, что он шагает мимо дальних домов в верхнюю часть деревни. Секретарь райкома усмехнулся и обернулся к Тарлану.

— Я сейчас поеду в соседнее село, через часок вернусь. Пока скажу одно: если в ближайшее время мы не

получим вдоволь хлеба, я сам отправлюсь в Баку и подниму там скандал. Но предупреждаю: в первую очередь мы обеспечим хлебом тех, у кого все в порядке с хлопком. Мы должны вырастить хороший хлопок!

Секретарь райкома потряс за плечо уснувшего шофера; тот в испуге открыл глаза и, не оправившись еще от сна, пробормотал:

— Дальше?..

— Да, да, поехали.

Машина, разбрасывая грязь, умчалась вверх по проселочной дороге.

В верхней части деревни слышался звук зурны. Кто-то резким, высоким голосом пытался затянуть песню. Тарлан узнал в поющем Гюльали-оглы. Когда зурна замолкала, доносился такой дикий и нестройный шум, что хоть заткни уши да беги вон.

Шум все нарастал, и наконец на дороге показалась группа крестьян, человек десять. Они не спеша приближались к кооперативу. Один из них, коренастый, с кривыми ногами, выводил на зурне мелодию, рядом шел, вытянув тонкую, как у аиста, шею, другой зурначи. Усердно раздувая щеки, он аккомпанировал товарищу. Третий музыкант — великовозрастный ученик, застрявший в последнем классе, — бил в бубен. Были здесь и плясуны, — они лихо, с удалью, месили ногами дорожную грязь.

Издали трудно было различить, кто эти крестьяне. Но заметно было, что компания навеселе: гуляки еле держались на ногах, то и дело спотыкались.

Тарлан вопросительно посмотрел на Гаджи-оглы и Мурсала-киши. Лицо его налилось кровью, в глазах вспыхнули искорки гнева.

— Кто продал им водку?

Гаджи-оглы кинулся к дверям магазина. Заведующий в это время нагнулся, чтобы поднять что-то с пола, а когда выпрямился, встретил грозный взгляд Гаджи-оглы и, встревожившись, заторопился ему навстречу.

— Что случилось, председатель?

Гаджи-оглы схватил его за рукав, подвел к дверям и показал на подгулявшую компанию.

— Ты что наделал, а?

Заведующий порядком перетрухнул, лицо его сдела-

лось серым как пепел. Словно не веря своим глазам, он недоумевающе пожал плечами.

— Ей-богу, я ничего не знаю!

Тарлан внимательно разглядывал крестьян, шествовавших к кооперативу: они шли подбоченившись и нагло били в ладоши, подбадривая танцоров и музыкантов. В большинстве своем это были колхозники, не вышедшие сегодня на работу. Был среди них и здешний тракторист.

А Гаджи-оглы продолжал допрашивать заведующего:

— Ну? Я тебя спрашиваю! Кто продал им водку?

Он держал беднягу за шиворот, губы у него дрожали, и заведующий от страха даже заикаться стал.

— Клянусь... к-клянусь аллахом... Клянусь твоей жизнью, я не виноват!.. Я давно запер водку в складе.

Гаджи-оглы оттолкнул его и, повернувшись к пьяной компании, закричал хриплым голосом:

— Нет, вы поглядите-ка на этих сволочей, которые ноют, что у них нет хлеба! Эй, Гюльали-оглы! Ты, кажись, тоже пропустил пару рюмок, а? Ах, негодяй! У тебя же дома сухой корки нет. Где же ты достал деньги на водку?

Гюльали-оглы (он был пьян меньше других) громко расхохотался.

— Деньги? Да откуда у меня деньги! Клянусь твоей головой, эти сукины дети силком заставили меня выпить! Ха! Деньги...

Гуляки увидели, что к ним приближается Тарлан, и остановились. Зурна замолкла. Тогда Шамиль, шагавший впереди всех, резко обернулся, опустил тяжелую ладонь на шею зурначи, больно сдавил ее и заорал над самым его ухом:

— Эй, почему не играешь? Играй!..

Зурначи заиграл «Джейрани». Шамиль поднял над головой руки и, не глядя на Тарлана, ловко прошелся перед ним на цыпочках. Сегодня Шамиль был наряден: новые сапоги, кинжал с серебряной рукояткой, высокая конусообразная папаха, сдвинутая на затылок. Время от времени он нагибался и, с трудом выпрямившись, продолжал танцевать, скаля в улыбке гнилые зубы.

Школьник, бивший в бубен, удрал, как только увидел учителя. Тарлан подошел к зурначи, взял его за рукав и оттащил в сторону.

— Ты помнишь, о чем мы говорили на собрании? Сейчас надо работать, как никогда!

Словно не замечая, что зурначи перестал играть, Шамиль, склонив голову на плечо, плясал все с большим азартом.

— А вы чем занимаетесь? — с гневом выкрикнул Тарлан. — Да еще в самый разгар рабочего дня? Чьих рук это дело, а?.. Молчишь?

Шамиль уронил поднятые в танце руки, но так и не взглянул на Тарлана. Рядом с Тарланом вырос Гаджи-оглы — лицо суровое, хмурое, взгляд налит яростью. Он понимал: не с доброй целью затеяна эта гулянка! И заводилой здесь Шамиль, который веселится больше всех.

Глаза у зурначи стали похожи на чаши, наполненные кровью. Он упрямо молчал.

Гаджи-оглы очутился вдруг между зурначи и Тарланом. Еле сдерживая себя, он зловеще зашептал:

— Ты что же это, сукин сын, а? Что за номера вы здесь откалываете?

Зурначи — ни слова. Тогда Гаджи-оглы тряхнул его так, что у него зурна выпала из рук, и отпихнул в толпу сбежавшихся на шум крестьян. И в эту минуту прозвучала пощечина. Это Шамиль ударил учителя.

Тарлан не растерялся. Он выхватил из кармана револьвер и угрожающе крикнул:

— Назад!

Шамиль, до этого разыгрывавший храбреца, понял, что учитель шутить не намерен, и, отпрянув назад, скрылся в толпе.

Щека Тарлана стала багровой. Увидев, что учитель вне себя, Гаджи-оглы отобрал у него револьвер и спрятал в карман.

— Спокойней, спокойней! — сказал он. — Я и один с ними управлюсь.

Из толпы донесся злобный, хриплый голос Шамиля:

— Эй, Тарлан! Бесись не бесись, а ваш колхоз нам не нужен!.. Мы не хотим, чтоб жены у нас были коллективными, как твоя: ее хватает и на тебя и на других! Уходи от нас и не приставай со своим колхозом!

Все слышали эти грязные слова. У Тарлана тяжко забилось сердце, кровь бросилась в голову, в глазах вспыхнули молнии.

— Держал бы язык за зубами! С чужого голоса поешь!

Наступило минутное затишье. Шамиль, осмелев, хотел было снова выйти вперед, но Гаджи-оглы, не вынимая руки из кармана, преградил ему путь и так толкнул его, что тот легко, словно мячик, упал на землю. Папаха слетела у него с головы, из папахи выпала длинная палочка, придававшая ей щегольской вид. Палочка эта привлекла всеобщее внимание. Послышался смех.

А Гаджи-оглы все наскакивал на Шамиля:

— Ах ты, сукин сын! А ну, погляди мне в глаза! Я заставлю твою мать лить горькие слезы! Да провались ты в преисподнюю!.. Я так тебя отделаю, что... — И, обращаясь к пьянчугам, которым недавно море было по колено, он крикнул: — А вы убирайтесь ко всем чертям! Когда протрезвитесь, я с вами поговорю как следует! Все у меня получите по заслугам!

Зурначи поднял валявшегося в грязи Шамиля и потащил его прочь. Шамиль шел вразвалку, пошатываясь, словно обессилевший бык. Вскоре оба исчезли за домами. Гаджи-оглы немного поостыл и, боясь попасться на глаза секретарю райкома, который вот-вот должен был вернуться, ушел в сельсовет.

Крестьяне из подгулявшей компании стали поодиночке расходиться. Вслед им неслись шутки, смех. Люди на чем свет стоит честили Шамиля: не забыл, видать, старых привычек, до сих пор задевает честных людей!

Гюльали-оглы спрятался в толпе. Но беднягу, видно, мучила совесть. Когда приятели его разошлись, он постоял несколько минут в нерешительности, а потом медленно подошел к Тарлану.

— Прости меня, учитель. Я виноват.

Тарлан взглянул на него в упор. Гюльали-оглы пристыженно опустил голову.

5

Когда Тарлан и Мурсал-киши двинулись к правлению колхоза, на дороге показалась машина секретаря райкома. Он ехал не один, а с какой-то незнакомой девушкой в синем берете. Возле правления машина остановилась. Мурсал-киши заспешил навстречу гостям.

— Ай, Надир, да откушай же ты у нас, пожалуйста! — взмолился старик и покосился на девушку.

Лицом девушка походила на русскую: кожа у нее была белая. На широком лбу, ближе к вискам, темные точечки, словно маленькие-маленькие родинки. Глаза приветливые, улыбчивые.

— Это и есть председатель? — на чистейшем азербайджанском языке спросила девушка у секретаря райкома.

Мурсал-киши понял, что перед ним азербайджанка, и посмотрел на нее еще внимательней. Нет, он нигде ее не встречал: она здесь, видно, впервые.

В свою очередь и девушка окинула Мурсала-киши испытующим взором. Ей понравились его добрые, лучистые, чуть усталые глаза, лоб, изборожденный морщинами.

Девушка мельком взглянула и на Тарлана. «Синяки под глазами... Будто его побили... А одет аккуратно, чистенько. Наверно, сельский учитель».

Она снова обратилась к секретарю райкома:

— Это что, старый колхоз?

— Нет, дочка, — ответил за него Мурсал-киши. — Мы организовали его всего месяца четыре назад. Да вылезайте же вы из машины, еще наездитесь!

Секретарь и его спутница вышли из машины и направились к землянке Мурсала-киши.

Шофер выключил мотор, накинул на плечи пиджак и, мечтая о предстоящем угощении, неторопливо последовал за секретарем.

Секретарь райкома бывал у Мурсала-киши не раз и все же внимательно оглядел комнату. Две тахты стояли друг против друга. В темном углу — пустая полка. Прежде на ней теснились желтый самоварчик и старая медная посуда, но сейчас, видно, хозяйка ставила самовар под навесом. На необтесанном тополевом стволе, заменявшем скамейку, лежал недовязанный носок из пестрой шерсти. Над камином висела на гвозде керосиновая лампа с закопченным десятилинейным стеклом. Шкафчик, устроенный в стене, был без дверцы, и каждый мог любоваться помещавшимся там хламом: ненужными кусками железа, старыми ботинками, собачьим ошейником, маленьким топориком на длинном топорище и тяжелым заржавевшим топором с зазубрившимся лез-

вием. На стене с облупившейся штукатуркой красовалась винтовка Мурсала-киши, рядом поблескивали обоймы, набитые патронами.

Гости расселись на тахтах: секретарь и девушка возле печурки, Тарлан — напротив. Мурсал-киши устроился на бревне, рядом с ним примостился и шофер. Покашливая, он достал из кармана пропыленного пиджака портсигар, взял папиросу, и сизый дым, вырвавшийся из его ноздрей, окутал комнату.

Мурсал-киши обернулся к девушке, приехавшей с секретарем райкома.

— Как же тебя зовут, дочка?

— Мариам.

— А какими судьбами очутилась ты в наших краях?

— Меня прислали из Баку, дядя Мурсал. В помощь колхозам. Сегодня я побывала в соседних селах; теперь дошла очередь и до вас.

Наступило молчание.

Больше всех сегодня был взволнован Тарлан. Странное письмо, полученное утром, пьяный разгул колхозников, пощечина Шамиля, — сколько бед за один день! Тут было над чем поразмыслить.

Секретарю райкома припомнилась недавняя поездка в соседний колхоз, встреча с недовольными крестьянами. Партийная ячейка работала там очень слабо, и секретарь думал сейчас об ошибках, допущенных коммунистами, и о причинах этих ошибок. «Им не удалось справиться с кулаками, лишить их влияния. Секретарь ячейки пляшет под кулацкую дудку! Надо будет поставить его отчет на бюро и выбрать вместо него толкового коммуниста».

Мурсал-киши, глядя на свою жену, занимавшуюся в углу стряпней, устало потирал лоб и думал о том, что дела в колхозе идут не ахти как хорошо. Он вспомнил о колхозниках, уклонившихся сегодня от работы, и вздохнул.

Мариам все еще жила впечатлениями, полученными от знакомства с новыми для нее местами. Многое здесь пока не ладилось, но это не пугало ее.

О сокровенных мыслях шофера, косившегося на угол, можно, думается, не говорить.

Жена Мурсала-киши подошла к мужу и шепотом сказала:

— Кроме чаю-то и нет ничего. Можно подавать?

Как тихо ни были сказаны эти слова, шофер их услышал. Лицо у него вытянулось, и, стараясь заглушить голод, он еще яростнее задымил папиросой.

Старуха удалилась, шаркая шлепанцами, а Мариам возобновила прерванный разговор:

— А сколько у вас колхозников, дядя Мурсал?

— Было много. Но что делать — разбежались кто куда, пропащие люди! И кто меня сильно огорчил, так это Адхам, мой сосед. Это достойный человек, работник хоть куда: золотые руки! Крестьяне его уважают. И когда он ушел из колхоза, с ним ушли многие...

— Но почему же он ушел? — удивилась Мариам. — Что вы ему плохого сделали?

Старик помрачнел еще больше и глубоко вздохнул:

— Эх, дочка!.. Когда бог создавал нашего крестьянина, он создал его темным да глупым. Что с ним поделаешь, если он не понимает своей выгоды?

Мариам не удовлетворил этот ответ, не понравился ей и тон Мурсала-киши — хмурый, жалующийся. «Он, видно, и сам недоволен колхозом!» — подумала девушка, но решила не вступать в спор, не узнав председателя ближе, и задала новый вопрос:

— А сколько у вас в деревне неграмотных?

Не успел Мурсал-киши ответить, как дверь заскрипела, и в комнату вошло несколько колхозников, возвращавшихся с работы. С ними был и Гюльали-оглы. Поздоровавшись с гостями, колхозники, не спросив разрешения у хозяина (они привыкли чувствовать себя здесь как дома), расселись на тахтах. Мурсал-киши с грустной укоризной поглядел на Гюльали-оглы и покачал головой.

— Ах, Гюльали-оглы, неисправимый ты человек! Сколько раз я с тобой говорил, а ты все свое! Ну что ты связался с этим Шамилем? Не вечно творить ему свои грязные дела, не сегодня-завтра его посадят... И ты уж решай раз навсегда: с ним ты или с нами? Знаешь старую пословицу?.. «Если смотреть сразу на две стороны, косым станешь».

Тарлан словно забыл о своих собственных бедах. Он видел сейчас только дрожащие губы Мурсала-киши, его глаза, полные горячего сочувствия к людям. На губах Тарлана появилась одобрительная улыбка. Достаточно

было посмотреть в ту минуту на учителя, чтобы понять, как искренне привязан он к старому Мурсалу-киши.

Однако улыбка Тарлана обидела Гюльали-оглы. Он-то думал, что, попросив у Тарлана прощения, смыл тем самым вину, и сейчас с нетерпением ждал, что Тарлан вступится за него и осадит бессовестного старика... Но Тарлан улыбался, словно соглашаясь с Мурсалом-киши, и молчал. Сам же Гюльали-оглы не находил слов, чтобы достойно ответить председателю.

В наступившей тишине снова прозвучал настойчивый вопрос Мариам:

— Дядя Мурсал, я спрашиваю: много ли неграмотных в вашей деревне?

— Ай, чтоб тебе всегда быть здоровой, зачем думать о таких пустяках?.. — вмешался один из колхозников. — Кому нужна твоя грамотность?.. Посмотри-ка на учителя: разве он живет лучше нас?..

Мурсал-киши покраснел и недобро покосился на говорившего.

— Об учителе можешь не беспокоиться! У тебя он хлеба не попросит!..

— Все-таки хотелось бы знать, сколько у вас неграмотных? — в третий раз спросила Мариам.

Мурсал-киши горько усмехнулся:

— Один из этих неграмотных — я, дочка!

Мариам уловила в голосе старика печаль и ни о чем не стала расспрашивать. А Мурсал-киши снова вздохнул. Уж не в первый раз корят его за неграмотность, не впервые приходится ему краснеть. Именно потому, что сам Мурсал-киши не владел грамотой, его возмутили пренебрежительные слова колхозника.

Дверь опять скрипнула, и в землянку вошел Шариф-заде. Тарлан заметил у него в руках ломоть черного хлеба и бутылку, наполненную мутной водой, но не понял, зачем он притащил все это к Мурсалу-киши.

Врач пристроил бутылку и хлеб на подоконнике, познакомился с Мариам, поздоровался с Тарланом и секретарем райкома, сел рядом и внимательно оглядел всех, кто находился в комнате.

Увидев, что никто не расположен продолжать беседу, секретарь райкома закурил, глубоко затянулся и задумчиво сказал:

— Посмотрим, что принесет нам этот год... Надо честно признаться, мы и сами во многом виноваты. Вы вот жалуетесь, что у вас нет хлеба. Но зачем же вы распахали поля, погубили всходы? Нельзя было так легко сдаваться! Сообщили бы обо всем в центр, помогли бы разоблачить людей, давших неверные указания!

— Это верно, — согласился Тарлан. — Но когда мы созвали собрание и выступили против этих указаний, мне пригрозили арестом. После этого у всех руки опустились.

В беседу вступил и Шариф-заде. Правда, он не вполне еще освоился с темой разговора и поэтому начал издалека:

— Я воспитан советской властью, товарищ Надир. Я советский врач, недавно окончил университет. Кроме того, я партиец. Молодой партиец... И я лучше многих других понимаю, как страдает наш народ.

Все насторожились.

Заметив, что в комнате стало темно, Мурсал-киши зажег керосиновую лампу, роздал гостям стаканы с чаем и сел на место. Секретарь райкома потушил папиросу о каблук сапога и бросил окурок на земляной пол.

Убедившись, что все приготовились внимательно его слушать, Шариф-заде разразился длинной речью. Он говорил о бедах, которые несет с собой хлопководство, о том, как трудно живется крестьянам. Несмотря на то, что в его словах была доля правды и он чуть ли не после каждой фразы клялся в любви к родине, речь его была встречена осуждающим молчанием. Всем казалось странным, что Шариф-заде, усердно выпячивая существующие трудности, слишком редко обращался к завтрашнему дню, а если и упоминал о нем, то рисовал его какими-то тусклыми, серенькими красками, словно старался вселить в души людей безнадежность.

Тарлан не любил говорить, но тираду врача, спекулировавшего на временных трудностях, нельзя было оставить без ответа. К тому же он был взволнован событиями нынешнего дня, и теперь ему хотелось выложить все, что накипело у него на душе.

Когда Шариф-заде умолк, Тарлан, обращаясь к нему, сказал:

— Мы все любим родину искренней, глубокой любовью. За спиной у нас века упорной борьбы против за-

хватчиков, угнетателей. В недавнем прошлом — грозные битвы революции. А сейчас Азербайджан — свободная советская республика, на которую обращены взоры народов всего Востока! Вместе с русским народом, вместе со всеми народами нашей отчизны мы строим новую жизнь. Наш девиз — братство! Мы стали сильнее, потому что мы не одни. Мы стали богаче, потому что пользуемся сокровищами русской культуры. Мы стали богаче и потому, что только теперь по-настоящему оценили собственное культурное достояние! Революция помогла народу воспитать в себе чувство подлинной национальной гордости. Мы не зависим больше от иностранных империалистов! И вы, товарищ врач, напрасно стараетесь представить нашу республику колонией, которая только поставляет сырье, а наш народ — бедным, страдающим. Послушать вас, так нет в мире народа несчастней азербайджанского! И если бы какой-нибудь иностранный турист поговорил с вами и принял ваши слова на веру, ему осталось бы только поплакать над судьбой Азербайджана...

Шариф-заде покраснел и опустил голову. Он уже понимал, что поступил опрометчиво, выдал себя. Хотел затуманить головы сидевшим здесь крестьянам, но Тарлан оказался умней, чем он думал, и сумел понять истинный смысл его слов.

Некоторое время Тарлан молча дымил папиросой. А потом снова заговорил, по-прежнему спокойно и уверенно:

— Вы вот показали нам ячменный хлеб и мутную воду из Куры. Ну и что из этого? Разве до революции хлеб у крестьян был лучше? Разве только после революции стали они пить куринскую воду?.. Это тяжелое наследие прошлого, и мы постараемся от него избавиться. А туберкулез? Вы уверяете, что все зло в хлопке: виноват, мол, изнурительный труд на хлопковых полях. Но это неверно! Я хорошо знаю дореволюционную деревню, знаю, что и тогда крестьяне страдали от туберкулеза. И если бы тогдашняя статистика хоть как-то отражала бедственное положение деревни, мы бы поразились числу смертных случаев! В то время темные, невежественные крестьяне и слыхом не слыхали ни о каких врачах да больницах. А теперь, судя по вашим же словам, крестьянин, заболевший туберкулезом, первым

делом идет к врачу. И это радует меня. Значит, мы сумели убедить крестьян, что заклинание, написанное моллой, бессильно, что помочь им может только наука! Значит, мы уже начали борьбу с туберкулезом.

Все не отрываясь смотрели на Тарлана. Только Шариф-заде сидел, не поднимая глаз. Ему нельзя было соглашаться с учителем, но и спорить с ним он не решался.

— Придет время, — продолжал Тарлан, — мы осушим болота, обступившие деревню, и засеем новые площади хлопком. И хлопок, который вы считаете причиной всех бед, поможет нам справиться с любыми несчастьями, оставшимися от проклятого прошлого. Мы пустим на поля и в деревню студеную, прозрачную воду, сбегающую со снежных вершин, и тогда уж никто не попрекнет нас ячменным хлебом и мутной водой Куры. Колхозников мы переселим подальше от реки, на равнину, возведем для них новые дома из белого камня. Мы пророем канал, построим электростанцию, деревня наша станет цветущим садом! Вот тогда вы почувствуете, какая это сила — хлопок, белое золото!

Тарлан, словно наяву, видел перед собой завтрашний день деревни, и сердце его полнилось радостью. Блестящими глазами смотрел он на собравшихся. Шариф-заде по-прежнему сидел опустив голову. Мурсал-киши о чем-то задумался. Видно, и перед его взором возникла картина прекрасного будущего. Секретарь райкома молча прихлебывал чай. У Мариам щеки раскраснелись от волнения.

Тарлан сказал все, что хотел, и теперь ждал, что скажут другие. Он не сомневался в своей правоте, но ему важно было узнать, согласны ли с ним колхозники, к которым, собственно, и были обращены его слова. И когда он остановил на них свой взгляд, колхозники дружелюбно улыбнулись ему.

Шариф-заде сидел, отвернувшись от всех, и бранил себя за опрометчивость. Своей речью он только навлек на себя лишние подозрения. Врач старался убедить себя, что многие из тех, кто слушал его, думают так же, как и он, и не признаются в этом только из страха. Но так или иначе, а верх в сегодняшнем споре взял Тарлан, и врачу оставалось только признать свое поражение.

— Я... я совершенно с вами согласен, товарищ, —

сказал он. — Я ведь еще неопытен, поэтому, бывает, и ошибаюсь. И о будущем не умею говорить так, как вы...

Тарлан почти не слушал его. Жена Мурсала-киши принесла к чаю несколько лепешек, приготовленных из последней горстки муки, но врач не прикоснулся к еде. Он курил, смотрел на тени, шевелящиеся на стене, и взгляд его выражал скорее ненависть, чем досаду. Черт возьми, зря он притащил сюда бутылку и хлеб! Вздумал снискать себе славу оратора! Один из разведчиков писал: если шпион прославится, значит, он бездарен. Это верно: спутники шпиона — сдержанность и осторожность. И он, Шариф-заде, посланный лазутчиком в стан врага, должен знать, где и что можно говорить! Отныне каждым своим словом он будет добиваться одного: доверия к себе.

Ему захотелось поскорее уйти отсюда, и, наспех со всеми простившись, забыв на подоконнике хлеб и бутылку с водой, врач направился к двери.

6

Когда Тарлан вышел от Мурсала-киши, стало уже совсем темно, лишь из немногих окон сочился тусклый свет керосиновых ламп. Во дворах истошным лаем заливались собаки.

Тарлан не спеша зашагал к дому. Щека у него уже не горела, он радовался, что ни Мариам, ни секретарь райкома так ничего и не узнали о постыдной стычке с Шамилем. Такой уж был это характер: учитель скрывал от других все неприятности, неурядицы, выпадавшие на его долю, и сам, без чьей-либо помощи, старался исправлять свои ошибки. «И как это я позволил этому бродяге ударить себя? — раздумывал Тарлан. — Завтра об этом узнает вся деревня. На меня станут показывать пальцами: директор школы, секретарь партийной ячейки — и спасовал перед пьяным дураком!.. А, пусть болтают, что хотят! Что мне, в конце концов, было делать? Не лезть же в драку, как Гаджи-оглы... Это не мера... Враг зашевелился, и с ним надо бороться умно, последовательно...»

Вдруг по какой-то странной логике мысли Тарлана вернулись к сегодняшнему письму. «Может, и это про-

вокация?.. Ведь я хорошо знаю свою Сарию. Знаю и люблю. Ее и в деревне любят, и не только потому, что она хороший агроном. Скажи я кому-нибудь, что Сария способна на обман, да меня поколотят!.. Но по селу уже поползла грязная сплетня. И надо спокойно во всем разобраться. А если, — Тарлан стиснул зубы, — если все, что написано в письме, окажется правдой, тогда я сумею найти нужный выход».

Перед школой, где он жил, Тарлан остановился и долго стоял, прислушиваясь к взволнованному биению сердца. «Дома ли сейчас Сария? — спросил он себя и усмехнулся: — Чудак, а где же ей еще быть?.. Она уже пришла домой и поит чаем сынишку. И, наверно, устала не меньше, чем я. Сария дома, но дома ли ее сердце? Узнать бы, выяснить это, и тогда гора свалится с плеч! А так... так больше нельзя. Семья — это любовь и вера! А семья коммуниста — вдвойне любовь и вдвойне вера».

Тарлан подошел к окну и заглянул в комнату. Сария стояла у обеденного стола, разливала чай и о чем-то разговаривала с сыном. Тарлан с каким-то удивлением, словно видел жену впервые, смотрел на ее ловкие, быстрые руки, улыбающиеся губы, большие блестящие глаза, светлые волосы, собранные в аккуратную прическу. Сария только что вернулась домой, но выглядела бодрой и свежей. «А может, — подумалось вдруг Тарлану, — может, она пользовалась тем, что я целыми днями занят, что мне часто не до семьи, и...» Но продолжить эту мысль Тарлан не решился. Он с трудом перевел дыхание, прикусил губы и растерянно оглянулся. Из окна падал слабый свет, и Тарлан различил часть проселочной дороги, протянувшейся перед самой школой. У обочины возвышалась праздничная трибуна, сооруженная школьниками. Здесь проходили сельские сходки, родительские собрания. Крестьяне рассаживались прямо на траве и слушали пламенные речи председателя сельсовета Гаджи-оглы. Он обычно начинал ни более ни менее, как с мировой революции, а заканчивал тем, что журил отцов, дети которых не посещали школу. Порой выступал перед ними и Тарлан: он говорил кратко и ясно, без парадной трескотни. А сколько других ораторов перебывало на этой трибуне!

Школа... Трибуна... Партийные дела...

Может, за всем этим Тарлан забыл о семье?.. «Да

нет! — с досадой возразил он себе. — Моя загруженность тут ни при чем. Нельзя же думать, только о доме! Этак размагнитишься, начнешь работать вполсилы».

Медленными шагами, словно не по своей воле, Тарлан направился к двери. Он чувствовал себя утомленным, разбитым, голова болела от докучливых мыслей. Как-то сегодня ему вести себя с женой? Какие слова сказать Сарии?..

В конце концов Тарлан разозлился на самого себя и, толкнув дверь, решительно вошел в комнату.

Заслышав шаги, Сария подняла голову и с улыбкой взглянула на мужа. В ее умных глубоких глазах светилась неподдельная радость. И Тарлану стало мучительно стыдно за свои недавние подозрения. Он прошел к столу и, как обычно, шутливо спросил:

— Что новенького, товарищ агроном? Как работалось?

— Все в порядке, товарищ секретарь! — в тон ему откликнулась Сария. — Правда, план мы сегодня не выполнили. Поливные земли не успели еще высохнуть, нам не удалось засеять некоторые участки. Но ничего, завтра наверстаем!.. С завтрашнего дня мы начинаем сеять египетский хлопок. Секретарь райкома приезжал посмотреть нашу работу и похвалил. Сказал, если мы не пожалеем сил, то сможем добиться рекордных результатов!

Во время этого разговора сын Тарлана нетерпеливо ерзал на стуле, а когда отец сел за стол, мальчуган отодвинул в сторону учебники, сбегал в соседнюю комнату и вернулся с очередным номером домашней стенной газеты «Голос пионера». Название, в полном несоответствии со скромным форматом газеты, было выведено крупными, размашистыми буквами.

Этот маленький листок прочно вошел в жизнь семьи. В каждом номере, кроме «Телеграфных известий» и «Писем корреспондентов», имелся еще раздел «Слушай, но не верь!» Все фельетоны для этого раздела писал сам редактор. В нижнем углу газеты красными буквами было начертано его имя: «Ответственный редактор Марат Исмаиллы».

На Марате была рубашка из черной бумазеи, короткие брюки, на груди алел аккуратно завязанный пионерский галстук. Своим широким лбом, черными воло-

сами, красивой линией губ, чуть приплюснутым носом и темными большими глазами Марат напоминал отца. А синяк у правой скулы свидетельствовал о том, что он был сорванец и непоседа.

Приняв серьезный вид, Марат начал читать фельетон, посвященный Тарлану: «Если тебе скажут, что Тарлан Исмаиллы души не чает в своей семье и поэтому каждый день приходит домой вовремя, слушай, но не верь!»

Сария одобрительно рассмеялась: пусть Тарлан видит, что она полностью согласна с Маратом. А Тарлан молча любовался сыном и с гордостью думал: «Вот умница, как ловко пишет!»

— Товарищ секретарь! — сказала Сария, ставя на керосинку кастрюлю, которую взяла с подоконника. — Мы и вправду ждали тебя слишком долго. Наконец не выдержали и пообедали одни. А потом вместе с Маратом написали вот эту статью.

Тарлан молчал.

Спокойная теплота разлилась в его сердце, и он боялся спугнуть неосторожным словом это ощущение доброго, ласкового настроения.

Но, чувствуя на себе выжидательный взгляд жены, Тарлан попытался оправдаться:

— Сегодня дел у меня было много. Собственно, сделать-то ничего не удалось. Но забот хватало.

— Я слышала, — кивнула Сария, — мне рассказывали... Кто заварил эту кашу, не знаешь?.. — И вдруг, внимательно поглядев на его щеку, вскрикнула: — Ой, кто это тебя?..

Тарлан покраснел.

— Да этот... как его... Шамиль. Он-то и сеет смуту. Матерый кулак!

Марат, воодушевленный своим успехом, вначале не находил себе места от радости, глазенки его сверкали, словно алмазы. А теперь он сидел надувшись, его обидело, что отец так невнимательно отнесся к критике. «Критика ему, видно, не по душе,— сердито думал он.— Ну ничего, я напишу об этом в следующем номере!»

Заметив, что сын чем-то недоволен, Тарлан ласково погладил его по голове.

— Ах ты, ягненок мой!.. Пей чай да ложись спать: утром тебе в школу. А газету твою дочитаем завтра.

Марат, ободренный лаской отца, весело сказал:

— А мне вовсе не хочется спать!.. Я еще должен выучить стихотворение.

Тарлану вспомнилось собственное детство: он был тогда наивней, чем Марат, и знал куда меньше. «Как быстро растут дети!..» — подумал он и, смеясь, потрепал сына по голове.

— Ты у меня молодец! Вот получишь по всем предметам «отлично», возьму тебя в Баку. Покажу театры, музеи!..

— Буду отличником, папа! — уверенно пообещал Марат. — Вот увидишь, буду!

7

Вся деревня спала. Давно уснули Марат и Сария. Только Тарлан беспокойно ворочался в постели.

Он думал о школе, о колхозе, о севе... Не шутка — совмещать две такие сложные обязанности: директора школы и секретаря партячейки! За все шесть лет работы в деревне Тарлан ни разу не отдохнул как следует, не выспался вволю. Глаза у него все время были красными от усталости.

До сих пор он никому не рассказывал, как трудно ему приходится, да и сам не думал об этом. Но сегодня... Сегодняшняя ночь не похожа на прежние. Он вдруг почувствовал усталость, будто только сейчас дал знать о себе старый, притаившийся до поры до времени недуг.

Неожиданно плотная ночная тишина нарушилась: сначала водосточная труба издала дребезжащий, жалующийся звук — будто невежда, не умеющий играть, коснулся дафы, потом послышалось легкое журчанье. Шум за окном все усиливался — и вот уже в стекла громко ударили крупные капли дождя.

Дождь никого не разбудил: Тарлан не спал, а Сария так и не проснулась. При тусклом свете лампы можно было различить легкую улыбку на ее лице: видно, снилось что-то хорошее. А у Тарлана от невольного подозрения опять тоскливо сжалось сердце. Кого-то видит Сария во сне?.. Кому улыбается?..

В глазах у Тарлана вспыхнула жесткая искорка, он отвернулся от жены и уставился неподвижным взглядом в темный угол. Черт возьми, как трещит голова! Нет, если он не поговорит с женой, ему не уснуть до утра!

А тут еще этот проклятый дождь и рокот водосточной трубы за окном...

Сария... Неужели она способна оскорбить, обидеть его? Ведь они не только любили друг друга: Сария была ему верным, умным другом. Тарлан припомнил каждый ее жест, каждое слово. Нет, Сарию трудно было в чем-либо заподозрить! Трудно?.. А почему трудно? Не потому ли, что она искусно притворялась все это время?

Тарлан совсем запутался в своих сбивчивых мыслях. Голова стала тяжелой, в глазах поплыли круги. Но только его начало клонить ко сну, как рядом зашевелилась Сария. Она медленно открыла глаза и удивленно поглядела на зажженную лампу, на Тарлана, на часы — было без двух минут пять.

— Ты что не спишь?

Тарлан устало провел рукой по лбу.

— Так, на душе что-то скверно.

Сария, видно, не на шутку перепугалась, встревожилась.

— Да что с тобой?

И, неожиданно для себя и для Сарии, Тарлан в упор спросил:

— Скажи мне, ты знаешь Ашрафа?

— Ашрафа? — Сария приподнялась на локте, сон с нее как рукой сняло. — Нет, что-то не припоминаю...

— Ты должна его знать!

— Родной мой, да не слышала я такого имени!

Сария не могла понять, почему так разволновался муж: голос дрожит, срывается, в расширившихся зрачках искорки гнева. Она осторожно тронула его за плечо.

— А почему ты о нем спрашиваешь? Это твой знакомый?

Эти слова, произнесенные со спокойным недоумением, заставили Тарлана растеряться. Растеряться — и обрадоваться.

Теперь ему было ясно: имя Ашрафа незнакомо Сарии, и все его подозрения нелепы. «Письмо — это чья-то подлая выдумка. И я не мог этого не знать, не мог, потому что знал свою Сарию!» Тарлан облегченно вздохнул и невнятно пробормотал:

— Это учитель, он хочет преподавать у нас. Успокойся... Спи! — И потушил лампу.

8

— Знаешь новости, доктор?

— Новости? Какие?

— Из города везут хлеб!

Эта весть, принесенная Шамилем, не очень-то обрадовала Шариф-заде. Шамиль стоял, нахмурив брови, ждал, что скажет врач, а тот молчал и обдумывал: как теперь быть? «Вот оно что! Значит, одну прореху они залатают. Но этого нельзя допустить! Надо помешать им! Помешать... А как?» Наконец он поднял голову, сказал:

— Мы должны опередить их, Шамиль!

— А как мы это сделаем?

— Подожжем склад.

— Но ведь склада еще нет.

— Нет, так будет.

— А если не будет?

— Вот подожжем, тогда не будет. Понял?

Шамиль кивнул.

— Ясно. С этим делом я справлюсь.

Проводив Шамиля, Шариф-заде снял халат, взял пиджак, висевший на гвозде, и задумчиво шагнул к двери. «Черт побери, наверно, теперь многие кинутся к Мурсалу-киши с заявлениями: прими обратно в колхоз! Значит, надо сжечь хлеб и оставить их с пустыми руками! Ну, а вдруг Шамиль прав? Возможно, они раздадут хлеб сразу, как привезут, тогда склад им не понадобится». Шариф-заде открыл дверь и нос к носу столкнулся с Гюльали-оглы.

— Доброго здоровья, доктор!

— О, Гюльали-оглы! Здравствуй! Что нового?

— Радость-то какая, доктор!

— Что такое стряслось?

— Хлеб везут!

— А, это приятная весть. Наконец-то бедные крестьяне поедят досыта, — Шариф-заде заставил себя улыбнуться. — А много хлеба?

— Целый вагон!

— Да, это очень приятная весть.

— Я ведь говорил, что Москва нас не забудет! Вон как о нас заботятся!

Шариф-заде даже вздрогнул от этих слов. «Ну, если уж такие, как Гюльали-оглы, от нас отшатнутся, нам крышка!»

9

На партийной ячейке обсуждался один вопрос: о хлебе. В маленькой комнате, где это происходило, дым стоял коромыслом. Сегодня разговорились даже самые молчаливые. Спор шел вокруг двух предложений: одни считали, что хлеб надо распределить только между колхозниками, другие настаивали на том, чтобы раздать его всем крестьянам.

Шариф-заде сидел в углу и спокойно слушал горячие речи. Он-то знал, что весь этот спор впустую: хлеба у них все равно не будет! Но на всякий случай врач попросил слова. Если не удастся подожечь склад, то пускай все увидят, как прочно стоит доктор Шариф-заде на принципиальных партийных позициях.

— Большинство выступавших, в том числе и председатель Мурсал-киши, — начал он сдержанным, убеждающим тоном, — считают, что хлеб должны получить только колхозники. И это разумно. Поступив так, мы на наглядном примере покажем всей крестьянской массе преимущества колхоза перед индивидуальным хозяйством. И те крестьяне, которые еще упираются, не хотят идти в колхоз, задумаются, увидев, какие выгоды предоставляются колхозникам!

Слова эти почти всем пришлись по душе. На лицах появились одобрительные улыбки: молодец, доктор, правильно рассудил!

Тарлан выступил последним. Его выступление было для многих неожиданным.

— Товарищи, я не могу согласиться с некоторыми из выдвинутых здесь предложений! Выступавшие упустили из виду одно очень важное обстоятельство. Мы не можем тянуть крестьян в колхоз силой, не имеем права применять и экономическое принуждение! Возьмите Адхама-киши, — это единоличник, но он прекрасный работник. Посмотрите, сколько он выращивает хлопка! И мы не вправе оставлять его голодным! Нам нельзя, ни в коем случае нельзя забывать о нуждах простых крестьян. Ведь верно, Мурсал-киши?.. Мы по пальцам можем пересчитать кулаков и середняков, запасшихся хлебом. И они от нас, конечно, ни зернышка не получат! Но остальных крестьян мы накормим. Я предлагаю составить список, включив в него всех, кто действительно

нуждается в хлебе, и строго-настрого наказать Мурсалу-киши: пусть при составлении списка он будет особенно внимательным, пусть позаботится о том, чтобы не обидеть ни одного честного труженика!

Мурсал-киши, убежденный этими доводами, поддержал учителя:

— Верно говоришь, сын мой! Оттого, что мы силой загоним людей в колхоз, пользы не будет. Соседи наши попробовали, да обожглись!

Предложение Тарлана было принято единогласно.

Все начали расходиться. Тарлан отозвал Мурсала-киши в сторону.

— Подготовь помещение под склад. Подбери двух колхозников понадежнее, дай им винтовки. Пусть глядят в оба! Воры да бандиты не спят.

— Будь спокоен, сын мой! — коротко ответил Мурсал-киши.

Шариф-заде, подслушавший этот разговор, усмехнулся. «Так, все в порядке. Склад будет».

10

Арбы, отправленные на станцию, вернулись к вечеру доверху нагруженные зерном. В деревне сегодня праздник. Всяк, от мала до велика, по-своему выражал свою радость. В этот вечер всюду говорили только о хлебе. Крестьяне, возвращавшиеся с работы, встречали друг друга не обычным приветствием «Добрый вечер!», а радостным возгласом: «Поздравляю!» В домах суматоха: хозяева поспешно расчищали углы для мешков с зерном. Молодухи, которые до этого прилежно ткали ковры, бросили все и принялись чинить мешки, проеденные крысами. К домам не подойти: из мешков выбивали многодневную пыль.

Шариф-заде, придя с партийного собрания в землянку Гамида, завалился спать. Сам Гамид остался в сельсовете: он составлял вместе с Мурсалом-киши список нуждающихся в хлебе. Тарлан пересчитал мешки в арбах и теперь наблюдал за работой колхозников, подготовлявших склад. Сария проверяла зерно, выделяя лучшее для семенного фонда. Словом, все, кроме врача, были заняты делом. Гюльали-оглы и тот не сидел сложа

руки: он привез к складу на арбе большие кооперативные весы.

А Шамиль в это время, припрятав купленный в кооперативе керосин, чистил на балконе сапоги и с нетерпением поджидал наступления темноты.

11

Сказав жене, что идет к Гюльали-оглы, Шамиль направился к школе. Дорога туда вела мимо склада. У склада Шамиль замедлил шаги и внимательно присмотрелся, прикидывая в уме: с какой стороны удобней подойти, в каком месте лучше поджечь, как потом скрыться. И вдруг глаза у него полезли на лоб: он увидел двух вооруженных колхозников. Вот тебе раз! Склад, оказывается, хорошо охраняется. Шамиль зашел за амбар и тут же попятился назад: на него с лаем бросилась злющая серая собака.

Однако Шамиль не пал духом. Совершить черное дело было для него легче, чем выпить стакан воды. Он посмотрел на дерево, определил, куда дует ветер. Так... Если он подожжет пустующую конюшню, притулившуюся за складом, пламя перекинется и на склад. Правда, подпалить конюшню тоже нелегкое дело: собака своим лаем может привлечь внимание караульных. Но Шамиля это не обескуражило. «Надо воткнуть в ломоть хлеба иголки и кинуть хлеб собаке. Потом подожгу с четырех углов конюшню. Пламя тут же охватит склад, и тогда всей деревне не потушить пожара!..» Приняв такое решение, Шамиль повернул к дому.

Глубокой ночью, когда вся деревня спала крепким сном, Шамиль взял бидон с керосином, спички, набил карманы бумагой и снова пробрался к складу.

12

Тарлана разбудил шум за окнами. Кто-то кричал истошным голосом:

— Помогите! Пожар!.. Пожар!..

Тарлан вскочил с постели, поспешно оделся, сунул в карман револьвер и, не взглянув на жену и сына, ко-

торые тоже проснулись, пулей вылетел из дома. Он сразу же увидел зловещее зарево над конюшней и прибавил шагу. Отовсюду бежали люди, растерянно метались из стороны в сторону.

— Эй, тащите сюда бочки с водой! — крикнул Тарлан. — Тащите все, что попадется под руку! Скорей, скорей!

Крестьяне, словно придя в себя, рассыпались по ближайшим дворам и вскоре появились с бочками, бадьями, ведрами, кувшинами, кастрюлями. Каждый старался помочь, чем мог, даже караульные, приставив к стене склада винтовки, взялись за лопаты и стали закидывать пламя песком. Неожиданно раздался отчаянный крик:

— Спасайте коней!

На мгновение все замерли. Вдруг толпа ахнула. Шариф-заде, который примчался сюда в надежде увидеть сгоревший склад, а теперь понявший, что все сорвалось, взобрался на крышу и через широкое отверстие в ней спрыгнул в конюшню. Из дальнего угла до него донесся призыв о помощи: в конюшне кто-то был. Врач ногой распахнул двери, отвязал лошадей и, выпустив их из конюшни, бросился на голос. Когда он вместе с конюхом снова приблизился к дверям, перед ним взметнулось багровое пламя. Шариф-заде подался назад, но тут же собрался с силами и, волоча за собой ошалевшего парня, выскочил на улицу. Одежда на нем горела, лицо было опалено огнем. Гюльали-оглы подбежал к врачу, окатил его водой из ведра, сорвал тлевший пиджак. Остальные обливали конюха водой.

Вскоре пожар был потушен.

Крестьяне с восхищенными возгласами обступили Шариф-заде. Тарлан подошел к спасенному врачом парню:

— Почему здесь оказались лошади?..

Конюх, поглаживая ладонями раскрасневшееся лицо, ответил:

— Понимаешь, учитель, все получилось, как назло! Дня три назад Мурсал-киши сказал мне, что конюшня Насиб-аги пустует. А это конюшня хорошая, просторная. Так вот Мурсал-киши и говорит: «Возьми лошадей, которых мы запрягаем в фургоны, да отведи в эту конюшню». Я целых два дня старался: навел чистоту, выложил камнями пол, подправил ясли. В конюшне

тепло, ну, я и решил тут переночевать... Да заснул так крепко, что... — Конюх вдруг запнулся и громко воскликнул: — Ай, учитель! Каким-то сукиным детям понадобилось сжечь наших лошадей! Не со мной же они хотели разделаться: у меня врагов нет!..

— Лошадей? — задумчиво переспросил Тарлан.

Подошедший к ним врач в душе посмеялся над простодушием конюха. Но его обеспокоил тон, каким задал Тарлан свой вопрос: видно, он о чем-то догадывался.

Шариф-заде подвинулся поближе к Тарлану и сказал хриплым шепотом:

— Знаешь, товарищ Тарлан, здесь чувствуется рука классового врага! Враг принял конюшню за хлебный склад.

Тарлан не ответил врачу и подозвал караульных:

— Вам что было поручено?

— Ай, учитель, дай бог тебе здоровья, мы и опомниться не успели! Видишь: этот свинячий сын отравил собаку.

Тарлан обернулся. У задней стены амбара лежала мертвая собака.

— Позовите сюда Мурсала-киши.

Вокруг Тарлана собирался народ. В такие минуты каждому хочется поделиться своими тревогами, услышать мудрый совет, и все тянутся обычно к людям опытным, знающим.

— Ай, учитель, что же это такое творится?

— Какой сукин сын хотел нам навредить?

— Это ишачье отродье...

— Эй, да будьте же вы людьми! Не стыдно вам при учителе?

Тарлан задумчиво оглядел крестьян.

— Я ведь не пророк, я такой же человек, как и вы. И знаю столько же... Но мне кажется, что враг затаился в нашей же деревне. Может, он даже прячется в эту минуту среди вас.

Шариф-заде сегодня отличился, и ему теперь нечего было за себя бояться. Но слова Тарлана заставили его вздрогнуть, и он поспешил откликнуться:

— Твоя правда, товарищ Тарлан! Кто еще мог знать, что в этом амбаре хлеб?..

Все посмотрели на Шариф-заде, и это напугало его еще больше.

13

Когда Мурсал-киши подошел к Тарлану, тот, словно не замечая, как устал старик, резко сказал:

— Мы ведь, кажется, именно тебе поручили позаботиться об охране склада! А ты выискал таких караульных, у которых кусок хлеба изо рта можно вырвать!

— Ты прав сынок. Прав. В этой деревне и по ночам нельзя смыкать глаз!

Они перешли к амбару, взяли у Гамида список и начали распределять хлеб. Тарлан выкликал фамилии, указывал, сколько кому причитается, а Гюльали-оглы взвешивал зерно и, провожая от весов очередного счастливчика, весело хлопал его по плечу.

На рассвете пошел сильный дождь. Толпа возле склада поредела. Солнцу в это утро так и не довелось взглянуть на деревню.

В самый ливень перед школой остановился всадник, прискакавший из района. Приподнявшись на стременах, он громко окликнул:

— Учитель! Эй, учитель Тарлан!

Сария в это время была дома. Услышав, что кто-то зовет мужа, она выбежала на улицу и с сочувствием оглядела всадника, с которого ручьем текла вода.

— Тарлан сейчас придет, зайдите пока в комнату.

— Нет, сестра, некогда! Надо успеть еще в другие деревни. У меня письмо к учителю, передайте ему сами!

Письмо было коротким: «Секретарю партийной ячейки села Элляр тов. Тарлану Исмаиллы. Просим к десяти часам утра явиться в райком».

Тарлан не стал дожидаться, пока пройдет дождь. Он дал указания Мурсалу-киши, сел на коня и, не мешкая, тронулся в путь.

Письмо из райкома заставило его забыть про все неурядицы последних дней.

ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Тарлану не терпелось узнать, зачем его вызвали, и он направил коня прямо к дому секретаря райкома. Секретарь разговаривал с кем-то по телефону. Увидев Тар-

лана, он бросил трубку на рычаг и без всяких предисловий взволнованно сказал:

— Дорогой мой, сейчас же отправляйся на станцию Шамхор. Важное партийное поручение! В селе Биттили, близ Шамхора, моллы, кулаки и прочая антисоветская нечисть готовят опасную авантюру! Из Баку туда уже приехала чрезвычайная тройка. Ты направляешься непосредственно в ее распоряжение! Там собираются испытанные комсомольцы, учителя. Ну, в путь!

Простившись, Тарлан вышел на улицу, вскочил на коня и поскакал дальше. Всю дорогу до станции Шамхор он размышлял над тем, что услышал. Секретарь лишь приблизительно обрисовал создавшееся положение, и Тарлану неясно было: почему ее вдохновители выбрали именно Биттили?

У станции перед взором Тарлана открылось удивительное зрелище: равнина, отведенная под посевы хлопка, кишмя кишела народом, издали она напоминала огромный развороченный муравейник. Дожди превратили жирный чернозем в сплошную кашу, но это никого не смущало: люди толкались, старались пролезть вперед. Если бросить в эту толпу палку, она не упала бы на землю.

Тарлан подъехал ближе. Теперь ему казалось, что перед ним взбаламученное, волнующееся море. На минуту ему стало страшно; он натянул поводья и внимательно оглядел равнину. Тарлан хорошо знал, на что способна ослепленная, сбитая с толку толпа: она не отличает хорошее от дурного, правду от лжи, белое от черного.

Сейчас Тарлану нельзя было рисковать собой; он повернул коня и рысью пустил его к станции.

Встретившийся по дороге милиционер показал ему дом, где остановилась тройка. Тарлан предъявил часовому направление райкома и прошел в одну из комнат.

Еще в дверях он услышал знакомый голос:

— Кого я вижу! Здорово, дружище!

В глазах Тарлана вспыхнула радость. Из-за стола, покрытого серой бумагой, навстречу ему вышел высокий худой мужчина — давнишний его друг Ханлар. Он был в галифе, которые носил и прежде, в синей рубахе, перехваченной широким поясом. Все так же мягко смотрят сквозь толстые стекла роговых очков черные глаза,

и на губах все та же подкупающая улыбка. Но за это время, пока они не виделись, Ханлар сильно постарел. Лицо исчертили тонкие морщины; темные волосы, аккуратно зачесанные назад, тронул иней, на лбу появились залысины, отчего высокий лоб Ханлара стал еще больше.

Ханлар — старый большевик. Он старше Тарлана лет на пятнадцать. Немало сил положил он на то, чтобы научить Тарлана жизни. Плечом к плечу бились они с врагом на самых опасных фронтах, и сейчас, встретившись после долгой разлуки, сердечно, горячо обнялись. С минуту Ханлар молча смотрел на своего ученика, а потом улыбнулся и, хлопнув Тарлана по плечу, сказал скорее обиженно, чем сердито:

— Неверный друг! Я слышал, ты не раз бывал в Баку, и не удосужился повидаться со мной!.. Ну ладно, я тебе это припомню!..

— Да ведь ты человек занятой, не хотелось мне отнимать у тебя дорогое время.

Ханлар с укоризной покачал головой и, закрыв дверь на крючок, жестом пригласил Тарлана к столу.

— Видишь, вот и опять довелось нам встретиться! Жаль, конечно, что встречаемся мы только на поле боя, но ничего, дорогой, такая дружба самая прочная!

Они сели за стол друг против друга, и Ханлар заговорил о главном:

— Ты знаешь: время сейчас трудное. Но это лишь трудности роста, и не нам их бояться! Мы растем, набираемся сил; и, чувствуя это, остатки контрреволюции готовятся перейти в наступление! Пытаются поднять восстание против советской власти, сорвать коллективизацию! Наш долг подавить это движение, но действовать надо умело и осторожно, учитывая местные, национальные условия. Контрреволюция выступает у нас не открыто, а под покровом религии: к авантюре в первую очередь причастны моллы. Они изо всех сил стараются доказать, будто ничего не имеют против советской власти и вообще далеки от политики. Вчера к нам в руки попала листовка с арабским шрифтом. Так вот там черным по белому написано, что появление последнего имама всецело зависит от самого народа! Выступите, мол, против советской власти — будет вам и имам! Вопрос совершенно ясен. Религия для врага — это ширма; так ему

легче одурачить невежественную массу! В этой толпе немало таких, которые искренне верят во всякие чудеса. А есть и пройдохи... Вчера задержали и привели ко мне одного «исцеленного». Я допросил его. Вначале он прикидывался дурачком и совершенно серьезно уверял, будто два года был хромым, а имам исцелил его — и хромоты как не бывало! Нашлись свидетели, которые подтвердили: да, калека, перестал быть калекой! Представляешь, как подействовало это на темных, суеверных крестьян? Они, конечно, поверили, что имам существует, что он всесилен! А нам удалось выяснить, что молодчика этого подкупили, и два года он притворялся хромым. Такими мнимыми больными — хромыми, слепыми, сумасшедшими — враг обзавелся чуть ли не во всех районах! Пришел срок — и эти аферисты, совершив паломничество к имаму, получили исцеление. А верующие и уши развесили! Видали, как все хитро подстроено? И теперь со всех концов Азербайджана к имаму толпами стекаются настоящие калеки. Да и здоровые, бросив все свои дела, спешат посмотреть на чудо! Бандитам есть чем поживиться... Выяснено, что тут замешаны и некоторые иностранные правительства... А вчера в толпе видели несколько мусаватистских офицеров, переодетых в лохмотья; они вели пропаганду против советской власти.

Тарлан покраснел: он вспомнил о своем брате, удравшем в Иран.

— Прости, товарищ Ханлар, а эти офицеры... они из-за границы... или из тех, что оставались здесь?

Ханлар безразлично пожал плечами:

— А не все ли равно? Не вижу особой разницы. В общем, дорогой, задача перед нами сложная и ответственная. Цель авантюры — пошатнуть наш строй! И мы должны действовать быстро, ответить врагу неотразимым, решительным ударом!

— Так что ж вы медлите? Почему до сих пор не разогнали толпу?

— Э, нет, это было бы неосмотрительно. Ведь большинство собравшихся здесь — темные, обманутые крестьяне!.. И надо действовать очень осторожно. Вы должны незаметно войти в толпу; ознакомиться с настроением крестьян и без крика, терпеливо разъяснять им истинное положение дел: кому нужен имам, кто стоит за

этой авантюрой. Старайся не отпугнуть ни одного из тех, кто ни в чем не виновен!.. Помни: главное — мужество и выдержка. Да, выдержка! А с зачинщиками мы не станем церемониться — за явно враждебные действия будем карать по закону. Кроме тебя сюда приехало по нашему зызову больше двадцати учителей, в том числе и армяне. Ведь в толпе можно встретить и армян и грузин. Если вы справитесь с заданием, то нам удастся рассеять толпу за два, за три дня. А враг не достигнет своей гнусной цели и даже не сорвет посевную кампанию! Ну, а теперь выпей чаю, поешь — и за дело. Нельзя терять ни минуты!

Тарлан встал и, отстегнув кобуру, спрятанную под пиджаком, решительно протянул ее Ханлару.

— Я могу доверить свое оружие только тебе!

— Нет, оставь на всякий случай при себе, но так, чтобы никто этого не заметил!

Друзья простились.

Уже отойдя от дома, Тарлан услышал голос Ханлара, который вышел на крыльцо проводить его:

— Заходи вечером, потолкуем.

2

Раздумывая над рассказом Ханлара, Тарлан медленно пробирался в толпе мимо нескончаемой процессии уродов и инвалидов.

Прекрасные девушки с черными косами, перекинутыми на грудь, вглядывались слепыми глазами в темные для них дали. Отовсюду слышались страстные мольбы матерей, которые прибрели сюда бог весть откуда с одной мечтой: исцелить своих больных детей. Старухи, старики, горбатые юноши, девушки-калеки, увядшие в родительском доме, — все это просило, умоляло, взывало, но ответа не было, и головы с отчаянием клонились на грудь.

Жизнь во всей своей горькой наготе предстала перед Тарланом, и душа его отозвалась сочувствием и жалостью к этим калекам. Но винил он, конечно, не имама, а науку, бессильную помочь несчастным, в сердцах которых не угасли еще земные, человеческие желания.

Тарлан в раздумье продвигался вперед и вскоре очу-

тился рядом с группой шиитов[1] — фанатиков, исступленно бивших себя по груди заржавленными цепями. Словно в забытьи, они вопили: «Шахсей-вахсей!», «Шахсей-вахсей!» У иных открытая грудь походила на корку подгоревшего хлеба; и, завидуя им, остальные взмахивали цепями все шибче и в экстазе изо всех сил лупили себя по иссеченному телу. Они звали имама и готовы были подарить ему свою кровь, свою жизнь!.. Тарлану показалось, будто он попал в музей, где демонстрируют отвратительнейшие обряды прошлого; брезгливая усмешка тронула его губы. Внимательно приглядевшись, он заметил, что среди шиитов трое-четверо выделялись и своей одеждой и своими повадками. Коверкотовые брюки, шелковые рубашки, целлулоидные ремни, какие можно было видеть на бакинских хулиганах, — все выдавало в них проходимцев, спекулянтов, которые толкались обычно по черным рынкам, тратили деньги на легкую, разгульную жизнь и любили напевать модную блатную песенку:

Пойду маме скажусь — и вернусь,
Надену чарльстон — и вернусь,
Поем шашлыку — и вернусь.
Ай, дуйду, дуйду, дуйду,
Вай, дуйду, дуйду, дуйду.

Молодчик, который возглавлял двигавшихся гуськом шиитов (тоже, видно, лжеподвижник), чем-то был похож на иранских роузаханов[2], из тех, что не слишком хорошо знают азербайджанский язык. Он подпрыгивал и дергался как паяц, притворяясь, будто приходит в экстаз от стука цепей, падающих на грудь и плечи. Громким, резким голосом, чтобы всем было слышно, он вопил, словно злой дух: «Йя, Гусейн, вах, Гусейн!..»

Среди фанатиков, орудовавших цепями, были не только азербайджанцы: люди другого вероисповедания поверили, видно, в чудесную, сверхъестественную силу имама и отреклись от своей религии.

А кто эти двое?.. Их лица знакомы Тарлану. Да это же земляки, крестьяне из села Элляр! Они сидят на корточках и с интересом наблюдают за происходящим. Один

---

[1] Шииты — самая фанатическая мусульманская секта.

[2] Роузахан — исполнитель религиозных песнопений о мученической смерти шиитских святых — имамов.

из них (Тарлан помнит этого крестьянина: он совсем недавно вышел из колхоза) с особым вниманием поглядывает на шиитов. Сам он не принадлежит к секте шиитов, но, судя по всему, уже подумывает о перемене веры. Пройдет время — и он, распахнув на груди рубаху, тоже начнет истязать себя во славу имама!.. Рядом с ним хромой Ахмед. Сын его учится у Тарлана; и всякий раз, когда Ахмеду приходилось туго, он обращался к учителю за советом. А теперь... Ах, Ахмед, Ахмед!.. Ты решил, что есть легкий и верный способ избавиться от проклятой хромоты! Ночью, таясь от всех, запряг в арбу волов и отправился на поклонение имаму. Ты уже успел обойти несколько раз вокруг часовни, но никакого облегчения пока не почувствовал. Теперь тебе надо сделать еще один круг и написать прошение имаму. Но люди, знающие старый алфавит (а прошение полагается писать арабскими буквами), сильно заняты. Заказов у них хватает. И они требуют дополнительной платы у тех, кто хочет, чтобы их обслужили вне очереди. А ты бедняк, Ахмед, у тебя нет лишних денег. И тебе приходится ждать, и чтобы убить время, ты глазеешь на беснующихся фанатиков.

Тарлан с сожалением посмотрел на Ахмеда; тот ответил ему удивленным взглядом. Сначала Ахмед обрадовался: «Неужели и учитель пришел на поклонение?..» Но тут же опустил глаза и отвернулся в сторону: «Да нет, не может этого быть! Я не должен глядеть в лицо безбожнику, иначе оскверню себя!..»

Тарлан добрался наконец до куполообразной часовни. Здесь было особенно много слепых, хромых, горбатых. Громко рыдая, они выпрашивали исцеления у последнего имама; но, пожалуй, истошней всех голосили мошенники, которые уже несколько месяцев назад получили за свою «хромоту» кругленькие суммы.

Смешавшись с верующими, Тарлан вошел в часовню и с удивлением огляделся вокруг. Посередине стоял большой сундук, без дна, наполовину врытый в землю. Моллы уверяли, что святейший имам спит под этим сундуком, в глубоком колодце. Никто не смеет открывать крышку сундука. Когда придет срок, имам сам это сделает и исцелит всех страждущих.

Поодаль от легендарного сундука, прислонясь спиной к стене часовни, восседал молла-казначей. Он молча

принимал от верующих приношения и складывал их в ларец, справа от себя.

Тарлан, двигавшийся вместе с толпой, вдруг замедлил шаг и прислушался. Из сундука доносились странные звуки, напоминавшие голубиное воркование. Ну да, в сундуке ворковали голуби! И это был один из главных секретов часовни. Молла Гашам, заправлявший здесь всеми делами, объяснял любопытным, что они слышат голос самого имама. Многие верили ему, а те, кто сомневался, предпочитали помалкивать, опасаясь проклятия.

Вручив молле-казначею три рубля, Тарлан через другую дверь вышел наружу и слился с окружавшей часовню толпой. Народу все прибывало.

— Что здесь готовится? — спросил Тарлан у одного из крестьян.

— Сейчас молла Гашам огласит фирман[1] святейшего имама! — тихо, с благоговением ответил крестьянин.

Всем хотелось услышать моллу, который должен был говорить с возвышения перед часовней; люди старались пролезть вперед, толкались, награждали соседей тумаками.

Тарлан выбрал место, где было посвободней, и стал поджидать, когда появится молла Гашам.

Вдруг толпа всколыхнулась, загудела: «Идет! Идет!..», и тут же наступила мертвая тишина. Молла Гашам со свитком бумаг в руках с достоинством прошествовал к возвышению. Высоко вскинув голову, обмотанную чалмой, он зорко оглядел собравшихся и торжественно сказал:

— О, правоверные! О, невинные дети господа бога! Святейший имам очень недоволен вами. Во-первых, он недоволен тем, что так мало народу пришло к нему на поклонение. А во-вторых, ему не по душе, что вы пишете прошения латинскими буквами[2]. И не стыдно вам просить исцеления с помощью алфавита гяуров?.. О, правоверные!.. О, безгрешные дети аллаха! Сегодня по велению святейшего имама будут рассмотрены прошения невинных страдальцев, писанные священными арабскими

---

[1] Фирман — указ.

[2] В то время в Азербайджане был введен вместо арабского латинский алфавит.

буквами. Святейший решил исцелить их. Кто здесь Мамед Али Карягды-оглы Мир Джамал-заде?

— Это я! Я! — с готовностью отозвался человек, сидевший возле часовни.

— Правоверные! По велению святейшего имама этот невинный страдалец снова будет ходить!

Эта весть произвела на собравшихся ошеломляющее впечатление. Толпа качнулась вперед; задние напирали на передних, поднимались на цыпочки, вытягивали шеи: послышались стоны, крики: кого-то, видно, придавили, кому-то стало дурно.

— Садай Сарбаз-оглы! — выкликнул молла Гашам.

— Это я, да буду я твоей жертвой! — чуть не рыдая, возопил один из калек.

— Твое прошение написано латинскими буквами, — строго сказал молла, — и святейший имам отклонил его!

Одних удивила суровость имама; другие обругали несчастного калеку. Но в это время общее внимание привлек юноша, стоявший неподалеку от моллы Гашама.

— Простите, молла-ами [1], за дерзость, — сказал юноша. — У меня к вам вопрос.

— Прошу, сын мой, — молла поправил абу [2].

— Вы только что сказали, что святейший имам не принимает прошений, написанных латинскими буквами. А почему?

— Потому, что латинский алфавит, — наморщив лоб, протянул молла, — это алфавит гяуров, безбожников. Его породили Советы!

Чувствуя, что все взгляды обращены сейчас на него, юноша, осмелев, подступил ближе к молле и в упор спросил:

— А если так, почему же тогда святейший имам не брезгает советскими деньгами?

Но вместо того, чтобы ответить юноше, молла принялся осыпать его проклятиями:

— Уберите этого нечестивца прочь с моих глаз! Он еще смеет сомневаться в святейшем имаме!

Темные личности, которые только и ждали повода пойти на неверных «священной войной», накинулись на смельчака с кулаками и бранью: один залепил ему уве-

---

[1] Ами — дядя.

[2] Аба — широкая просторная накидка у священнослужителей.

систую пощечину, другой стукнул под подбородок, третий ударил сапогом в грудь. Юноша покачнулся, но устоял на ногах и, собравшись с силами, попытался вырваться из толпы. Однако не успел он сделать и шага, как сбоку на него обрушилась чья-то дубина. Юноша упал, но тут же вскочил и, расталкивая толпу, бросился бежать. Вслед ему полетели камни; хулиганье улюлюкало; толпа забыла и о молле Гашаме и о его списке. Юноша бежал изо всех сил. И вдруг какой-то мужчина с широким шрамом, уродовавшим его лицо, преградил юноше дорогу и, размахнувшись, швырнул в него тяжелым камнем. Камень угодил бедняге в висок; он упал лицом вниз, изо рта хлынула кровь.

Тарлан, видевший все это, побледнел. Он продрался сквозь толпу к мужчине, бросившему камень, схватил его за руку и прохрипел, задыхаясь от гнева:

— Ты за что это его, а?.. А ну, погляди мне в лицо! Кто дал тебе право убивать людей?

У убийцы был такой вид, словно он ожидал благодарности, а не проклятий: он высокомерно посмотрел на Тарлана и, не ответив ему, обвел толпу холодным, горделивым взглядом.

— Я тебя спрашиваю, отвечай! — крикнул Тарлан. Что-то в лице преступника показалось ему знакомым, но сейчас некогда было вспоминать, где он мог его видеть. Обернувшись к толпе, Тарлан спросил сдавленным голосом: — Вы знаете, кого вы убили?

Народ молчал. Мужчина со шрамом понял, что остался в одиночестве, и хотел было скрыться, но Тарлан цепко держал его за руку. Это преступление нельзя было оставить безнаказанным; и, хотя Тарлан сегодня впервые видел убитого, он решил объявить себя его братом.

— Это брат, родной брат мой! И вы мне кровью ответите за его кровь!

Убийца вновь попробовал вывернуться из рук Тарлана, но какой-то парень преградил ему путь:

— Эй, куда? Нет, погоди! Ты убил — тебе и расплачиваться!

Толпа медленно, молча пятилась назад; хулиганы и карманники сбились в кучу: черная банда превратилась в стадо овец! А у Тарлана все креп голос, наливаясь болью и яростью:

— Вместо того чтобы молиться, вы проливаете кровь! Молла, не пожелавший ответить брату, повелел убрать его, а вы зверски расправились с ним! Пусть даже брат мой — гяур, все равно его не за что было убивать! В чем он согрешил против имама?..

Некоторые из агитаторов, направленных сюда Ханларом, узнали Тарлана и, подозвав товарищей, незаметно окружили его.

Тарлан понимал: жизнь его в опасности. Скажи он хоть слово против имама — и банда провокаторов ринется на него черной лавиной, растопчет, сомнет, уничтожит. И он остерегался задеть религиозные чувства взволнованной толпы, но держался смело и мужественно. Повернувшись к одному из крестьян, Тарлан бросил ему в лицо:

— А ты... ты за что его ударил? Неужели тебе не жалко его: ведь он совсем мальчик! Подумай, что было бы, если б на глазах у тебя растерзали твоего сына? Разве ты смог бы это выдержать? А я терплю. Видишь: терплю! Но кровь брата взывает к отмщению!

Крестьянин виновато заморгал глазами и поспешно скользнул в толпу.

Молле Гашаму так и не удалось дочитать список. Правоверным было не до него: они валом валили к убитому. Сегодняшняя церемония была сорвана, и молле оставалось только издали наблюдать за своим «войском» — бандой громил и хулиганов.

А Тарлан наконец понял по взглядам обступивших его агитаторов, что он не один, что рядом друзья. Теперь можно было действовать решительней.

— Я уверен, — сказал он, обращаясь к толпе, — что все вы лишь невольные соучастники преступления. Вас спровоцировали! И я вас прощаю. Но этого, — Тарлан кивнул на человека со шрамом, — этого я заберу с собой и сдам властям. Он один повинен в убийстве!

— Верно! Правильно! — послышалось из толпы.

— Пойдешь со мной! — приказал Тарлан, не глядя на убийцу. Агитаторы тесней сомкнули круг. Прорвать толпу, увести с собой задержанного было не так-то просто. Громилы готовы были кинуться на выручку товарищу. Но толпа молчала: взбаламученное море казалось сейчас успокоившимся, застывшим: всех напугала смерть юноши, смутили слова Тарлана. И мало было

охотников рисковать головой, вступясь за человека, которого толком никто не знал.

Пользуясь общим замешательством, Тарлан твердо повторил:

— Иди, иди!

— Братья мусульмане! — крикнул убийца. — Не слушайте этого человека! Он тоже гяур и отпетый безбожник!

— А ты не клевещи на других! — одернул его один из агитаторов. — Что ты о нем знаешь?..

Видя, что толпа продолжает молчать, Тарлан подтолкнул преступника:

— Иди передо мной! Тебе не удастся спасти свою шкуру! — И, нагнувшись, шепнул: — Заткни рот, иди и не оглядывайся. Пошевельнешься — пристрелю!..

Агитаторы набросили на тело убитого покрывало и вместе с Тарланом двинулись сквозь толпу к станции.

Черные силы потерпели в этот день первое поражение.

3

Все эти дни Шариф-заде был оживлен, весел. Его радовали события в Биттили: он знал, что там сейчас Фарман-бек, что подготовка к восстанию идет полным ходом.

Больных у Шариф-заде с каждым днем становилось все больше и больше. Это тоже было ему на руку. Многие из больных спрашивали у него совета, не попросить ли им милости у имама, и Шариф-заде окольными путями подводил их к мысли о пользе паломничества.

— Лечить туберкулез мы не можем, — говорил он, — тут медицина бессильна. А имам... Во всяком случае, вы ничего не потеряете, если сходите к нему на поклонение! — И добавлял с улыбкой: — Каких только чудес не бывает в жизни! Я, кажется, скоро и сам поверю в силу имама!

Каждый день таким образом врач провожал в Биттили двоих-троих эллярцев.

Собрался в путь-дорогу и Гюльали-оглы. У него было бельмо на глазу, а избавить от этого недуга мог только святейший имам: доктору это было не по силам.

Шариф-заде слышал о намерении Гюльали-оглы и

немало удивился, увидев его вечером в дверях своего кабинета.

— Здравствуй, доктор! Вот опять пришел к тебе за советом.

— Как, ты еще в деревне?

Гюльали-оглы вздохнул.

— Клянусь богом, я прямо не знаю, что делать! Идти или не идти?.. Одни говорят одно, другие — другое.

— Колхоз-то отпускает тебя?

— Какое там! Этот сын свиньи, Мурсал-киши, и слушать не хочет ни о каком паломничестве!

— Выходит, ты не можешь пойти в Биттили?

— Да нет! Можно что-нибудь придумать и обмануть председателя. Да и на кой черт сдался мне их колхоз?

Фарман-бек в последнем письме еще раз напомнил Шариф-заде об осторожности. И врач старался не прибегать к открытым уговорам, даже верным людям он не говорил напрямик: бросайте колхоз и отправляйтесь к имаму! Он действовал хитро, увертливо, умело чередовал благие пожелания с шутками и сетованиями на бессилие медицины. В последнее время он взял себе за правило: учитывать, с кем говоришь. Гюльали-оглы недолюбливал, кажется, Мурсала-киши, а доктору верил, считал, что он печется о нуждах простых крестьян, таких, как сам Гюльали-оглы. В деревне Гюльали-оглы слыл малым простодушным. И, зная все это, Шариф-заде, словно в раздумье, сказал:

— Видишь ли, я врач; я в чудеса не верю... Но я сам, сам разговаривал с людьми, которые прежде были слепыми, а теперь стали видеть! Поверишь, я диву дался! А твое бельмо — это для имама пустяк. Он тебе вмиг его снимет. И ты сможешь жениться на любой женщине, какая только придется тебе по душе!..

— Ай, доктор, боюсь, имам не согласится меня исцелить! Он, я слыхал, отказывает всем, у кого на душе хоть пустячный грех. А за мной один грешок водится...

— Что ж это за грешок?

— Говорят, имам не исцеляет тех, кто пьет!

— Пустое! — убежденно сказал Шариф-заде. — Захвати только побольше подарков для имама. Авось умилостивишь...

Гюльали-оглы задумался и сокрушенно повторил:

— Прямо не знаю, что делать! Вчера я был у учительницы, так она говорит, что все это брехня! Ну, насчет имама...

— У какой это учительницы? — насторожился Шариф-заде.

— У Садаф-ханум, племянницы Фарман-бека. Вот умница-то! О дяде своем она и слышать спокойно не может. Ох и достается ему от нее! Она говорит, что и эта история с имамом нужна Фарман-беку да кулакам. А Садаф-ханум врать не будет... — Гюльали-оглы вздохнул. — Но ведь и ты, доктор, — человек умный, рассудительный. Вот и не знаю: кому верить?

Шариф-заде встал и принялся расхаживать по комнате.

— Тебе виднее, Гюльали-оглы; поступай как знаешь... Ты спросил у меня совета, я тебе дал его, и пусть это останется между нами. Держи язык за зубами, а то и так на меня тут косо поглядывают. Так-то, дорогой. А Садаф-ханум... Что ж, она неплохая девушка. Но верить ей нельзя. Посуди сам: как же ей не ругать своего дядю! Да ее тогда в два счета выставят и из школы и из комсомола! Вот она и старается... Я считаю тебя другом, Гюльали-оглы, потому и говорю с тобой так откровенно. Но надеюсь, о нашем разговоре никто больше не узнает?

— Об этом будем знать только бог да я сам!.. — торжественно сказал Гюльали-оглы и тоже поднялся. — Счастливо оставаться, доктор! Сегодня же ночью тронусь потихоньку... А вылечу глаз, угощу тебя на славу! Я себе обет такой дал.

Проводив Гюльали-оглы, Шариф-заде снял халат, вымыл руки и, уходя, наказал сторожу, дремавшему у двери:

— Если сюда кто придет, пошли ко мне домой. Понял?

— Ладно, пошлю, — зевая, сказал сторож. — Да только кто теперь придет? Все идут в Биттили, к имаму. Я и сам нынче ночью думаю туда податься.

По подсчетам Шариф-заде, из села Элляр в Биттили ушло больше народу, чем из других деревень. Но кто знает, много ли крестьян присоединится к мятежникам? Самому Шариф-заде не ясен был исход надвигающихся событий.

4

Шариф-заде за другими делами не забывал и о Тарлане. По указанию врача Шамиль начал собирать подписи под заявлением, порочащим Тарлана.

Одним из первых он навестил Адхама-киши, вышедшего недавно из колхоза. Шамиль застал хозяина за обедом: Адхам-киши сидел на коврике, постланном на полу, а перед ним в солидной посудине дымился бозбаш. Он обрадовался гостю, который наведывался к нему не так-то уж часто, и, вытирая руки полой телогрейки, шутливо воскликнул:

— Вот счастливец — как раз к обеду! Видно, теща тебя любит. Садись, пожалуйста, кушай!..

Шамиля, привыкшего обедать на даровщинку, не пришлось долго упрашивать: он подсел к хозяину и придвинул к себе бозбаш.

— А я прослышал, что сегодня в ваших дворах зарезали барана, вот и надумал к тебе заглянуть. А чтоб не идти с пустыми руками, припрятал в кармане поллитровочку. Пропустим по паре рюмок, а?..

— Что ж, пару рюмок, это можно.

Адхам-киши, приохотившийся к водке еще в молодости, с вожделением взглянул на бутылку и быстренько поставил на скатерть стаканы.

— Давненько уж я не пил ее, проклятую!.. А ну, дорогой, налей чуток.

Гость и хозяин приступили к пиршеству, а жена Адхама-киши взяла свою порцию бозбаша и скромно удалилась в угол.

Шамиль пил мало. Ему важнее было подпоить старика, да к тому же не хотелось опорожнять всю бутылку.

— Пей, пей! — подливал он хозяину.

Старик приободрился, щеки его раскраснелись, глаза заблестели. Он осушил стакан, крякнул, поморщился и, накрошив в соус хлеба, набросился на еду. Шамиль еще раз взглянул на Адхама-киши и, решив, что он уже пьян, начал издалека:

— Я знаю, дядя Адхам, ты любишь нашего доктора. Все готов сделать, как он скажет... И верно, он у нас умница, плохого не присоветует.

— Ай, Шамиль, что ж ты не взял его с собой?

— Да у него хлопот полон рот! Совсем завертелся, бедняга! Он, кажись, и сейчас у себя в амбулатории. А я к тебе вот зачем пришел... Ты нам помочь должен.

Адхам-киши лукаво улыбнулся.

— Так ты что ж, подкупить меня вздумал своей водкой?

— Ай, и не совестно тебе так говорить? Не было бы дела — я все равно зашел бы. Так вот. Мы тут составили с доктором одно заявление. От всей нашей деревни. Ты ведь знаешь, много у нас всяких непорядков. Крестьяне ропщут... Ну, мы и просим, чтоб власти наказали виновных. Нельзя ведь не считаться с народом, верно?

— Твоя правда, нельзя. Сейчас народ — всему хозяин. И если кто против народа, его по головке не погладят!..

— Вот-вот, мы об этом и пишем. И надо, чтоб все подписали это заявление. Пусть-ка власти попробуют тогда от него отмахнуться!

Адхам-киши опрокинул в рот еще стакан водки, помотал головой и, словно между прочим, спросил:

— А на кого вы там жалуетесь?

— Как это на кого? Кто нам с тобой мешает жить?

— А я почем знаю?.. Фарман-бек, Гатам-оглы... Мало ли у нас врагов!

— Ну да... это все так... — замялся Шамиль. — А еще кто?.. Как ты думаешь?

По правде говоря, старик не доверял и самому Шамилю, но не отважился сказать ему об этом в лицо: как говорят в народе, лицо лица стыдится. Шамиль с сожалением посмотрел на бутылку и наклонил ее над стаканом Адхама-киши.

— Ты пей, пей!.. А я пока прочту тебе заявление. Там уж твое дело: подпишешь ты его или нет.

Но старик отодвинул стакан и твердо сказал:

— Вот что, дорогой. Я вышел из колхоза, а теперь каюсь! Вижу я: эти сукины дети — всякие там беки да кулаки — ожили, зашевелились! И я им помогать не стану! Не хочу брать греха на душу!

Не понимая, что хочет сказать этим Адхам-киши, Шамиль раздраженно спросил:

— Да разве нет у тебя врагов, кроме кулаков да беков?

— Почему нет? Есть, — улыбнулся старик. — Ты мой

гость, и нельзя тебя обижать. Но знаешь, дорогой, не очень-то я тебе верю! Я вижу, по чьим стопам ты идешь! Ты собираешь урожай своего отца! Я все, все вижу!

И когда Шамиль выскочил из землянки, Адхам-киши обернулся к жене и рассмеялся.

— Они хотели подсунуть мне заявление! Как будто я не знаю, на кого они там жалуются!.. Клянусь богом, я сразу же догадался! Как ты думаешь, старая, на кого?

Старуха не слышала их разговора и решила, что у мужа от водки помутилось в голове.

— Да ты что, спятил, старый черт? Ишь нализался!

— Эх, жена, жена! Ты, я смотрю, все глупеешь... Нет, я в своем уме. Я сразу понял: заявление-то на Мурсала-киши или на Тарлана! Не на Фарман-бека же им жаловаться! Ха! Водочка-то нынче мне даром досталась. Не пойму только: с чего доктор ввязался в это дело?

5

Под заявлением все-таки появилось около тридцати подписей, и, вдохновленный удачей, Шариф-заде на тощей кобыле, которую дали ему в сельсовете, отправился в город. В кармане у него лежало пространное заявление, и что только не приписывалось в нем Тарлану!

Кляча не спеша трусила по дороге, а разгоряченная фантазия Шариф-заде рисовала самые радужные картины. Секретарь райкома, ознакомившись с обвинениями, выдвинутыми против Тарлана, немедленно же созовет бюро и освободит Тарлана от работы в школе и в партийной ячейке. Если даже секретарь и не поверит всему, что написано в заявлении, он все равно перетрусит и вынужден будет принять спешные меры.

В общем, пока врач доехал до райкома, Тарлан успел уже побывать и в тюрьме и в ссылке.

Когда Шариф-заде вошел в кабинет секретаря райкома, тот просматривал последние сводки, в которых сообщалось о том, как проходит сев хлопка.

— Что случилось, доктор? Почему ты в городе в такое горячее время?

— У меня к вам серьезное дело, товарищ Надир. Десять-то минут вы можете мне уделить?

— Садись, рассказывай.

Шариф-заде достал из кармана заявление и протянул секретарю:

— Вот почитайте... Крестьяне попросили меня передать это в райком, и я, как коммунист...

Секретарь пробежал первые фразы, заглянул в конец заявления.

— Ого, сколько подписей! Кто же это их наскреб, а?

В это время в кабинет вошла секретарша Надира Бегим-ханум — старая знакомая Шариф-заде. Накрашенные губы ее расплылись в радостной улыбке; врач ответил ей рассеянным кивком и так и прилип к секретарю напряженным, выжидающим взглядом. Надир дочитал заявление и поднялся.

— Вот что, поезжай-ка обратно и займись своим делом. Я скоро загляну к вам и сам все проверю. Но советую тебе: в подобных делах не слишком усердствуй. Так-то лучше будет.

Секретарь взялся за телефонную трубку, а врач, побагровев от смущения, сказал срывающимся голосом:

— Но это серьезные обвинения, товарищ Надир! Так сказать, голос народа... И я обязан был сигнализировать!

— Ступай, товарищ Шариф-заде! Если бы я знал, что ты пришел ко мне только за этим, я бы вообще тебя не принял.

Шариф-заде был так ошеломлен, что, уходя, забыл даже попрощаться с Бегим. Когда дверь за ним захлопнулась, секретарь задумался... «Говорят, во время пожара этот Шариф-заде держался молодцом... Почему же он подхватил гнусную сплетню? Или они просто не поладили с Тарланом, и доктор обрадовался возможности насолить ему?..»

6

Только что закончилось заседание чрезвычайной тройки. Ханлар вернулся в свой кабинет угрюмым, задумчивым. Радоваться пока было нечему. Народу в Биттили подваливало с каждым часом. Остановка поездов на станции Шамхор была запрещена, но люди, натравленные моллой Гашамом, делали все, чтобы задержать составы. Когда поезд замедлял ход, паломники выскакивали из вагонов. Многие приезжали сюда на грузовиках.

До «явления имама» оставалось всего несколько дней. Молла Гашам, выполняя тайные указания своих хозяев, перешел к открытой пропаганде против советской власти.

Один из членов тройки потребовал вооруженного вмешательства. Но Ханлар решительно отверг это предложение.

— Мы знаем слабые стороны врага и должны атаковать его с тыла! Надо смело и умно изобличать обман моллы! Душить в зародыше всякую провокацию! Задерживать и арестовывать вражеских запевал! Только так мы сможем обескровить, разоружить врага!

В это время, как раз после заседания тройки, Тарлан и другие агитаторы привели к Ханлару человека со шрамом на лице.

Ханлар измерил незнакомца внимательным, испытующим взглядом. Одет он был как простой крестьянин: баранья папаха, широкий кушак с болтающимися концами. Но на крестьянина что-то не похож. В глазах — ненависть; а походка уверенная и держится нагловато: видно, не робкого десятка.

— Кто это?

— Сегодня у часовни убили комсомольца, вступившего в спор с моллой, — объяснил Тарлан. — Вот этот человек — один из главных участников преступления. Допросите его сами.

Тарлан рассказал, как было дело.

— Молодчина! — похвалил его Ханлар. — Твой пример воодушевит многих!..

Ханлар приказал закрыть дверь и никого не впускать в комнату. Заметив, что Тарлан тоже собирается уйти, Ханлар остановил его:

— Ты куда? Останься, послушаешь.

Он приказал задержанному сесть, пристально посмотрел на него, словно припоминая что-то, и коротко спросил:

— Ты откуда?

— Я азербайджанец.

— Из какого ты района, из какой деревни?

— Это не имеет значения.

— Для тебя — да. Для нас — имеет.

Ханлар достал из своего портфеля целую кучу фотокарточек.

— Найди здесь свою!

— Моих ни у кого не может быть.

— А ты посмотри хорошенько, может быть и найдешь.

Задержанный отвел взгляд в сторону.

— Я никогда не дарил своих фотокарточек.

— Не дарил? — Ханлар старался сохранить хладнокровие. — А вот к нам они все равно попали. Хорошо, я найду сам.

Тарлан, с трудом опомнившись от изумления, принялся вместе с Ханларом рыться в фотокарточках. Внимание обоих привлекла фотография смуглого мужчины во фраке, с черной бородкой, которая не могла скрыть широкого шрама, уродовавшего его лицо.

— А это разве не ты?

— Вы ошибаетесь! Я не ношу бороды.

— А это и не борода! — резко сказал Ханлар. — Ты снят в парике для одного из подложных паспортов, который дали тебе за границей! Паспорт этот сейчас тебе не нужен, и ты выкинул свой парик. Довольно ломать комедию!

— Какая такая заграница? — Задержанный прикинулся удивленным. — Собака моя там заблудилась, что ли?.. Я из села Салахлы Казахского района!

У Ханлара были сведения о многих мусаватистских офицерах, бежавших за границу, и он уже знал, с кем имеет дело.

— А если я назову твое имя?..

— Выдумать все можно.

— Так... А то, что ты был мусаватистским офицером, орудовал в Гандже, — это тоже выдумка? Отвечай, Нурали Исмаилов!..

Лицо у задержанного стало белым, а потрясенный Тарлан вскочил со стула, бросился к арестованному и схватил его за горло:

— Мерзавец! Предатель!

Все это время Тарлан старался вспомнить, где он встречал этого человека, и теперь наконец узнал его.

— Этот убийца... — вне себя произнес Тарлан. — Этот убийца и предатель — мой брат! Мы долго не виделись, а он так переменился, что я... Я был тогда совсем мальчишкой!

— Спокойней, Тарлан! Ну что ж, в таком случае у меня нет больше вопросов. — Ханлар нажал кнопку звонка, приказал милиционеру увести арестованного. Затем обернулся к Тарлану: — Рассказывай, дорогой.

И Тарлан начал рассказывать...

7

Дашнакская[1] часть подошла к деревне на рассвете. По плану офицеров она должна была ровно в семь занять и поджечь тот край деревни, где жили азербайджанцы.

Никто не сомневался в том, что деревню удастся захватить легко и быстро. Азербайджанские соединения, высланные против дашнаков военным министром мусаватистского правительства, сражались сейчас на Аскеранском фронте. Деревня осталась без защиты. Дашнаки могли безнаказанно топтать чужие луга и поля. Солдаты, чуя легкую добычу, так и рвались вперед, а тех, кто отставал или выбивался из строя, офицеры щедро награждали затрещинами. Оркестр бравурно играл дашнакский марш.

Но перед самой деревней дашнаки встретили непредвиденное препятствие. На широком лугу, загораживая подступы к деревне, плотной толпой стояли армянские крестьяне: юноши, девушки, женщины, старики и даже молодухи на сносях. Из толпы неслись решительные выкрики:

— Не трогайте наших братьев мусульман!..

— Убейте лучше нас!

Армяне еще с вечера узнали о приближении дашнакской части и единодушно решили: не пускать ее в деревню! Азербайджанские крестьяне в свою очередь обещали, когда понадобится, дать достойный отпор мусаватистским соединениям.

Армянам предстояло первыми пройти через суровое испытание. Они смело вышли навстречу дашнакской части, и воздух сотрясся от грозных возгласов:

— Не трогайте наших братьев азербайджанцев!

---

[1] Дашнаки — члены армянской буржуазно-националистической партии «Дашнакцутюн». Дашнаки, мусаватисты и грузинские меньшевики были активными организаторами межнациональных столкновений в Закавказье.

— Стреляйте в нас!

— Топчите нас!

Музыка смолкла. Улыбки погасли на лицах офицеров. Они молча переглянулись, а командир, ехавший на своем коне позади, жестко приказал:

— Огонь!

Но на солдат словно столбняк нашел; они забыли даже передать это приказание офицерам, маячившим перед отрядом. Командир хлестнул плеткой коня и поскакал вперед.

— Огонь!

Солдаты продолжали стоять как вкопанные. Командир швырнул на землю недокуренную папиросу и, вконец рассвирепев, повторил:

— Огонь!

Под размеренную дробь барабана солдаты двинулись на толпу. Командир поправил шапку, съехавшую на глаза, окинул суровым взглядом свой отряд и вдруг вздрогнул от пронзительного, отчаянного крика:

— Стреляйте!.. Убивайте!..

— Вы пройдете только через наши трупы!..

Солдаты остановились. Командир снова ударил коня, подъехал к толпе и спрыгнул на землю. Крестьяне смотрели на него молча, настороженно. Они были вооружены чем попало: лопатами, дубинами. Женщины подбирали с земли камни. Командир сунул плетку за голенище щегольского желтого сапога и подошел к седобородому старику, которого посчитал почему-то за вожака.

— Эй, прочь с дороги! Или вы все погибнете!

Старик крепче сжал свою лопату.

— Убивайте, мы на все готовы!

Ответ этот привел командира в ярость. Он выхватил плетку и изо всей мочи вытянул старика по плечу. Тот угрожающе поднял лопату и кинулся на командира, но снова над головой старика просвистела плетка.

— Эй, в колья этого сукиного сына! — крикнул он.

Крестьяне тотчас окружили командира; в воздухе замелькали дубины, вилы, лопаты. Командир упал лицом вниз. В это время прогремели три выстрела. Старик, первым налетевший на командира, зашатался и медленно осел на землю. По толпе прошел глухой ропот; в солдат градом полетели увесистые камни. Это обра-

тило их в постыдное бегство. За ними улепетывали офицеры.

Вдруг откуда-то сбоку яростно затараторил дашнакский пулемет. Толпа отхлынула в сторону; послышались стоны; кто-то крикнул:

— Бегите!..

Но этот панический вопль был перекрыт властным голосом:

— Не отступать, друзья!.. Бей их, не давай им пощады!..

Командир отряда был весь в крови, но у него хватило сил встать на ноги. Он потянулся было за револьвером, но кобура была пуста. Не было и коня. Тогда командир обернулся к солдатам и что есть силы гаркнул:

— Вперед!

Солдаты, подбодренные уверенной командой и песней пулемета, повернули штыки и с криком «ура» ринулись на безоружных крестьян. На солдат снова посыпались камни, но они прорвались сквозь толпу, и вскоре азербайджанская половина деревни огласилась душераздирающими воплями, стонами, плачем.

Дашнаки закалывали всех, кто попадался им под руку; армянские крестьяне пытались помешать им, но они стреляли и в армян. Над домами взвихрилось пламя, и дрожащие языки огня смешались с первыми лучами заалевшего на востоке солнца.

Азербайджанцы, которым удалось вырваться из деревни, побежали к дальнему ущелью. Солдаты зорко следили за беглецами, стреляли по ним с крыш; и то один, то другой из крестьян, словно споткнувшись, ничком падал на землю. Плачущие дети, выпав из рук матерей, скатывались в овраг, тянувшийся вдоль дороги.

Тарлан вместе с матерью ползком продвигался все дальше и дальше от деревни. Вдруг он услышал короткий вскрик и, оглянувшись, увидел, что мать неподвижно распростерлась на земле. Тарлан подполз к ней.

— Умираю, сынок!.. — прошептала она и приникла щекой к холодной траве.

Тарлан попытался поднять ее, но в это время у самого его уха просвистела пуля. Он прижался к земле и несколько минут лежал, боясь пошевелиться. Вдруг

стрельба смолкла. Тарлан встал на колени и склонился над матерью:

— Куда тебя ранили, мама?..

— Все тело горит, сынок... Все тело... — тихо проговорила она. — На мне живого места нет... Умираю...

Тарлан попробовал взять ее на руки, но мать застонала еще громче. Тогда он положил ее на траву и сел рядом. Дашнаки снова открыли огонь. Тарлан чуть пригнулся, вслушался в затихающий шепот матери:

— Тарлан, сынок мой... Эти собаки разорили наше гнездо... Беги, спасайся!..

Это были последние ее слова. И Тарлан, припав к ее еще теплой груди, горько, навзрыд заплакал. Пули жужжали над его головой, но он ничего не слышал, не замечал...

Наконец стрельба опять прекратилась. Тарлан очнулся и с ужасом огляделся вокруг. Дорога, по которой он полз, была усеяна мертвыми телами. А равнодушной природе не было дела до того, что творилось на земле. Весна, словно в насмешку, подарила миру чудесный, ясный день. Тихим пламенем разгоралось солнце. По лугам бесшумно катились зеленые волны. Высоко над дорогой пролетали беспечные птицы и таяли в голубой дали.

Тарлан не знал, куда ему идти. Весь день, до полуночи, просидел он подле матери, стараясь не смотреть на убитых. Ему страшно было поверить в смерть дорогого для него человека, но воспоминания об утренней резне и эти трупы, темневшие на дороге, — все говорило о том, что пережитое им горе не сон, а мрачная, суровая действительность. Над деревней пронеслась черная гроза; она разрушила крестьянские жилища, раскидала повсюду мертвые, неподвижные тела. Тарлан подумал, что, наверно, из всей деревни он один остался в живых; и это опечалило его еще больше. На что ему жизнь, если близкие его погибли, а на месте родной деревни теперь пепелище? Тарлан страдал глубоко, не по-детски, но с детским недоумением спрашивал себя: как, отчего могла стрястись такая беда? Все время они жили с армянами одной семьей, но вот пришли армянские солдаты, и оказалось, что армяне — злейшие враги мусульман! Тарлан многого еще не понимал и попытался найти объяснение в бабушкиных религиозных притчах.

«Бабушка рассказывала про конец света. Может, это уже и есть конец света?.. Зачем же тогда мне жить? Я вот не пойду никуда, меня найдут здесь и убьют...» Но он сам испугался этой мысли; ему почудилось, что ангел смерти Азраил прошумел над ним своими крыльями, и он закричал от страха, тоски и одиночества. К счастью, вокруг было безлюдно, и никто не услышал этого отчаянного крика. Тарлан поднялся, обхватил руками холодное как лед тело матери, но оно показалось ему тяжелее скалы. Тогда он выпрямился и пустился бежать к деревне. Пусть его убьют, но он должен увидеть свой дом; может, не все близкие перебиты, и кто-нибудь поможет ему похоронить мать.

Вдруг до него долетели негромкие голоса. По дороге, навстречу мальчику, двигались какие-то люди. Тарлан отпрянул в сторону и притаился в придорожной канаве. «Верно, солдаты рыщут», — в страхе подумал он и крепче прижался к земле. Тени все приближались; послышался скрип арбы. Тарлан затаил дыхание. Люди, поравнявшиеся с ним, говорили по-армянски; они ругали кого-то, и Тарлан, знавший армянский язык, весь обратился в слух.

— Смерть, она бедняков любит, — говорил армянин, погонявший волов. — Так уж издавна повелось. А беки откупились: зазвали командира в гости, сунули ему взятку.

— Да ведь, по правде сказать, мы и сами виноваты, — отозвался армянин, сидевший на арбе. — Будь мы порешительней, ни один солдат не вошел бы в деревню!

— Э, не говори так, сын мой. Мы сделали все, что могли. Вон сколько наших они поубивали! Против пулеметов не попрешь; нас всех перекосили бы, как траву на лугу. Они ни с чем не считаются.

Несмазанное колесо громко заскрипело, и Тарлан так и не услышал, что ответил молодой армянин. Как хотелось ему выйти на дорогу, порасспросить обо всем армянских крестьян! Но кто знает, зачем они явились сюда! Может, солдаты велели им выловить всех, кто уцелел?

На дороге показалась еще одна арба. Тарлан в смятенье оглянулся по сторонам. Бежать было некуда. В деревню?.. Там его схватят солдаты. Выбраться из канавы на склон оврага?.. Но склон крутой, сорвешься

в темноте — костей не соберешь. Тарлан отполз на коленях подальше от дороги и замер.

За арбой шли двое. Один из них наклонился над трупами, лежавшими близ дороги, и, выпрямившись, вздохнул:

— И здесь его нет!.. А может, ему удалось спастись, прячется где-нибудь? То-то была бы радость! Я ведь люблю его больше брата! Как-то в школе мы говорили с ним об армяно-мусульманской резне. И тогда же условились: я спрячу его от дашнаков, он меня — от мусаватистов. Но вчера я, как назло, был в городе... И вот...

Голос показался Тарлану знакомым; он раздвинул руками траву и пристально вгляделся в темноту. Школьник-армянин медленно продвигался вперед, ища кого-то среди мертвецов. Вот он снова выпрямился и с горечью воскликнул:

— Ах, Тарлан, Тарлан! Прости меня, брат мой, я не сдержал своего слова!..

Тарлан не поверил своим ушам... Ну да, это был его старый школьный товарищ!

— Абрам! — крикнул он.

Тот вздрогнул и оглянулся в недоумении.

— Ты не слышал, никто не звал меня? — спросил он своего спутника.

— Кто-то крикнул: «Абрам!» Мы своими ушами слышали... — подтвердили армяне, ехавшие впереди.

— Кто же это?

Но тут Тарлан вскочил на ноги и позвал громче:

— Абрам, это я! Я здесь, я живой!..

Абрам подбежал к другу, они обнялись и поцеловались.

— Ты пойдешь к нам, Тарлан, — предложил Абрам, — дашнаки уже ушли. Не бойся, я тебя так спрячу, что целая армия не отыщет!.. А в них, — он кивнул на своих спутников, — в них можешь не сомневаться. Это наши соседи; они хотят похоронить своих друзей. Твою мать уже нашли; она сейчас у меня в арбе. Поверь: твое горе — мое горе... Но потерянного не вернешь. Идем же, Тарлан! Нынче ночью мы похороним всех убитых... Ох, сколько народу погибло! Только беки целехоньки. Да иди, не бойся. Я умру, но не отдам тебя дашнакам!

Деревня встретила их глубокой, траурной тишиной. Абрам остановил арбу у своего дома и вместе с Тарланом вошел в комнату. Дома еще никто не спал. Отец Абрама, Исхак, сидел, упершись ладонями в колени, и хмуро смотрел в пол. Услышав шаги, он поднял голову и обрадованно вскочил с места. Мать тоже встала и обняла дорогого гостя.

— Сын мой! — со слезами сказала она. — Пусть господь бог покарает этих зверей!.. Да, да, это не люди — звери!.. Вон что они учинили: разгром да смертоубийство... Садись, сынок, отдохни...

Исхак вытер слезы полой архалука и с гневом воскликнул:

— Да проклянет бог того, кто посеял вражду меж братьями!

Тарлан поселился в доме Абрама. Однако и здесь ему грозила опасность. Через деревню часто проходили соединения дашнакской армии. Надо было остерегаться и местных жителей: командир отряда, устроившего резню, обещал большую награду тем, кто выдаст скрывающихся азербайджанцев. Абрам никуда не выпускал друга из дому, и тот прожил у него больше недели. Многие знали, где прячется Тарлан, но ни словом не обмолвились об этом дашнакам.

Однажды вечером в деревне остановились на ночлег дашнакские части, разгромленные на фронте и возвращавшиеся восвояси. Солдат разместили по домам, и, как ни старался Исхак-киши, ему не удалось избавить свой дом от постоя.

Абрам спрятал Тарлана в сарае, а в полночь, захватив одеяло и матрац, и сам пришел к своему другу. Едва забрезжил рассвет, мать Абрама принесла им яичницу. Она подождала, пока дети позавтракают, потом собрала посуду и крадучись вышла из сарая. За ней, оглядываясь по сторонам, выскользнул и Абрам.

Дома его ждали нерадостные вести. Он узнал, что дашнаки пока и не думают покидать деревню: они ждут подкреплений, чтобы со свежими силами двинуться в контрнаступление.

Абрам помрачнел. Он пожалел о том, чтс до сих пор не удосужился укрыть друга в более безопасном месте. Прятаться в деревне становилось все рискованней.

Дашнакские офицеры уже нашли нескольких азербайджанцев и убили их.

Когда Абрам на следующую ночь пробрался к другу в сарай, Тарлан удивился:

— Ты что такой хмурый?

— Плохо наше дело! — с отчаянием сказал Абрам. — Во всех домах обыски; солдаты шарят штыками даже в ямах, где хранится зерно. Боюсь за тебя, Тарлан. Попадешься им в руки — не сносить тебе головы! Отец посоветовал перебраться этой ночью подальше отсюда... Я тоже пойду с тобой.

У Тарлана сжалось сердце, к горлу подступил горький комок; он еле удержался от слез. «Они перетрусили, хотят от меня избавиться!» Ему хотелось крикнуть: «Пускай меня убивают, я не боюсь смерти!» Но Абрам обнял друга за шею и горячо зашептал:

— Ты мне друг, Тарлан, потому я и хочу тебя увести. Тут тебя найдут. Дашнаки каждый день устраивают облавы; они не верят нам!..

В это время пришел и Исхак.

— Сынок, солдаты уснули. Кони наготове.

Тарлану вдруг стало стыдно за свои подозрения. Он понял, что эти люди хотят ему добра, и твердо сказал:

— Ухожу, друг! Спасибо вам!

Возле сарая их ждали оседланные кони. Исхак наклонился к сыну и шепнул:

— Поезжайте вверх по дороге. Главное — проскочить мимо караулов... Если вас задержат и начнут расспрашивать, отвечай ты, Тарлан пусть молчит. Проводишь его до линии фронта — и назад! Жду тебя, сынок!..

Мать Абрама принесла полную сумку всякой снеди и привязала ее к седлу. Пока ее муж из предосторожности обматывал морды лошадей платками, Тарлан прощался с матерью друга; добрая женщина обняла его, поцеловала и, пробормотав молитву, пожелала ему счастливого пути.

Любовь и горе были в ее глазах, и Тарлан почувствовал, как по лицу его текут слезы.

Простившись, друзья пустили коней рысью и вскоре исчезли в полуночной темноте. Выехав на проселочную дорогу, они поскакали галопом по направлению к деревне Сардарлы. Неподалеку от нее, в ущелье, шел бой, поэтому пробраться в деревню было не так-то про-

сто. На каждом шагу друзей подстерегала опасность: их могли задержать в любую минуту.

Тарлан с беспокойством поглядывал по сторонам и все думал, удастся ли ему улизнуть от дашнаков. «Дашнаки, говорят, не сразу убивают свою жертву: сначала мучают, а потом отрубают руки, ноги, голову... Вот звери!..» Но зверствовали не только дашнаки. По ту сторону фронта мусаватисты с не меньшей жестокостью расправлялись с армянами. Они насиловали женщин, разрушали дома, затаптывали мирные очаги. И армянские матери в неизбывной тоске оплакивали своих детей.

От бесчинств дашнаков и мусаватистов страдал простой народ. Страдали бедняки.

Тарлан долгое время ехал в задумчивости, а потом нагнал Абрама и решительно сказал:

— Слушай-ка, Абрам. Если нас задержат, мне все равно живым не уйти. Так я лучше сразу пришпорю коня: пусть меня тут же пристрелят...

— И думать не смей! — сердито оборвал его Абрам. — Ты только молчи; я сам буду разговаривать. Они и не узнают, что ты мусульманин!

Резвые кони (Исхак одолжил их на один день у соседей) уносили друзей все дальше и дальше от деревни. Казалось, опасность миновала. Вокруг было тихо-тихо, и, словно радуясь этому, кони весело пофыркивали и бежали все быстрей. Абрам, однако, был настороже: он тревожился больше, чем Тарлан, потому что отвечал за жизнь друга. А Тарлана одолевали сомнения. Куда он едет? Даже если ему удастся спастись, куда он пойдет? У него ведь ни дома, ни родных, ни знакомых.

— Послушай, Абрам, — сказал он. — Ну, а если я улизну, куда мне потом деваться?

— Я так думаю, Тарлан, — после долгого молчания ответил друг, — эта резня скоро кончится. Поезжай в Сардарлы; попросись к кому-нибудь в дом, поживи, пока не настанет затишье. А потом я приеду к тебе, и мы уедем в Баку, поступим в школу. В России победила революция, в Баку нам тоже будет привольно! Мы с тобой выучимся и вернемся в деревню настоящими людьми!.. Ах, как хочется учиться, Тарлан! Ну что нам дала сельская школа? С такими знаниями далеко не уедешь...

До сих пор Тарлан не думал о будущем. Мать его

убили, деревню сровняли с землей, и впереди не было просвета... Тарлану в то время было лет шестнадцать, но он чувствовал себя слабым, беспомощным. Школа, в которой он учился, не дала ему самого главного: знания жизни, и он не представлял себе, как теперь будет жить без отца и без матери. Но среди мрака, окружавшего друзей, ярко вспыхнула мечта Абрама об ученье, и слова друга окрылили Тарлана.

— Верно, Абрам! Поедем в Баку! Но что это такое — революция? И откуда ты знаешь о ней?

— Мне сказал один солдат, из тех, что были у нас на постое. Он сам революционер!.. Он говорил, что большевики взяли власть в свои руки и в Баку теперь коммуна. Самые главные — Шаумян, Джапаридзе, Азизбеков... Это смелые люди, и они за рабочих!

Тарлан мало что понял из разъяснений Абрама, но подумал, что друг его прав: надо учиться. Кто он сейчас? Бездомный бродяга... А выучится — станет человеком!..

— После твоих слов, — сказал Тарлан, — будто солнце взошло! Теперь только жить и жить! Возьмусь за ученье — может, и забуду о своем горе. И опять мы будем вместе, Абрам. Всю жизнь вместе!

В эту минуту друзей окликнули по-армянски:

— Стой!..

Тарлан словно пробудился от сладкого сна. Он придержал коня, а Абрам быстро сорвал с лошадиных морд платки, сунул их в карман и, подъехав к армянскому солдату, который остановил их, с невинным видом спросил:

— В чем дело?

— Куда вы едете?

— В город, продавать коней, — спокойно ответил Абрам.

Солдат показал рукой на Тарлана:

— А это что за птица?

— Это мой брат. Конь его напугался, вот и не хочет подходить... Сами мы из деревни Саманлыг. В городе сегодня воскресный базар, вот мы...

— Позови брата! — оборвал его солдат. — Пусть подойдет!

Тарлан понял, что они нарвались на дашнаков, и

сильней натянул поводья, не давая коню сдвинуться с места.

— А ну, слезайте с коней! — грубо прикрикнул солдат.

Тарлан словно пристыл к седлу. «Вот мы и попались, — думал он с замиранием сердца. — Теперь не вырваться! До утра они подождут, а утром узнают, кто я такой, и обязательно четвертуют! Они и Абрама не помилуют!..» От этой мысли Тарлана бросило в дрожь.

Вдруг он услышал голос Абрама:

— Идем со мной, братишка.

Они слезли с коней.

— Смотри, ни звука! — шепнул Абрам.

Ведя коней под уздцы, друзья подошли к солдату. Тот пронзительно свистнул. Через минуту появился второй дозорный. Он что-то спросил по-армянски, и первый солдат, кивнув на задержанных, рассказал, как он поймал ребят.

Друзей отвели в одну из палаток, темневших неподалеку от дороги; у входа поставили караульного. Здесь они и протомились до самого утра. Тарлана бил озноб. Он не понимал, за что его преследуют, и никогда еще не было ему так жутко. Абрам держался более спокойно. Пододвинувшись к Тарлану, он одобряюще зашептал:

— Ты не бойся, друг... Если будешь молчать, ничего с нами не случится! Я скажу, что ты глухонемой. Они отпустят нас, вот увидишь!

— Ладно, буду нем как рыба!

Их шепот услышал караульный. Он вошел в палатку и строго спросил:

— О чем вы тут шепчетесь?

— Мы не шепчемся. Это я один разговариваю, сам с собой. Брат у меня глухонемой.

— Брат? Что-то не похож на тебя. — Солдат с сомнением покачал головой.

— А мы от разных отцов! — нашелся Абрам.

Тарлан чуть не прыснул со смеху, но в это время в палатку вошел дозорный, задержавший ребят. Ему приказано было отвести их к командиру роты. Когда пленники в сопровождении конвойного подошли к командирской палатке, из нее вышел стройный офицер с франтовски подкрученными усиками, в черкеске с серебряны-

ми газырями. В зубах у него подрагивала папироска с золотым ободком.

— Эти? — небрежно бросил он, взглянув на ребят.

— Так точно, они! Задержаны сегодня ночью, в районе боев!

Офицер сердито наморщил лоб.

— Вы что, порядков не знаете? А ну, возвращайтесь той же дорогой, по какой приехали! Вернуть им коней!.. И пусть убираются отсюда, да поживее!

Тарлан весь напрягся: он боялся, что по неопытности выдаст себя каким-нибудь неосторожным движением. В душе он радовался удачному исходу дела, но постарался выразить на лице полнейшее безучастие.

Командир роты отбросил папиросу и, не обращая больше внимания на задержанных, вступил в оживленную беседу с офицерами, собравшимися возле палатки.

Друзья вскочили на коней — и только их и видели!

— Вот видишь, — торжествующе воскликнул Абрам. — Они и не догадались, что ты мусульманин! А теперь поскачем к деревне Сардарлы; до нее уж рукой подать. Как заметим дашнаков, погоним коней вскачь: авось удерем!

Тарлан забыл все свои недавние страхи и огорчения. Он радовался как ребенок и в нетерпении все подхлестывал коня.

Наконец друзья въехали в ущелье. По обе стороны от дороги высились крутые скалы. Меж камней пестрели цветы, ярко алели маки; ветерок колыхал шелковистые горные травы; издалека доносилось журчанье быстрой речушки.

Абрам поскакал вперед, разведал дорогу и, вернувшись, сказал:

— Никого нет; поехали дальше. Мы на ничейной полосе. На том берегу реки — азербайджанские аскеры. Там я с тобой прощусь.

Но не успели они достигнуть реки, как откуда-то сбоку раздался повелительный голос:

— Стой!

Друзья придержали коней. Из придорожной канавы вылез дашнакский солдат, за ним еще двое, потом еще один; на шее у него висел полевой бинокль, колени были вызеленены травой. Судя по всему, это были разведчики. Солдат, окликнувший друзей, сердито сказал:

— Мы обязаны задержать вас и доставить в часть!

— Да нас уже допрашивал ваш начальник, — заверил Абрам, — и разрешил ехать в город. Отпустите нас, мы спешим...

— Вот идиоты! — усмехнулся солдат. — Да вы знаете, куда едете? Там же азербайджанские части!.. Во-он, видите: сюда направляется их отряд. Вам что, голов не жалко?

Тарлан молчал, словно и не слышал, о чем говорит солдат. А Абрам прикинулся непонимающим..

— Дяденька, отпустите нас!.. Мы из деревни, здешних порядков не знаем...

Азербайджанцы были уже совсем близко, и солдат махнул рукой:

— А, да что с вами говорить? — И, обернувшись к разведчикам, крикнул: — Быстро на коней — и в часть! Там доложим обо всем!

Солдаты силой стащили Абрама и Тарлана с коней. Тарлан в каком-то беспамятстве вырвался из их рук, схватил своего коня за узду, но один из солдат, рассвирепев, с силой ударил его прикладом в грудь. Тарлан охнул и сел на землю.

— За что ты бьешь его, зверь? — закричал Абрам.

Но разведчики уже вскочили на коней и, спасаясь от приближающихся аскеров, поскакали к ущелью.

Друзья остались одни на дороге. Абрам с братской заботливостью склонился над Тарланом и приложил к месту ушиба холодную мокрую траву.

Вскоре к ним подошли аскеры. Один из них, офицер, пристально посмотрел на Тарлана и вдруг воскликнул:

— Тарлан! Брат!

Тарлан с трудом признал в офицере своего старшего брата Нурали, давно отбившегося от семьи. Они не виделись вот уже несколько лет.

— Брат! Спаси нас! Это мой друг, Абрам! Он столько для меня сделал!

Но Тарлан жестоко ошибался, думая встретить сочувствие в своем брате. Нурали брезгливо покосился на Абрама и гневно спросил:

— Нечестивый, где ты подобрал этого армяшку? Нашел с кем дружить — с гяуром! Не знаешь, что для сына турка это позор?

Тарлан плакал, просил брата сжалиться над Абрамом, но все было напрасно. Абрама по приказанию Нурали расстреляли.

8

— И тогда я сказал себе: «У меня нет больше брата!» — закончил свой рассказ Тарлан. — Нурали — убийца, он разлучил истинных братьев...

В эту ночь Тарлан долго не мог уснуть. Прощаясь, Ханлар попросил его подумать: как, по его мнению, следует поступить с Нурали? Он решил, видно, испытать своего ученика. Ну что ж, Тарлан без колебаний ответит ему: «Для Нурали мало любого наказания! Мы — враги с давних пор, а теперь Нурали и вовсе погряз в преступлениях. Жалкий, подлый человечишка, продавшийся иностранной разведке... Нет, пусть он не ждет пощады! Найдутся, конечно, жалостливые души, которые сочтут меня трусом, упрекнут за то, что я не вступился за родного брата... Но я буду тверд до конца».

Бессонница все-таки дала себя знать: лицо у Тарлана осунулось, стало серым как пепел, и один из агитаторов, ночевавший с Тарланом в одной комнате, взглянув на него утром, сказал:

— Не расстраивайся, Тарлан. Я думаю, Ханлар не решится расстрелять твоего брата.

— А тебе-то что за горе? — вскипел Тарлан. — Своих забот не хватает?

— Да нет, я так... Все-таки ведь родной брат! Нелегко тебе посылать его на смерть! Я вижу.

Тарлан еле сдержался, чтобы не ответить ему новой грубостью.

Вскоре к нему зашел Ханлар. Тарлан встретил его вопросительным взглядом: его удивил этот ранний визит. А Ханлар улыбнулся другу и укоризненно покачал головой:

— Ты, я вижу, и не отдыхал сегодня?.. Пойдем-ка ко мне, Тарлан, мне надо с тобой поговорить.

Тарлан не стал дожидаться, пока Ханлар напомнит ему о вчерашней беседе. Как только они вошли в кабинет, он твердо сказал:

— Если бы это было можно, я сам расстрелял бы предателя! Вот мой ответ тебе, товарищ Ханлар!..

Вскоре к Ханлару снова привели Нурали. Но ни один мускул не дрогнул на лице Тарлана; он даже не взглянул на брата. Его приговор был искренним и бесповоротным.

— Отправляйся в Биттили, дорогой, — мягко сказал Ханлар, — только смотри, будь осторожен! А вопрос о твоем брате мы решим сегодня на заседании тройки.

Тарлан ушел, а Ханлар продолжил допрос:

— Тебя кто сюда прислал?

— Бесполезно спрашивать: я все равно ничего не скажу.

— Может быть, ты скажешь, сколько золота получил от иностранной разведки?

Нурали молчал.

— Мне самому назвать сумму? Я ведь все знаю. Мы арестовали еще двух твоих сообщников; из их показаний видно, что единственное занятие мусаватистов-эмигрантов — шпионаж!

— Все знать — это, видимо, входит в ваши обязанности, — усмехнулся арестованный.

— Главная моя обязанность, — спокойно сказал Ханлар, — покончить с затеянной вами авантюрой!

Наступила долгая пауза.

Ханлар смотрел на убийцу с гневом и презрением. Среди врагов, с которыми ему приходилось встречаться лицом к лицу, были люди сильные, смелые, лютой ненавистью ненавидевшие новую власть. В борьбе с такими он и сам лучше чувствовал свою силу. А сейчас перед ним сидел подленький, изворотливый шпион, продавшийся тем, кто больше заплатил. Переборов чувство отвращения, Ханлар спросил:

— Скажи, ты хоть немного любишь своего брата?

— Я и забыл, что у меня есть брат. Жалею, что не разделался с ним в свое время!

— Значит, и он прав, что тебя следует расстрелять?

— Иного я и не ждал! Надо отдать вам справедливость: у него хорошая выучка!

— Тарлана не надо учить. Он сам учитель. А вот ты... Тебя не назовешь способным учеником! Шпион из тебя вышел неважный. Грубо работаешь!

Нурали резко поднялся.

— Хватит, я не намерен больше отвечать на ваши вопросы.

— Да какие еще могут быть вопросы? — с прежним хладнокровием сказал Ханлар. — Все ясно. Если на роль вожаков предназначаются такие бездарные офицеры, как ты, мятеж заранее обречен на неудачу! Не нужно даже вызывать красноармейцев: пусть поберегут силы для борьбы с более опасным врагом!

9

Наконец настал день, когда долгожданный имам должен был явиться народу. Возбуждение толпы достигло предела. Все взоры были прикованы к часовне. Те, кому не удалось пробиться вперед, вставали на цыпочки, в нетерпении шарили глазами поверх голов. Слепцы и калеки заранее подыскивали достойные слова, чтобы приветствовать святейшего имама.

Толпа все росла; росло и общее нетерпение. В эти минуты оставались спокойными лишь агитаторы, и среди них Тарлан. Тарлан знал, что молла Гашам, испугавшись решительных действий тройки и размаха агитации, бежал прошлой ночью и на всякий случай прихватил с собой деньги, пожертвованные имаму. Благодаря бдительности агитаторов тройке удалось изловить наиболее опасных вражеских агентов. Восстание, таким образом, было обезглавлено, планы врага сорваны. И агитаторы пришли сегодня для того, чтобы довершить начатое и до конца разоблачить вражескую аферу. Обман должен был скоро раскрыться, и Тарлан смеялся в душе и над мошенниками, обманывавшими народ, и над простаками, поддавшимися обману.

Тарлан пробрался поближе к часовне и увидел здесь нескольких эллярцев. С ними был и Гюльали-оглы. Тарлан подошел к нему и удивленно спросил:

— Ты-то какими судьбами, Гюльали-оглы?

— А, учитель! И ты тут?.. — обрадовался простодушный Гюльали-оглы. — Тоже к имаму? Он, говорят, скоро выйдет к нам, — да буду я его жертвой! — и я умолю его пособить мне, вылечить глаз... Я уж и прошение написал. И двадцать раз прочел ясинскую суру[1]. Да, раз двадцать, не меньше!

---

[1] Ясинская сура — одна из частей корана.

— И ты тоже веришь всему этому? — усмехнулся Тарлан. — За обман платишь золотом? Да не будь дураком, пожалей свои деньги! Вас завлекли в западню, а гроши ваши текут в карманы пройдох и тунеядцев! Знаешь, где сейчас сундучок с пожертвованиями? У моллы Гашама! А сам молла уже далеко. Он похитил деньги и удрал!..

Слова Тарлана ошеломили Гюльали-оглы. Ведь он уже отдал молле-казначею все свои сбережения! Он стоял, растерянно оглядываясь по сторонам, а Тарлан громко повторил:

— Молла Гашам убежал с вашими деньгами! Не верите — загляните в часовню. И если вы найдете там моллу Гашама, можете считать меня самым отъявленным лжецом. Пусть несколько человек зайдут в часовню!

Весть о побеге моллы побежала от паломника к паломнику, как огонь по сухой траве.

— Молла Гашам бежал!

— Да ты что, в уме?

— Врет он!

— А может, правда?..

— Эй, люди! Это подлая клевета!

— Да что мы стоим? Пойдем взглянем!

— Верно! Посмотрим сами!

— Эй, за мной!

— Обождите! Сейчас он выйдет!

— Дурак, да его уж и след простыл!

— За мной! Идемте в часовню!

Несколько человек (к ним присоединился и Тарлан) взломали запертую на ключ дверь часовни и ворвались внутрь. В часовне и правда никого не было, кроме дремавшего у стены престарелого моллы-казначея. Услышав шум, он вздрогнул и вскочил на ноги. Со всех сторон на него посыпались вопросы, но он, видно, и сам был одурачен моллой Гашамом и только повторял, заикаясь от страха:

— Не знаю, дети мои... Ничего не знаю! Откуда мне знать?

Тарлан потряс его за плечи.

— Где молла Гашам?

— Не знаю, да падут твои беды на мою голову!

— А когда он ушел?

— Ночью. Взял сундучок с пожертвованиями и ушел.

Я думал, он скоро вернется, а его все нет. Ткнулся в дверь — заперта. Уж не сбежал ли он?

Молла-казначей совсем недавно появился в Биттили; многие его еще не видели; и когда он вышел из часовни, толпа с взволнованным гулом хлынула ему навстречу и над головами взвились восторженные крики:

— Имам! Это имам!

Мусаватистские последыши — из тех, что остались еще на свободе, — узнав о бегстве моллы Гашама, опешили: это и для них было новостью. Но вскоре они оправились от растерянности и поспешили воспользоваться случайным недоразумением. Они окружили казначея; кто-то упал к его ногам; кто-то приник поцелуем к полам его одеяния, а паломники, лишь недавно перешедшие в мусульманство, с особой одержимостью целовали руки «имама».

Молла бил себя в грудь, клялся, что он не имам, но его и слушать не хотели. Вражеские провокаторы не выпускали его из толпы; они цепко держали моллу за полы длинной абы и в исступлении вопили:

— О святейший имам! Мы знаем, ты имам!

Собрав все свои силы, молла рванулся вперед, и в руках паломников остался порядочный клок священной абы. Ее тут же разодрали на мелкие лоскутья, паломники мгновенно расхватали их и прилипли к ним жаждущими губами. В ход пошла даже подошва, отлетевшая от старого башмака моллы: ее с благоговением прижимали к груди, на нее молились!..

Тарлан взбежал на возвышение перед часовней и жестом призвал толпу к молчанию. Но паломникам было не до него. Бурным потоком они устремились за «имамом».

Наконец выяснилось, что имам вовсе не имам, а молла из Сальян. В первые минуты воцарилось гробовое молчание. А потом толпа заволновалась, забурлила; разъяренные паломники ринулись на часовню, разнесли ее в щепки; кто-то отшвырнул ногой сундук, и Тарлан еле успел поймать вылетевших из колодца голубей. Казалось, над Биттили разразилась буря, буря гнева, все сметающая на своем пути. Над моллами, шнырявшими в толпе, чинили крутую и короткую расправу.

— Нас обманули! — кричали «правоверные». — Бей их, сукиных детей!

И в эту минуту от часовни донесся спокойный, ровный голос. Его услышали все, потому что это был голос человека, который любил народ, искренне заботился о его благе и звал на верную, прямую дорогу.

— Послушайте меня! Нет здесь больше ни моллы Гашама, ни трудовых рублей, которые вы ему отдали. А кто виноват? Вы сами! Почему вы дали себя обмануть?

Подняв высоко над головой голубей, Тарлан повторил:

— Стыдитесь: вас провели, как маленьких! Вот он, «голос имама» — обыкновенные голуби! Кому вы поверили? Плуту молле? Да ведь ясно же, что пока живы моллы гашамы, они все будут делать для того, чтобы затуманить вам головы, лишить вас слуха и зрения! Им это выгодно! А вы, вы-то чего добились? Вы бросили все свои дела и толпами повалили в Биттили. Вы не спали ночами и целые дни проводили на ногах! А кончилось тем, что вас жестоко обманули. Простите меня, я вовсе не хочу обидеть вас еще больше, в особенности тех, кто по простоте души искренне поверил лживым слухам! Но я должен сказать вам правду: никакого имама нет и никого он не исцелял! Вы уже сами начинаете в этом убеждаться. Скажу больше: вся эта затея с имамом нужна была нашим врагам! Они думали обмануть вас, а потом использовать в своих гнусных целях. Их подлые планы в конце концов провалились, и нет сейчас здесь ни моллы Гашама, ни бандита Фарман-бека, ни офицеров-мусаватистов, ни иностранных шпионов. Но вы все-таки попались на их удочку. И кто же в выигрыше? Враги! Они оторвали вас от дела, задержали сев хлопка. А кто в убытке? Да только вы, вы сами!.. Теперь вам одно осталось: засучить рукава — и скорей за работу! На вашей земле не появился имам, так пусть одарит она вас богатым урожаем хлопка!

Тарлан чувствовал: толпа верит ему. Лишь немногие смотрели на него непонимающе, с неприязнью. Может, слова его оказались не так доходчивы, как речи моллы Гашама? Нет, Тарлан говорил на доступном народу языке. Но он не скрывал от людей правду, горькую как яд.

10

Солнце скрылось за снежными вершинами гор, а толпа все не расходилась. Люди стояли не шевелясь и во все глаза смотрели на далекие огни, которые с каждой минутой становились все больше и больше.

От станции шла в Биттили тракторная колонна, прибывшая из Кировабада. Фары щедро лили на толпу яркий, торжествующий свет. Гул моторов все нарастал, ломая тишину, нависшую над полями.

Огни тракторов приближались к истоптанным полям вестниками новой жизни.

11

Ашуги настраивали звонкие сазы. Без ашугов, как известно, не обходится ни один праздник, ни одна свадьба, а сегодня было особенно много охотников послушать их чудесные песни. Один из ашугов — высокий, с голубыми глазами — постыдил сначала простаков, которые не послушались его совета и притащились-таки в Биттили, а потом прижал к груди свой саз, и высокий голос его эхом отдался в горах, обступивших поля:

Железо с деревом! Поет,
Не сплетничает и не пьет,
Не лжет и взяток не берет.
Ну, в чем повинен струнный саз? [1]

Ашуг пел и танцевал с явным удовольствием; зубы его сверкали в веселой улыбке. А крестьяне узнавали в чувствах и мыслях певца свои собственные, и все большее волнение овладевало ими. У многих на глазах выступили слезы. Но это были слезы радости.

Тарлан стоял, обняв за плечи своего соседа-колхозника, и беззаботно смеялся, слушая ашуга. А Ханлар (он поспешил в Биттили, как только донесли ему о прибытии тракторов) хмурился: он не мог забыть, что враги на его глазах бессовестно обманули простой народ.

Но теперь все огорчения позади! На одном краю поля звенели сазы, на другом — деловито гудели тракторы, распахивавшие поле под хлопок. Земля пробужда-

[1] Перевод К. Симонова.

лась от долгого сна; всюду разлито было дыхание всепобеждающей жизни.

Ашуг бросил вызов своему товарищу. Второй ашуг был постарше и пониже ростом, а черные глаза его сияли неугасимой любовью к людям. Он попросил у своего соперника извинения и, прежде чем запеть, обратился с вопросом к одному из колхозников:

— Сын мой, почему ж это имам не исцелил тебе глаз?

Колхозник засмеялся.

— Да падут на меня твои беды, — я в день ашуры[1] играл на гармонике!

— А ты? — повернулся ашуг к другому крестьянину. — У тебя тоже не сладилось?

— Ай, дорогой, я не знал старого шрифта!

Ашуг нашел взглядом еще одного знакомого:

— А тебе что ответил священный имам?

— Что он мог мне ответить? Я ведь успел уже посеять хлопок.

— И моему другу Наги тоже отказал?

— У того денег не хватило. Ай, да плюнь ты на все это, не огорчайся по пустякам!

Все рассмеялись; и хоть не хотелось крестьянам склонять перед ашугом повинные головы, но смех этот означал, что они признают себя побежденными.

— А ну-ка, ударь по струнам! — обратился ашуг к своему товарищу. — Видишь, у меня нет бороды, поэтому меня никто не послушался! Но что было, то прошло. Так ударь по струнам! Попытаем счастья!

И вновь зарокотали струны сазов.

Один из крестьян, обидевшись за что-то на ашуга, завел громкий разговор со своим приятелем. Но сосед Тарлана прикрикнул на него:

— Эй, потише! Это тебе не проповедь моллы Гашама! Не мешай слушать!

Друзья, послушайте мой саз!
О новом чуде будет сказ!
Произошло оно как раз
У нас, в деревне Биттили!

Высокий ашуг больше минуты тянул последнюю ноту, и зрители восторженно закричали: «Спасибо, ашуг!» По-

[1] Ашура — религиозный праздник, день траура.

том оба ашуга в танце прошлись по кругу, и в состязание вступил второй певец:

Мудрец из дома ни на шаг!
Ведь он мудрец, а не ишак!
А глупый поступил не так:
Побрел в деревню Биттили!

И этого певца наградили благодарными возгласами: «Спасибо, ашуг!» Люди, казалось, забыли об усталости; веселье все разгоралось.

Молла нам вдохновенно врал;
Ему внимали стар и мал;
А он рубли у нас забрал —
И наутек из Биттили! [1]

Вместе со всеми от души смеялся и Тарлан. Он с восхищением смотрел на ашугов: они пели, как соловьи, и песням их вторил переливчатый говор сазов, вдохновляющий их на новые и новые песни.

Это с чудесной силой звучал голос самого народа.

12

Было уже за полночь. Ашуги все продолжали петь, но толпа постепенно редела. Поезда увозили из Биттили злополучных паломников. Пассажиры возвращались домой ни с чем, только сердца их были полны ненависти к обманщикам и желания поскорей взяться за работу.

В поле все еще было светло от тракторных фар и ни на минуту не умолкал гул моторов.

Доски часовни давно сгорели в пламени костра. Голуби улетели под родные кровли.

Пора было разъезжаться и нашим друзьям. У Тарлана даже сердце защемило, когда он прощался с Ханларом. Ханлар напоследок порадовал друга: оказывается, молле Гашаму не удалось уйти далеко — его поймали.

— А ты теперь опять как в воду канешь? — пошутил Ханлар и с улыбкой пригрозил: — Смотри, если будешь в Баку и уедешь, не повидавшись со мной, всерьез обижусь!

Тарлан взволнованно ответил:

---

[1] Перевод Ю. Карасева.

— Ты знаешь: Нурали не был мне братом. Единственный мой брат — это ты. Ведь мы сыновья одной матери — великой партии!

И они расстались как родные братья.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Шариф-заде, падкий до красивых женщин, не прочь был приволокнуться за молодой учительницей Садаф-ханум. Но даже и в этом он не был волен, и ему пришлось прикинуться влюбленным лишь для того, чтобы выполнить грязное поручение Фарман-бека.

Фарман-бек прислал ему эмигрантскую мусаватистскую газету. Врач вложил ее в конверт, отправил по почте Садаф-ханум и принялся следить, когда к дверям ее дома подойдет почтальон.

Получив мусаватистскую газету, Садаф-ханум удивилась и встревожилась. Посоветоваться ей было не с кем (в таком деле она могла довериться только Тарлану, но он еще не возвратился в деревню), и после некоторого раздумья она решила уничтожить газету и никому о ней пока не говорить. Но только она собралась исполнить задуманное, как в дверь без стука вошел Шариф-заде: Садаф-ханум не успела даже убрать газету со стола.

— О, доктор! — воскликнула она с удивлением. — Какими судьбами?

— Да вот зашел поболтать. Как ваше здоровье, дорогая Садаф-ханум?

— Лучше и не надо! — улыбнулась учительница. — Да вы присядьте, пожалуйста.

Она потянулась было за газетой (надо поскорей ее выбросить!), но врач опередил учительницу.

— Простите, можно посмотреть?

Садаф-ханум и не пыталась отнять у Шариф-заде газету: она была слишком растерянна. А врач пробежал заголовки и оторопело воскликнул:

— Что за бред! Мусаватистская газета?

— Я нашла ее вот в этом конверте, — объяснила Садаф-ханум. — Ума не приложу: кто мог ее прислать?

— Вот несчастье-то! — с притворным сочувствием вздохнул врач. — Да вы знаете, чем вам это грозит? Если кто пронюхает, не видать вам ни школы, ни комсомола! Вас ведь могут заподозрить в сообщничестве с вашим дядюшкой!

— Все знают, что я ненавижу его!

— Э-э, ханум, да вы словно малое дитя! Как вы докажете, что письмо не от Фарман-бека? Кто решится выступить в вашу защиту? Тарлан? Да он первый спрячется в кусты: кому охота рисковать своим авторитетом!

— Но я же ни в чем не виновата! — в отчаянии крикнула Садаф-ханум. — Кому-то понадобилось запятнать меня, вот мне и подкинули эту газетенку.

— Верю, верю, вам, дорогая Садаф-ханум. Но где доказательства? — Врач помолчал. — М-да, незавидное у вас положение... Вас и арестовать могут!

— Арестовать? Да за что?

Шариф-заде печально улыбнулся, покачал головой. Потом встал, подошел к учительнице и сказал проникновенным голосом:

— Вы знаете, дорогая Садаф-ханум, я люблю вас... Да, да, люблю! И мне очень хотелось бы помочь вам выбраться из беды. Но что я могу сделать? Я ведь коммунист и не вправе скрывать что-нибудь от партии.

Врач подошел к окну, взял одну из книг, лежащих на подоконнике, рассеянно перелистал и вновь обернулся к учительнице.

— Я вижу: вы всю себя отдаете работе! Этого никто не будет отрицать. Но если на вас падет хоть тень подозрения, вас ничто не спасет. Хочется думать, что все это как-нибудь обойдется, и я не советую вам особенно волноваться, но... кто знает?

На кухне в это время закипел чайник, и Садаф-ханум пошла снять его. Воспользовавшись ее отсутствием Шариф-заде вложил что-то в одну из книг и, выхватив из стопки другую, принял вид человека, углубленного в чтение. Когда Садаф-ханум вернулась, он поднял голову от книги и, словно решившись на что-то, сказал:

— Вот что, Садаф-ханум... Для вас я на все готов, и я не дам вас в обиду. Я не могу допустить, чтобы погубили молодого, способного педагога! Сожгите эту га-

зету. Да, да, сожгите. Потом мы еще поговорим с вами об этом загадочном происшествии. А пока я спешу: больные, наверное, уж заждались, а мне еще надо забежать домой за фонендоскопом.

После ухода врача Садаф-ханум сожгла и конверт и газету, но весь день места себе не находила и в школу пришла необычайно взволнованная.

Когда на другой день Садаф-ханум встретила на улице врача, то искренне обрадовалась этой встрече: она верила, что он желает ей добра. Садаф-ханум пригласила его к себе в гости, и дома между ними завязалась оживленная беседа. Врач засыпал девушку комплиментами, говорил о любви, и нельзя сказать, что Садаф-ханум слушала его без удовольствия.

Во время разговора Шариф-заде снова начал рыться в ее книгах, и вдруг из одной выскользнуло какое-то удостоверение. Врач жадно схватил его и, просмотрев, удивленно поднял брови:

— Как, Садаф-ханум? Вы, оказывается, и правда мусаватистка?

Садаф-ханум решила, что врач шутит, хочет напугать ее, и с улыбкой спросила:

— Что это вы там нашли?

— Это членский билет, удостоверяющий вашу принадлежность к мусаватистской партии, — спокойно объяснил врач. — Так вот вы, оказывается, какая! Вот уж не думал, не гадал!

Садаф-ханум так и застыла на месте, а врач подошел к ней и, усмехаясь, погладил по голове:

— Ай-ай-ай... Слывет такой примерной комсомолкой! А дома прячет этот билет. Выходит, вы все еще поддерживаете связь со своим дядей?

— Это ложь! — крикнула Садаф-ханум. — Подлая ложь! — Она с ненавистью посмотрела на Шариф-заде, отступила на шаг и, сдерживая слезы, повторила: — Это клевета, грязная провокация! Я и в глаза не видела этого билета!

— Успокойтесь, ханум... Зачем бросаться громкими словами? Тут стоит ваша собственноручная подпись.

— Этого не может быть!

— А вы взгляните.

Садаф-ханум с опаской, словно ядовитую змею, взяла

удостоверение, и сердце у нее упало: билет действительно был подписан ее рукой.

— Но я не подписывала его! Меня, верно, пожелал опорочить какой-то негодяй, продавший свою совесть! Иногда я оставляю дверь незапертой, вот он и подсунул мне эту пакость! Мерзавцы! На какие только подлости они идут, чтобы очернить честных людей!

Врач с трудом подавил свою радость (ловко ему удалось опутать девчонку!) и глубоко вздохнул.

— Я-то, может, и верю вам, Садаф-ханум. Но как вы оправдаетесь перед другими? Подпись в билете — ваша, печать — мусаватистской организации. Дядя у вас — главарь банды, да к тому же старый мусаватист! Улики налицо. Вас легко обвинить в том, что вы путаетесь с бандитами и мусаватистами. И как бы вы ни отпирались, вам все равно никто не поверит! То, что я видел у вас билет, это еще полбеды. Но о нем, кажется, успели проведать и другие. Вчера, например, со мной поделился своими подозрениями один комсомолец. Только я и слушать его не стал: обругал и выгнал.

— Комсомолец? Кто это?

— Не знаю; он мне до этого не встречался. Да вы сами его скоро увидите: он собирается рассказать обо всем на комсомольском собрании. — Врач задумался. — Прямо ума не приложу, как помочь вам! Может, вы дадите мне этот билет, и я его пока припрячу у себя? Только, чур, никому ни слова!

Преувеличенное сочувствие врача, его навязчивая готовность «помочь» Садаф-ханум — все это настораживало. Странным казалось и то, что он повадился к ней именно в последнее время. Садаф-ханум взволнованно прошлась по комнате, испытующе взглянула на врача и твердо произнесла:

— Я знаю, что мне делать. Надо немедленно ехать в город и сообщить обо всем в ГПУ! Уж там-то сумеют докопаться до правды.

— Нет, Садаф-ханум! — обеспокоенно воскликнул врач. — Не делайте этого! Вы что, за решеткой хотите очутиться? Ведь они же задержат вас!

— Все равно я поеду! — упрямо повторила девушка и направилась было к двери, но Шариф-заде преградил ей путь:

— Стойте! Прошу вас, поберегите себя! У вас один

путь к спасению: молчание. А я постараюсь разыскать этого комсомольца и уговорю его держать язык за зубами.

На глазах у Садаф-ханум выступили слезы.

— Вы что же, всерьез думаете, что я принадлежу к мусаватистской партии? Ладно, думайте, что хотите. Но придет время — и правда восторжествует!..

2

В полночь, когда деревня спала глубоким сном, к каменному дому, находившемуся в двадцати — тридцати шагах от школы, подъехал всадник. Он перекинул за плечо винтовку и осторожно, стараясь не шуметь, слез с коня. Свернув бурку, всадник приторочил ее к седлу, пощупал платок на морде лошади, затем привязал ее к столбу возле конюшни и, с опаской оглянувшись по сторонам, подбежал к дому и постучал.

— Кто там?

— Это я, ханум, я, Мадат.

— Мадат? Что тебе тут надо? Или головы не жалко?

— Тише! Никто не должен знать, что я в деревне!

Мадат поспешно вошел в комнату, прибавил огня в лампе и, не снимая винтовки, сел на тахту. Жена Фарман-бека, жившая в этом доме, спросила:

— Зачем ты пришел сюда?

— За тобой, ханум! — коротко ответил бандит.

— Куда же ты собираешься меня везти?

— К Фарман-беку.

— К Фарман-беку?..

— Ну да, к нему! Чего же тут удивляться? Твой муж жить без тебя не может! Ха-ха! В ближайшее же время он думает перейти со своим отрядом границу и не хочет оставлять тебя на растерзание большевикам. Бросить жену — бесчестье для правоверного.

Женщина слушала его молча, не поднимая глаз. Мадат торопил ее:

— Ну, живее! Собирайся — и едем. Мне опасно долго тут оставаться. Нас всюду ищут, и если мы попадем в руки большевиков, болтаться нам на одной веревке!

— Никуда я не поеду! — тихо сказала жена Фарман-бека. — Бог видел, как муж измывался надо мной!

— Ай, ханум, неладное говоришь! Собирайся. Один я отсюда не уйду. Хозяин строго-настрого наказал мне: без тебя не возвращаться. Останешься здесь — тебя заберут, ушлют бог знает куда!

— Пусть делают что хотят.

Мадат недоверчиво улыбнулся.

— Уж не надумала ли ты отказаться от своего мужа?

— Я уже давно от него отказалась.

— Ай, ханум! Не будь ребенком! Собирайся, я жду тебя.

Но женщина решительно повторила:

— Я не поеду. Передай Фарман-беку, что с этого дня у него нет жены с моим именем!

Мадат поднялся с тахты, вышел на улицу и, вскочив на коня, помчался к долине Махмудлу. Проехав долину, он свернул в лес и вскоре оказался среди бандитов, с нетерпением поджидавших своего товарища. Фарман-бек хмуро выслушал Мадата, вскочил на коня и поскакал в деревню Элляр.

3

В эту ночь Садаф-ханум засиделась в классе, проверяя тетради своих учеников. Вдруг до нее донесся чей-то душераздирающий вопль. Девушка сорвалась с места, выбежала на улицу и увидела всадника, удалявшегося от дома жены Фарман-бека.

— Держите, держите его! — закричала Садаф-ханум. Но всадник уже скрылся в ночной темноте.

Вскоре учительницу окружили переполошившиеся крестьяне.

— Что за беда стряслась?

— Послушайте, как страшно кричит жена Фарман-бека!.. Разве вы не слышите?

Все кинулись в дом. В комнате было темно. Крестьяне разыскали и зажгли лампу. Но бедная женщина ничего не видела перед собой и кричала все громче.

— Что случилось? — спросила Садаф. — Почему ты так кричишь?

Женщина замолкла, но ничего не отвечала — то ли от стыда, то ли от страха.

Садаф попросила крестьян выйти.

— Подождите меня на улице. Она, наверно, стесняется вас.

Когда она осталась наедине с женой Фарман-бека, та снова застонала:

— Я умираю, Садаф. Умираю...

— Что с тобой?

Женщина показала багровые полосы, которые оставила на ее теле плеть мужа.

— Видишь, на мне живого места не осталось! Я боюсь, Садаф, меня всю трясет... Только сейчас здесь был Фарман-бек. Никогда еще я не видела его таким разъяренным. Посмотри на мои ноги: они все в крови! Только богу известно, как он мучил меня!

Женщина извивалась от боли, но все же продолжала говорить:

— Я слышала, многие из его людей разбежались. Сам он в наших краях последние дни. Слава богу, последние!.. Вот он и бесится. Он искал Тарлана, но не мог найти. И выместил всю свою злость на мне. Он приказывал мне идти с ним, а я... я крикнула, что никуда не пойду. Пусть твои беды падут на мою голову, Садаф, научи меня, как быть, вырви из когтей этого зверя!

Она обняла Садаф, прижалась головой к ее груди. Но в это время скрипнула дверь, и женщина в страхе закричала:

— Это он, Садаф! Он вернулся! Защити меня. Он теперь не отстанет! Он убьет меня!

Жена Фарман-бека заметалась по комнате, накинула себе на голову одеяло и, отбежав в дальний угол, прижалась спиной к столбу, подпиравшему крышу. Садаф поспешила успокоить ее:

— Не бойся, это не он. Это Тарлан.

Опасаясь еще больше напугать женщину, Тарлан остановился в дверях и, обращаясь к Садаф, тихо спросил:

— Что тут произошло?

Садаф рассказала ему обо всем, и в душе у Тарлана поднялась волна ненависти к Фарман-беку, к его подручным, ко всем этим мерзавцам, поганящим землю! Он подошел к жене Фарман-бека и с ласковой укоризной сказал:

— Вы и сами виноваты, ханум... Почему вы молчали все это время? Боялись, что вас убьют? Да честное

слово, лучше уж умереть, чем жить так, как вы! Ай, Садаф!.. Ты-то, ты чего разревелась, комсомолка?.. А ну-ка, утрите слезы. Одевайтесь, ханум, пойдем с нами. И не бойтесь вы Фарман-бека! Он сам последний трус. Нашел с кем воевать — с беззащитной женщиной! Знаете пословицу? Кошка только с испугу царапает лицо человеку! Идемте, ханум.

4

— Кое-кто уверяет, что я до сих пор предана своему дяде. Это ложь, товарищи, черная, бесстыдная клевета! При одном его имени меня охватывает гнев и возмущение! На днях кто-то подсунул мне мусаватистское удостоверение. Уверена, что и тут не обошлось без моего дядюшки! Он думал, наверно, что я попадусь в ловушку, притихну! Но он ошибся! Ему не удастся заткнуть мне рот!

Школьный двор был битком набит крестьянами. Только что взошло солнце. На цветах еще сверкала утренняя роса. А на щеках жены Фарман-бека, стоявшей рядом с Садаф, блестели слезы.

— Поглядите-ка на жену этого злодея, — продолжала Садаф. — Видите, как он ее изувечил? Вот оно, звериное нутро Фарман-бека! Вот оно, нутро бандитов, мечтающих растоптать наше счастье! И я говорю при всем народе: проклятие бандитам!

Садаф закончила речь, но никто не аплодировал ей. Все были потрясены жестокостью расправы, учиненной Фарман-беком над женой. На плечах, на шее у нее виднелись следы от ударов плетью; щеки были залиты слезами. И эти слезы и эти багровые полосы на теле взывали к отмщению.

5

Ночью полил дождь. До земли протянулись тугие водяные жгуты — хоть карабкайся по ним в небо! Молнии кинжалами рассекали тучи; удары грома могли поспорить с орудийными залпами. Вершины дальних гор скрылись за плотной завесой дождя.

И вскоре разлилась Кура.

Гроза бушевала все яростней. Выйти из дому было

сейчас опасней, чем стоять в окопе, находящемся под беспрерывным обстрелом. Когда дождь на время переставал, становилось слышным завывание ветра. А когда утихал и ветер, то до слуха доносился глухой гул воды, подмывавшей дамбу. Стены из земли и камней рушились под ее напором, и казалось, что ухают вдалеке пушки.

Кура разлилась.

Деревня Элляр была расположена почти на самом берегу: от реки до окраинных домов было шагов сорок— пятьдесят. И взбесившаяся Кура, размыв берега в верховьях, в ярости набросилась на эти дома.

В деревне поднялся плач. Дети с криком бежали к школе. Хозяева разрушенных домов метались по берегу, кидались прямо в одежде в воду, чтобы спасти хоть часть вещей, уносимых потоком.

Тарлан в этот день чувствовал себя усталым и больным. Но, услышав встревоженные голоса, доносившиеся с берега, он вскочил с постели, торопливо оделся и, накинув на плечи плащ, выбежал из дому.

На береговой окраине села путь ему преградил бурлящий, стремительный поток. Ветер и дождь утихли, но разгневанная Кура все надвигалась и надвигалась на поля, на деревню.

Тарлан послал одного из своих учеников за председателем сельсовета и Мурсалом-киши и велел созвать всех коммунистов и комсомольцев.

Пока крестьяне собирались у школы, Кура успела смыть еще несколько жилищ.

Тарлан с тревогой смотрел на разбушевавшуюся стихию. Он никак не мог предположить, что этой весной Кура разольется так бурно.

Тарлана знобило, но он старался побороть недомогание. Повернув голову, он оглядел школьный двор. Там было уже много крестьян из нижней части деревни. Для них наводнение представляло непосредственную угрозу. Крестьяне, которым не грозила опасность, были медлительней. Одни из них, поворчав на то, что их разбудили, возвращались к теплым постелям, другие шли к школе, но шли неохотно, словно их звали слушать новую длинную речь Гаджи-оглы.

Тарлан снова перевел взгляд на бушующие волны реки, прислушался к крику ребятишек, бегущих прочь

от берега. Со стороны могло показаться, что он равнодушен к происходящему, но на самом деле Тарлан волновался, как никогда: он хорошо знал крестьян, оставшихся без крова. Все это были бедняки. Крестьяне побогаче жили в верхней части деревни, недостижимой для Куры. Над черепичными крышами их домов спокойно вились дымки.

Услышав за собой чьи-то шаги, Тарлан обернулся. К нему медленно приближался Мурсал-киши. Оглядев берег, старик сокрушенно покачал головой:

— Ай-ай... Что же нам делать, Тарлан? — И, помолчав, повторил: — Что же делать?

Мурсал-киши говорил так, будто слова из него вытягивали щипцами. Однако Тарлан ничего не сказал в укор старику и поспешил поделиться с ним своими мыслями.

— Мы должны остановить этот поток! Иначе он унесет с собой добрую половину деревни! Я здесь не больше двадцати минут, и за это время уже смыло четыре землянки. А ты посмотри, что делается на полях! Паводок угрожает посевам хлопка.

— Что правда, то правда... Надо бы помочь людям перебраться куда-нибудь из прибрежных домов.

— Ну что ты за человек, Мурсал-киши! — сердито воскликнул Тарлан. — Первым делом надо собрать народ и остановить наводнение! Где ж это Гаджи-оглы застрял? Я послал за ним уже давно. Вот они — наши коммунисты!

В это время к ним подбежал запыхавшийся Гаджи-оглы. За спиной у него болталась винтовка.

— Доброго здоровья, учитель! Извини, что запоздал. Я недавно выходил на берег; все было спокойно. А потом слышу: крик, шум...

Гаджи-оглы был куда проворней старого Мурсала-киши. Выслушав Тарлана, он крикнул окружившим их крестьянам:

— Эй, что стоите без дела? А ну, берите мешки, лопаты и тащите их на берег! А ты, парень, чего ждешь?.. Живей поворачивайся! Поживей, поживей, товарищи!

Крестьяне, знавшие крутой нрав Гаджи-оглы, после первых же его слов кинулись искать мешки и лопаты, а Гаджи-оглы принялся обходить ближние дома.

— Эй, люди! Готовьте арбы! Да быстрее, быстрее!..

На зов его сбегались крестьяне и тут же мчались об-

ратно запрягать в арбы волов. Зычный голос председателя сельсовета разбудил многих эллярских лежебок: захватив топоры, ломы, лопаты, они со всех ног бежали на берег.

Тарлан подозвал Гаджи-оглы и распорядился:

— Всех на берег! Кроме стариков и детей, все должны быть здесь! Понял?

— Будет сделано, учитель! — с готовностью отозвался Гаджи-оглы.

6

Гаджи-оглы любил Тарлана больше родного брата. Слово Тарлана — закон для Гаджи-оглы. Правда, ему частенько доставалось от учителя на заседаниях партячейки: признавая, что Гаджи-оглы преданный, добросовестный работник, Тарлан критиковал его за левацкие загибы, за то, что он груб с людьми. Но хоть и горько было Гаджи-оглы все это выслушивать, он не обижался на учителя. Он понимал, что каждым поступком Тарлана руководит любовь к народу; ценил Тарлана за скромность и сдержанность и не уставал повторять про себя: «Побольше бы в партии таких людей, как Тарлан!»

Сейчас Тарлан попросил его собрать на берег всю деревню, и Гаджи-оглы обрадовался: он воспринял этот наказ как разрешение расправиться с теми, кто не пожелает ему подчиниться. Резвой рысцой побежал он в верхнюю часть деревни — туда, где красовались дома, крытые черепицей. Хозяева, видно, спали, и Гаджи-оглы со злорадством подумал: «Ох и задам я им взбучку! Теперь они в моих руках!..» Он остановился перед двухэтажным домом с крышей из желтой черепицы, вытер папахой пот со лба и во всю глотку крикнул:

— Эй, Гатам-оглы!

На балконе появился невысокий седобородый мужчина; на нем был архалук чуть длиннее обычного; голова повязана пестрым ситцевым платком. Гатам-оглы скользнул по пришельцу безразличным взглядом и насмешливо спросил:

— Ай, исполком, что случилось? Что тебе от нас нужно? Мы ведь, кажется, сполна уплатили налог!

Гаджи-оглы махнул рукой в направлении Куры.

— Ты что, оглох? Или ты не из этой деревни? Слышишь, Кура разбушевалась!

— Да мне-то что за забота, дорогой мой! На мне свет клином не сошелся!

В подобных случаях Гаджи-оглы не любил долго разговаривать. Он хмуро сказал:

— Людей у нас хватает, но и ты сгодишься. Бери лопату и спускайся вниз. Эй, Салим-киши!

Из соседнего дома вышел весельчак Салим-киши. Обычно он любил побалагурить, подшутить над «исполкомом», но сегодня лицо его было серьезным и пасмурным.

— Что встал подбоченившись, Салим-киши? Ишь напустил на себя форс, словно нищий бек. Шел бы лучше на берег!

— Больше никого не нашли послать за мной?.. — проворчал Салим-киши. Он пробормотал эти слова про себя, но Гаджи-оглы услышал их и ответил крестьянину насмешкой:

— Людей послали за людьми. А за тобой пришлось мне идти...

Салим беззлобно рассмеялся.

— Ладно, уговорил. Иду.

Он взял лопату и отправился на берег Куры.

Гаджи-оглы обошел весь квартал, потом завернул к себе домой, вывел коня и поскакал на другой конец деревни. Отрядив на борьбу с наводнением несколько групп крестьян, он вернулся в квартал Байрамлы. Он был уверен, что «эти сукины сыны» опять попрятались по домам. Так оно и было: Гатам-оглы и Шамиль и не думали идти на берег. В Гаджи-оглы проснулся былой партизан; он спрыгнул с коня и угрожающе крикнул:

— Ишь свиньи, они и в ус не дуют! Будто они не из этой деревни! Меня так и подмывает поставить их всех перед конем и растоптать.

— Ну что ты пристал к нам? — отозвался с балкона Гатам-оглы. — Я же сказал тебе: налог мы уплатили, а остальное нас не касается.

— Видно, налог был небольшой, не то ты не задирал бы носа! А ну, не серди меня, спускайся вниз!

К спорщикам уже спешил Шамиль. Этот был посмелей других, он встал перед разбушевавшимся «исполкомом» и зловеще протянул:

— Эй, открой пошире глаза, взгляни на меня!.. Ты ведь знаешь: я никаких исполкомов не признаю! Сейчас я тебе такое устрою, что ты у меня станцуешь «Даснчорс»[1].

— Гляди, как распетушился! — удивился Гаджи-оглы. — Ты, видно, забыл, с кем разговариваешь?

— Не беспокойся, помню!

Слова эти вывели Гаджи-оглы из терпения.

— А ну, не разговаривать!.. Ступай на берег, если не хочешь отведать приклада моей винтовки! Я тебе не Тарлан! Я так стукну, что ты у меня на голове запляшешь! И не «Даснчорс», а лезгинку! — Он сокрушенно покачал головой. — Ну что мне с вами делать! Позволило б наше правительство расстреливать негодяев, я бы вам тогда показал! Ты б у меня отправился на тот свет с добрыми вестями! Но что поделаешь, приходится с вами цацкаться!

Гаджи-оглы горестно вздохнул, а Шамиль рассмеялся, разлепив свои отвислые красные губищи и показав серые, гнилые зубы. Он шагнул вперед, чтобы схватить Гаджи-оглы за руку. Тот, разгадав его намерение, прижался спиной к лошади и занес для удара приклад винтовки, но вовремя сдержался и предупреждающе произнес:

— Эй, не серди меня!.. Бери-ка лучше лопату — и айда на берег! Зачем нам затевать драку? До добра это не доведет!

Шамиль, однако, продолжал наскакивать на председателя сельсовета, и Гаджи-оглы, выйдя из себя, так стукнул его прикладом в грудь, что Шамиль пошатнулся и отступил назад. Он потянулся было к земле за камнем, но потерял равновесие и шлепнулся в грязь. Конь Гаджи-оглы отпрянул в сторону, увлекая за собой и хозяина. Гаджи-оглы еле удержал его.

— Помните, — крикнул он, — если кто поднимет руку на нашу власть, я отрублю ему руку! Пока Гаджи-оглы жив, таким щенкам, как ты, придется считаться с властями!.. А ну, марш на берег! Ступай погляди, как работают наши парни!

Гатам-оглы, все еще стоявший на балконе, всплеснул руками и с притворным смирением воскликнул:

---

[1] «Даснчорс» — армянский танец.

— Ай, Шамиль, Шамиль! Ну что ты мелешь зря языком? Раз начальство приказывает: иди, значит, надо идти.

Гаджи-оглы сделал вид, что не расслышал этих насмешливых слов, и пригрозил:

— У, сукины дети, контра! Дождетесь вы у меня!

Он косил глазами, а это был дурной признак: видно, его довели уже до белого каления. Шамиль, весь заляпанный грязью, стоял поодаль, но Гаджи-оглы на всякий случай взял ружье на изготовку. «Пусть только пошевелится, пристрелю как собаку! Все они — одна шайка! Сначала учителя ударили, теперь отлынивают от работы!» Не сводя глаз с Шамиля, он вскочил в седло и, хлестнув коня плеткой, крикнул:

— Даю вам десять минут на размышление! Если не придете на берег, упрячу на три дня в каталажку! Найдется на вас управа!

Когда председатель сельсовета ускакал, Гатам-оглы подозвал к себе Шамиля и сердито сказал:

— Ну что ты на рожон лезешь, осел ты этакий? А ну, живо иди домой, седлай коня и спрячься где-нибудь до поры до времени. Теперь, после биттилийских событий, такая заваруха начнется! Фарман-бек и тот собирается удирать! И чего ты шум поднял? Вот посадят тебя, тогда не так заорешь, да только никто не услышит: больно далеко будешь! Сейчас они здесь хозяева. Пожалей себя, дорогой, скройся, пока не поздно.

Шамиль соскреб со своей одежды грязь, пустил вслед «исполкому» крепкое словцо и только после этого ответил Гатам-оглы:

— Я не из робких, не запугают! Дай им волю, так они совсем на голову нам сядут! Кто он такой, этот Гаджи-оглы, чтобы я перед ним по струнке ходил? — Он снял папаху, провел рукой по волосам. — Ну, погоди, сукин сын!.. Не зовите меня Шамилем, если я не расправлюсь с ним!

— Да ничего ты ему не сделаешь. Сгноит он тебя в тюрьме. Беги лучше к Фарман-беку!

— Э, не боюсь я их! Сейчас и сам бог не посмеет ко мне подступиться! Я им показал, что с Шамилем шутки плохи!

Как раз в это время перед домом Гатам-оглы сно-

ва заржал конь председателя сельсовета. Вместе с Гаджи-оглы пришли милиционеры.

— Заберите-ка этих молодчиков, — приказал он. — Трое суток ареста! Может, поумнеют после этого.

Слова его были встречены мрачным молчанием.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

Был уже вечер, когда Шариф-заде покинул амбулаторию. Он щелкнул пальцами, потянулся, зевнул, посмотрел вокруг слезящимися от усталости глазами, перевел взгляд на небо. Над деревней висели черные тучи, они закрыли звезды, которые обычно голубыми искрами мерцали в бездонной вышине; и только месяц, застрявший над долиной Махмудлу, с грустью глядел на деревню.

Отсюда был виден берег Куры. Люди издалека казались черными шевелящимися точками. На берегу вовсю кипела работа: борьба с наводнением продолжалась вот уже третий день. Стихия развоевалась не на шутку: вода в верхнем течении Куры ворвалась в сады, залила поля. Крестьяне, пришедшие оттуда, рассказывали, что посреди водной глади сохранился лишь небольшой островок, полный зверей. Со всех сторон их окружила вода; плыть они боялись, и общая беда сдружила их. Особенно много было там змей, но они никого не жалили. Среди ветвей низких плакучих ив таинственно мерцала их перламутровая чешуя.

Но об этих рассказах врач вспомнил с каким-то равнодушием. Что ему до чужих тревог? Постигшее деревню бедствие было даже на руку Шариф-заде и его друзьям: казалось, Кура решила возместить им ущерб, который они понесли при ликвидации биттилийской авантюры.

Врач направился было домой, но вдруг остановился. Пожалуй, лучше будет сходить на берег, посмотреть, что там делается. Он повернул назад и медленно, в раздумье зашагал к Куре. «Шамиль арестован... Надо выручить его и отправить к Фарман-беку. Хорошо, если бы Фарман-бек совершил налет на деревню: люди сейчас

заняты, он застал бы их врасплох. А Садаф-ханум — решительная девка! Так мне и не удалось уговорить ее; она, верно, успела уже переслать билет в ГПУ. И эта ее речь перед народом... Да, подставила она мне подножку! Но ничего, главное — терпение! Придумаем для нее другую ловушку! Надо укоротить ей язык, не то она и на меня донесет... Гм... А что делать с письмами матери этого докторишки, моего «тезки»? И откуда она узнала мой адрес?.. Впрочем, не обязательно отвечать ей, пошлю деньги — и довольно с нее. Пусть думает, что сын ее жив, здоров!»

Тьма все сгущалась, растворяла силуэты крестьян, работавших на берегу. Шариф-заде решил выбраться на проселочную дорогу: земля там была утоптанней. А здесь после дождей вода, грязь; оступишься — провалишься по колено. Подвернув брюки, врач осторожно двинулся к дороге. Там и правда грязи было меньше, и Шариф-заде ускорил шаги. Но от дум нельзя было отвязаться. «Эта биттилийская история еще станет мне в копеечку! Если Тарлан узнает, что я уговаривал людей идти к имаму, меня вышвырнут из партии! Он и так уж на меня косо посматривает. Ох, неосторожно я действую; так недолго и попасться! Вот если бы убрать Тарлана... Я занял бы его место, и сам черт мне тогда не брат!»

В деревне было тихо-тихо. Даже собак, которые брехали обычно на каждую тень, и тех не было слышно.

Стало совсем темно, но в домах света не зажигали. И только на берегу вспыхнули вдруг веселые огоньки: это крестьяне засветили свои фонари. Шариф-заде был уже близко от берега и мог различить лица собравшихся, — а собралась здесь вся деревня, от мала до велика! Врач даже пожал плечами: откуда их столько взялось? Но еще больше он удивился, когда увидел среди работавших и своих сегодняшних пациентов: всего час назад он делал им перевязки, и вот они уже снова на берегу!

Шариф-заде не знал еще, что в амбулаторию крестьяне шли лишь по настоянию Тарлана: не привыкли они мазать всякими мазями царапины да ушибы. Поранив во время работы руку или ногу, они с неохотой брели к врачу и, получив первую помощь, спешили обратно.

Мимо проскрипела арба с песком; на ней восседал

Мурсал-киши. Шариф-заде поздоровался с председателем колхоза, а тот, вытерев пот со лба, довольно улыбнулся.

— Ай, доктор, смотри: вся деревня на берегу! Работают, не жалея сил! Ушибутся, поранятся — и только рукой махнут. Вот беспечный народ! Придется тебе, видно, тащить сюда все свое хозяйство.

Старик шутил, но Шариф-заде принял его слова всерьез и, соглашаясь, кивнул головой.

— А ведь верно! С завтрашнего же дня перебираюсь на берег.

Мурсал-киши, кряхтя, слез с арбы. В это время на берегу появился Тарлан. Он торопил крестьян, таскавших мешки с камнями.

— Сюда, сюда! Заполняйте вон те промоины! Там вода здорово напирает!

— Здравствуй, товарищ учитель! — окликнул его Шариф-заде. — Добрую вы соорудили дамбу! Куре с ней не совладать!

Тарлан повернулся к Шариф-заде.

— А ты почему не заглядываешь на берег?.. Поинтересовался бы, как люди работают! Вода холодная: люди простуживаются! Того гляди начнет малярия валить! — И, смягчаясь, добавил: — Однако поздно ты домой возвращаешься. Устал, наверно? Сегодня я подбавил тебе работки! Иди домой, отдохни... Завтра придется встать пораньше.

Врач оживился: он давно ждал случая показать себя работником, не боящимся трудностей.

— А, какое там устал! Я человек здоровый; работа у меня не ахти какая тяжелая: ведь не операции делаю!.. А дать микстуру, перевязать рану — это для врача пустяки! От этого не устанешь! Знаешь, я решил перебраться со своими лекарствами сюда, на берег.

Неожиданно из толпы послышались крики:

— Спасите! Спасите!..

Тарлан и врач поспешили к месту происшествия. В воде, недалеко от берега, барахтался насмерть перепуганный школьник, сорвавшийся с дамбы, обшитой досками. К утопающему уже подплывал молодой крестьянин Баба. Он кинулся в реку прямо в одежде. Вдруг голова мальчика скрылась под водой, исчез и Баба. Тарлан сам хотел броситься на помощь тонущим, но в это

время голова Баба снова показалась над водой, и кто-то восторженно воскликнул:

— Ай, молодец! Плавает как рыба! Не беспокойтесь: Баба вытащит паренька и доставит его на берег в целости и сохранности!

Вскоре мелькнула в волнах и голова школьника. Баба обнял его одной рукой и, выгребая другой, поплыл к берегу. Толпа облегченно вздохнула.

Спаситель и спасенный выбрались наконец на берег. Тарлан сердито сказал:

— Я ведь просил не подпускать детей к дамбе! Чей это мальчик?..

— Это, кажись, сынишка Шамиля, — предположил Баба. — Сам Шамиль угодил за решетку, а сын его пришел поработать вместе со всеми!

Шариф-заде впервые видел сына своего приятеля. Он встал на колени и внимательно вгляделся в его лицо, на которое падал свет фонаря. Мальчик постепенно приходил в себя.

— Отнеси парнишку домой, — попросил Тарлан одного из крестьян, — и скажи, чтоб больше его сюда не пускали. Понял?

Врач поднялся, посмотрел на Тарлана и почему-то улыбнулся. А Тарлан уже отдавал приказания крестьянам:

— Расходитесь, товарищи. И скорей приступайте к работе. Время не ждет!

Оказав мальчику первую помощь и отправив его домой, Шариф-заде простился с Тарланом. Врачу дали фонарь (это был знак уважения!), и он зашагал к деревне. А на берегу опять закипела работа.

2

Землянка секретаря сельсовета Гамида находилась в верхней части деревни, близ проселочной дороги, ведущей в долину Махмудлу. Это была хорошая, удобная землянка, и врач не променял бы ее ни на какую другую.

Сегодня Шариф-заде порядком устал, но шагал домой бодро и даже напевал себе под нос какую-то песенку.

Чтоб не угодить в грязь, Шариф-заде освещал дорогу фонарем и, где можно было, перепрыгивал с камня на камень. Приблизившись к домам, врач перестал петь: он боялся собак, которые могли проснуться и поднять лай. Однако все обошлось благополучно. Дойдя до дороги, вдоль которой тянулись заборы, он снова завел свою песенку.

Шариф-заде был доволен сегодняшним днем. С утра до вечера он трудился в амбулатории, показав себя неутомимым, добросовестным работником; потом попался на глаза Тарлану и «дружески» с ним побеседовал. «Славно все получилось, — радовался Шариф-заде. — Пустил дыму в глаза, они теперь считают меня своим».

Он остановился у калитки. Во дворе никого не было. Только с соседнего двора, обнесенного изгородью из колючего кустарника, доносились голоса женщин, доивших коров. Стадо вернулось сегодня поздно, и доярки ворчали.

— Удивительное дело! — жаловалась одна из них. — Как только придумали этот колхоз, у моей коровы вымя к брюху прилипло. Молоко будто испарилось; теперь и одного ведра не надоишь...

— Ты, видно, спятила от старости! — вмешалась другая доярка. — Сама не умеешь доить, а на колхоз сваливаешь! Дай-ка я подою...

Но старуха никому не решилась бы уступить свое место: с тех пор как она передала корову в колхоз, она потеряла покой и каждый вечер первой прибегала в коровник, чтобы подоить свою любимицу.

— Говоришь, прямо курам на смех! — продолжала молодая доярка. — Ишь колхоз у нее виноват! Да что он — перевязал твоей корове вымя, что ли?

Шариф-заде осторожно подошел к изгороди и, поднявшись на цыпочки, заглянул во двор. Двор был освещен пламенем коптилки, пристроенной на одном из кольев изгороди. Старуха, бранившая колхоз, уже успокоилась; она сидела на корточках, упершись лбом в мягкий коровий бок, и доила. Слева от нее, чуть ли не с головой забравшись под корову, занималась дойкой другая старуха.

Внезапно она запела слабым, дрожащим голосом. Это была опытная работница, и песней своей — народной песней, которую напевают доярки во время доения ко-

ров, — она словно говорила ворчащим товаркам: чтоб получить больше молока от коровы, нет лучшего средства, чем музыка!..

Врач с похотливым любопытством смотрел на доярок. Вот одна из них встала, держа в руке подойник. Подол ее платья был подвернут; у колен белела нижняя рубашка. Вдруг женщина заметила за изгородью Шариф-заде. Она вздрогнула и начала с криком царапать себе щеки.

— Ой, ой! Взгляните-ка, там мужик!

Не зная, куда деться от стыда, женщина закрыла платком лицо (которое врач все равно не видел: оно было в тени), но забыла опустить платье. Шариф-заде беззвучно рассмеялся, отошел от изгороди и быстрыми шагами направился к землянке Гамида.

Секретарь сельсовета Гамид уехал в этот день в районный центр на курсы работников сельсовета и предупредил, что вернется не раньше, чем через неделю. Дома осталась одна Салатын.

Шариф-заде взялся уже за ручку, но так и застыл у двери. Из комнаты лилась грустная, тихая песня. Салатын, видно, успела уже приготовить чай и сейчас, поджидая постояльца, коротала время за песней:

Жестока судьба и зла,
Горе мне в удел дала.
И, печаль мне наливая,
Через край перелила...

Почему Салатын запела вдруг эту скорбную песню? Верила ли она в то, что пела? Кто его знает!.. Бывает, что крестьянки поют печальные песни, не вдумываясь в их смысл. Может, и Салатын случайно пришли на память эти слова. Но голос у нее был чистый, искренний, он проникал в самое сердце. Шариф-заде стоял, боясь пошевелиться. Он готов был слушать этот чудесный голос хоть до утра. Но Салатын вдруг умолкла: она, видно, почувствовала, что за дверью кто-то есть. Врач постоял неподвижно еще несколько минут в надежде, что Салатын запоет снова, но в комнате было тихо. Тогда врач толкнул дверь, вошел и, смеясь, поздоровался с хозяйкой. На щеках у Салатын выступил легкий румянец.

— Ты заставил ждать себя, брат. Я уже три раза разогревала самовар. Где ты так задержался?..

Шариф-заде слышал ее голос, но не понимал, о чем она говорит. Ему давно нравилась молодая хозяйка, и сейчас он не отрывал глаз от ее разрумянившихся щек, от округлой груди, и все сильней разгорался в нем любовный пыл. Не успела Салатын поставить на скатерть пестрый чайник, как врач оказался уже рядом с ней. Он схватил ее за руку, и его опьянило чистое, как у ребенка, дыханье молодой женщины.

Щеки у Салатын зарделись как пламя; она мягко высвободила руку. Вдруг, как бы очнувшись, врач вспомнил, где он находится. Дурак, он совсем забыл об осторожности!

Самовар завел свою тягучую песенку. Салатын чувствовала себя стесненно; она избегала встречаться взглядом с Шариф-заде и то наклонялась над самоваром — протереть тряпкой его сверкающие бока, то копалась зачем-то в своем узорном свадебном сундуке, то искала что-то в темном углу комнаты.

Самовар все пел, но ни Салатын, ни врач не слышали его чудесной песни.

3

Когда Шариф-заде работал в районном городе, у него там было несколько романов.

Первое время врач жил одиноко, держался отчужденно. Даже прогулки по берегу реки он совершал в полном одиночестве. Это вполне его устраивало: когда он был один, он мог думать, о чем хотел, петь, что пожелается, и ни от кого не слышал ни упреков, ни приказаний. На людях он думал только об одном: как бы не вызвать подозрений.

Но недолго длилось его одиночество: вскоре он познакомился с учителями, со студентками педагогического техникума, которым преподавал санитарию и гигиену. Шариф-заде был смазливым парнем; особенно нравились женщинам его тонкие черные брови и большие печальные глаза. Многие из обитательниц городка с тоской поглядывали вслед красавцу доктору; между иными порой возникали даже жаркие стычки: каждая старалась уверить, что больше всех врач любит именно ее.

Однако ни одну из них он не любил по-настоящему.

Верный слуга Фарман-бека, он лишь выведывал у них все, что могло интересовать хозяина.

Чаще всего Шариф-заде встречался с Бегим-ханум, которую хорошо знал и Шамиль. Она работала секретарем-машинисткой в райкоме партии, и врач узнавал от нее содержание всех секретных писем, которые проходили через ее руки. Выбалтывая ему секреты, она еще и наставляла врача:

— Помни: ты член партии; умей же хранить тайну!

Один из вечеров, проведенных с Бегим-ханум, особенно глубоко врезался в память Шариф-заде.

Была весна. В безоблачном небе сиял молодой месяц. Городок, казалось, был погружен в безмятежный сон: мертвая тишина царила на его улицах. Не было видно ни одного прохожего: все, наверно, ушли в клуб смотреть новый фильм.

Врач брел в одиночестве по главной улице. Он ступал тихо, осторожно, словно боясь нарушить окружавшее его безмолвие. Порой он оглядывался назад. Та, которую он ждал, все не приходила, но это не особенно огорчало Шариф-заде. Когда желание в тебе не так уж сильно, то слабеет тоска ожидания, и взгляд, устремленный на дорогу, становится невнимательным, рассеянным.

В конце улицы Шариф-заде остановился. Он облокотился о перила моста, перекинутого через широкий арык, и еще раз оглядел улицу, по которой звездной вереницей тянулись электрические лампочки. Но улица была пуста.

Дул легкий ветерок. Недавно зазеленевшие деревья распространяли свежий весенний запах. Врач задумался о чем-то, глядя в мутные, тихие воды арыка, но вскоре услышал позади себя шаги Бегим-ханум. Шариф-заде взял ее под руку и, смеясь, показал на часы.

— Опоздала, Бегим-ханум! Я жду тебя вот уж полчаса! Ну ничего, мы еще можем погулять часок-другой.

— Я сегодня провожала мужа, — оправдывалась Бегим-ханум.

— Куда же он поехал?

— Его послали в деревню уполномоченным по заготовке масла.

Шариф-заде громко рассмеялся, но сам же испугался своего смеха. А Бегим, сверкнув в улыбке мелкими белыми зубами, воскликнула:

— Да, знаешь новости? Стало известно, что банда Фарман-бека собирается совершить налет на город. Райком приказал выставить у всех школ и учреждений вооруженные караулы. Дурачье! Сломают они себе когда-нибудь шею на своих авантюрах! Ну что это за сила — двадцать всадников? Спичкой мир не подожжешь! Слушай, куда мы так спешим?..

Шариф-заде, погруженный в свои мысли, промолчал, но замедлил шаги. А Бегим снова спросила:

— Куда мы идем?

— Как обычно, на берег реки. Я люблю сидеть вечерами на берегу и слушать, как журчат воды Алагеза. В такие минуты я жалею, что я не поэт. До чего ж там красиво, Бегим! Тишина кругом, и только река журчит, журчит. На речную гальку падает свет луны, и кажется, будто на берегу рассыпано серебро. В лунные ночи нет ничего красивей этого берега! Я прихожу туда один, смотрю на реку и грущу... Пойдем на берег, Бегим! Как говорил один арабский поэт, тоску может разогнать только голос женщины, ржанье коня и журчанье воды...

Бегим слушала Шариф-заде рассеянно. Притянув его к себе, она шепнула:

— Пойдем лучше к садам... Оттуда тоже видно реку.

— Ладно, пусть будет по-твоему, — неохотно согласился врач. — Кстати, тебя никто не видел? Смотри: увидят, донесут мужу — попадем тогда в скверную историю!

На этот раз рассмеялась Бегим. Врач посмотрел искоса на ее тонкие, искусно накрашенные губы, на припудренные щеки и удовлетворенно улыбнулся. Нет, в ней не было ничего, что не нравилось бы Шариф-заде! Он хотел еще что-то сказать своей спутнице, но она возмущенно затараторила:

— Ну и что ж, что увидят! Какое нам дело до городских сплетников?.. Ай, какой же ты трус, доктор! Ну и мужчины теперь! Да если вас пошлют сражаться с бандитами, вы, наверное, тотчас разбежитесь!

Шариф-заде похвалился:

— Поручили б это мне, я бы с Фарман-беком в два счета справился! Поймал бы и засадил куда следует. Не понимаю, чего его так боятся? Я, например, куда больше боюсь всяких сплетников. А наш город прямо кишит

ими!.. Выйдешь погулять с женщиной, только оглядывайся! Так головой вертишь, что шея болит.

— Ты их не бойся, — подбодрила друга Бегим-ханум. — Пусть болтают, если им хочется.

Возле арыка они задержались: долго стояли неподвижно и смотрели на залитый лунным светом берег далекой реки. На другом берегу ее отчетливо вырисовывались зацветающие сады; меж деревьев, обступивших шоссе, мелькала арба, запряженная быками.

— Видишь эту арбу, Бегим? Смотри, как лениво плывет она по дороге! Это символ нашей медленно текущей жизни!

— Символ чего? — рассеянно переспросила Бегим.

Но в это время на шоссе упал яркий свет: навстречу арбе выехал автомобиль. Врач кинул на спутницу настороженный, испытующий взгляд и ничего не ответил.

— Ну, куда ты опять заторопился? — воскликнула Бегим. — Странный ты какой-то сегодня. И лицо осунулось...

Видно было, что Шариф-заде чем-то встревожен. Он и правда опасался, как бы эти прогулки с Бегим не вышли ему боком: узнает о них кто-нибудь, не оберешься потом разговоров! Но он и виду не подал, что трусит, и даже попробовал пошутить:

— В жизни я одного боюсь — женщин!

— Женщин? Ну что страшного хотя бы во мне? Я чище луны и прозрачней воды...

Врач помолчал, а потом признался:

— И еще одно меня заботит. Знаешь: меня собираются послать в деревню. А на что мне деревня? Мне и в городе-то тоскливо, но здесь я хоть могу встречаться с тобой. А что я буду делать в деревне?

Бегим молчала, замолчал и Шариф-заде. Он прикидывал в уме, как лучше передать Фарман-беку сведения, полученные от Бегим. «С налетом им следует подождать; сейчас это опасно: город настороже; здесь есть и воинские части. Надо подробно написать об этом Фарман-беку». Молчание затягивалось, и врач, продолжая прерванный разговор, сказал:

— Однако я партиец и должен быть там, где нужно партии.

— А вот и сад! — воскликнула не слушавшая его Бегим.

Врач понял, что наскучил ей своими «серьезными» разговорами, и, улыбнувшись, взял Бегим под руку.

Подойдя к фруктовому саду, обнесенному оградой, они остановились и поискали глазами вход. Калитка была заперта. Врач стиснул руку Бегим.

— Пойдем вон туда, посидим на травке, поболтаем... Луна отовсюду одинакова. Видишь, как красив этот маленький арык? Здесь и отдохнем. Что может быть лучше, чем сидеть на зеленой траве у тихого арыка и смотреть на звезды?..

Они молча прошли к арыку и сели на берегу.

Шариф-заде обнял Бегим, и они поцеловались. Но тут же он вскочил на ноги: ему показалось, что земля слишком сырая. Бегим обиженно отвернулась и легла на траву.

— Встань, Бегим! Простудишься! Здесь сыро, встань!..

Врач взял ее за руки и попытался поднять, но Бегим заупрямилась. Тогда он прилег рядом, и они долго молча любовались вечерними звездами...

4

Однако вернемся из города в деревню, из вчерашнего — в сегодняшний день, отмеченный новым увлечением Шариф-заде.

Была ночь, темная, весенняя ночь, полная грозовых туч. Деревня погрузилась в сон. Спала и Салатын безмятежным сном невинного ребенка. Только Шариф-заде не находил покоя. Он в волнении расхаживал по комнате и все думал о Салатын. «Салатын молода, красива. Она мне нравится. Почему же я должен сдерживать себя? Правда, я живу в доме ее мужа; он заслуживает уваженья и благодарности. Но честь, благодарность — это понятия устарелые! Глупо из-за них отказывать себе в удовольствии!..»

Шариф-заде подкрался на цыпочках к постели Салатын и, опасливо оглянувшись, — как будто в комнате мог быть кто-нибудь кроме него! — приоткрыл край занавески. У Салатын даже во сне щеки были тронуты легким румянцем. Руки ее лежали поверх одеяла. У врача чаще забилось сердце, но непонятный страх

удержал его на месте. В это время Салатын проснулась и, увидев врача, быстро спрятала руки под одеяло. Глаза ее расширились. Шариф-заде, перепугавшись еще больше, отпустил занавеску, осторожно прошел к своей кровати, лег и взял недочитанный роман. Однако ему удалось прочесть лишь несколько страниц. Книга не смогла отвлечь его от беспокойных мыслей. «А чего я, собственно, боюсь? Салатын просто застенчива: надо действовать смелее — и все будет в порядке. Она называет меня братом... Тем лучше! Никто нас ни в чем не заподозрит. Муж? Но если она не захочет, муж ни о чем не узнает». Шариф-заде поймал себя на том, что вот уже с полчаса водит глазами по одной и той же странице, и стал торопливо перелистывать книгу.

А Салатын не могла больше уснуть. Она была растерянна и испугана. «Недаром, видно, девушки дразнили меня у колодца... Говорили, будто доктор поглядывает на меня не так, как на всех. Да нет, выдумки все это! Я для него как сестра... Но отчего же тогда он заглянул за занавеску? Или мне это приснилось? А Гамид тоже хорош! Уехал и оставил меня одну. В одной комнате с гостем! Есть о чем посудачить нашим кумушкам!.. Но что делать, если у нас нет отдельной комнаты? А не приютить приезжего тоже нельзя».

Салатын поднялась, надела платье и вышла из комнаты. Уже у двери она искоса взглянула на врача, тот читал книгу.

Как только Салатын ушла, Шариф-заде отложил книгу в сторону, вскочил с постели и встал у входа. Он решил дождаться возвращения Салатын, а там — будь что будет! «Ей тоже не спится. Значит, и она волнуется. А сторонится меня от застенчивости. Надо быть решительней. Вот войдет она, а я возьму да поцелую ее!» И когда в дверях показалась Салатын, врач обнял ее, привлек к себе и поцеловал в губы.

В глазах у Салатын мелькнули ужас и отвращение. Она оттолкнула Шариф-заде, отступила назад и крикнула с гневом:

— Ты... ты что это, доктор?

Шариф-заде засмеялся:

— А что я такого сделал?

— Отстань от меня! Ты что, с ума сошел?

— Вот уж нет! Я...

— Ну и наглец!

От застенчивости Салатын не осталось и следа. Голос ее дрожал, но не от страха, а от возмущения.

— Я... я не из тех, не из городских!.. Ты, видать, перепутал. Меня зовут Салатын!

— Да я...— начал было врач, но Салатын перебила его:

— Отойди, доктор! Не доводи до греха!..

Шариф-заде все еще не хотел признаться себе в поражении. Он снова попытался приблизиться к Салатын и тут же получил звонкую пощечину.

— Отойди, я тебе говорю!..

В это время за окном мелькнула чья-то тень. Врач не узнал, кто это, и пожалел о том, что до сих пор не потушил лампы: с улицы, наверно, можно было увидеть все, что происходило в комнате. Врачу вспомнилась почему-то прогулка с Бегим. Тогда он тоже трусил, но сейчас страх его был куда сильней. Здесь не город, и Гамид не такой простак, как муж Бегим! Если он узнает обо всем, быть беде!

Эту ночь врач провел без сна. А когда ранним утром вышел на улицу, то столкнулся носом к носу... с Гамидом.

Гамид был еще молодым человеком. Невысокого роста, смуглый, толстощекий, он производил впечатление бодрого, беспечного здоровяка. Но взгляд его глаз был зорким и острым, а когда он улыбался, можно было приметить на левой щеке бледный шрам.

Сейчас сбоку у него торчал револьвер в старой кобуре с разноцветными ремешками. В руке Гамид держал хурджун. Хурджун был полон и так тяжел, что касался земли.

— Здравствуй, доктор!— весело поздоровался Гамид.

Шариф-заде с оторопелым видом протянул ему руку:

— Ты что так рано? Что-нибудь случилось?

Гамид прислонил хурджун к столбу и с возмущением объяснил:

— От этих сукиных детей, бандитов, до сих пор нет покоя! Товарищей, которые должны были читать

нам лекции, мобилизовали и разослали по деревням. Как только они управятся с бандитами, курсы снова начнут работать. А пока велено нам возвращаться домой. Я сел на колхозную арбу и вот опять дома! Ну, а ты как поживаешь, дорогой?

Вести, привезенные Гамидом, порадовали Шариф-заде: Фарман-бек, видно, не сложил еще оружия. Надо и ему что-то предпринять.

— Послушай-ка, Гамид, — сказал врач. — Гаджи-оглы вот уже несколько суток держит под арестом Шамиля. Надо выручить парня. Смелости у него на десятерых хватит, мы можем использовать его в борьбе с бандитами.

— Ай, доктор, а откуда ты его знаешь? — удивился Гамид.

— Случайно познакомился еще в городе. По-моему, он неплохой парень.

Гамид покачал головой:

— Нет, доктор, ты, видно, его не раскусил. Это же отпетый кулак! Каждый год мы облагаем его индивидуальным налогом. Если бы у него не было руки в райземотделе, он бы и дня здесь не продержался. Я уж два раза писал о нем в районную газету, не понимаю, почему они маринуют мои письма?.. Видно, придется подправить их да отослать в «Коммунист».

Вслед за Гамидом Шариф-заде молча вошел в дом. Он уже раскаивался в своих опрометчивых словах. Не глядя в лицо Гамиду, он заговорил с ним о каких-то пустяках.

Когда Салатын увидела мужа, на губах ее появилась легкая улыбка, но она тут же отвернулась и принялась готовить чай. Руки у нее дрожали. А врач, пряча свою тревогу, все говорил и говорил, и сердце колотилось у него так сильно, словно хотело вырваться наружу.

5

Когда Гамид, напившись чаю, ушел в сельсовет, врач сел за письмо к Фарман-беку.

«Райисполком мобилизовал для борьбы с твоим отрядом новые силы. Насколько мне известно, против вас с оружием в руках выступит и большинство кре-

стьян, вернувшихся из Биттили. Тарлан, кажется, не видел тебя в Биттили, но, судя по его сообщению на ячейке, он уверен, что ты замешан в этом деле. Поэтому главный удар решено нанести именно по твоему отряду.

Недавнее наводнение нанесло большой урон колхозным посевам. Однако эллярцы с помощью крестьян из соседних азербайджанских и армянских сел сумели задержать паводок и вот-вот приостановят его совсем.

На днях арестовали Шамиля и Гатам-оглы. Не знаю, за что. Если их переправят в город, помочь им будет трудно. Надо немедленно что-то предпринять. От крестьян помощи не жди. Но, к счастью, сейчас все целыми днями торчат на берегу, и если вы ворветесь в село, то не встретите серьезного сопротивления.

Как я ни стараюсь, а все не могу «наставить на путь истинный» твою племянницу. Ее не удается ни запугать, ни запутать. После того как ты побывал у жены, Садаф выставила тебя на позор перед всем народом. Ко мне она относится все с большей подозрительностью и, кажется, исполнена решимости разобраться в истории с мусаватистским билетом и газетой. Ее надо обезвредить. Мать Шариф-заде откуда-то узнала мой адрес. Я прямо не знаю, что делать. Все это время я нахожусь между огнем и водой.

Это письмо я вынужден отправить из города».

Шариф-заде сунул письмо в карман и, взяв свой плащ, вышел из дому. Салатын в это время колола во дворе дрова, она даже не обернулась на его шаги. Врач с ненавистью посмотрел на нее («Теперь и от этой жди неприятностей!») и зашагал к амбулатории. Там он дописал письмо, вложил его в конверт и приступил к приему больных. Не прошло и нескольких минут, как к нему пришел человек от Тарлана — узнать, почему врач задерживается. Пришлось собрать медикаменты и отправиться на берег. Освободился Шариф-заде только к вечеру. Он попросил у Гаджи-оглы коня и поскакал в город.

Домой он вернулся глубокой ночью.

ГЛАВА ПЯТАЯ

1

Тарлан не спал вот уже четверо суток. Он сам руководил бригадами, созданными для борьбы с наводнением. Крестьяне пригнали на берег весь рабочий скот: лошадей, быков, даже ослов. Все дни, с утра до вечера, эллярцы проводили на берегу: вгоняли в землю столбы, колья, оплетали их ивовыми ветвями, заполняли промежутки песком, мешками с камнем. Но бешеной Куре все было нипочем. Она вздымала свои воды, бурлила, пенилась...

Тарлан не хотел уступать Куре ни одной щепки. Он организовал из комсомольцев бригаду пловцов; те ныряли в волны, вытаскивали из воды все, что осталось от разрушенных домов: столбы, доски, подпорки, и латали разбитую дамбу.

Число крестьян, вступивших в борьбу с наводнением, все росло. Героически сражался с разбушевавшейся Курой отряд, прибывший из ближней армянской деревни.

После уроков на берег вместе со школьниками явился и учитель Азиз, но Тарлан отправил его обратно:

— У нас сейчас нет нужды ни в учителях, ни в учащихся. Проводите уроки по расписанию. Следите, чтобы дети не бегали на берег. Большое скопление людей будет только мешать работе.

Азиз увел ребят и, кажется, немного обиделся. А к вечеру Тарлан услышал барабанную дробь и, взглянув на дорогу, увидел приближающийся к нему пионерский отряд. Отряд возглавлял мальчик со свистком на груди. Подойдя к Тарлану, он поздоровался с ним и четко отрапортовал:

— По решению отряда пионеры пришли помочь крестьянам, занятым подвозкой песка и камня. Если разрешите, мы...

— Кто у вас вожатый? — прервал паренька Тарлан. — Ты?

— Да, я. Но это сами пионеры решили...

— Верю, верю! — засмеялся Тарлан. — Ну что ж,

веди своих пионеров обратно. И если я еще раз увижу их на берегу, объявлю вожатому выговор.

Вожатый стоял с опущенной головой, молчал. В это время к Тарлану подбежало несколько пионеров, среди них был и Марат. Один из пионеров, остановившись перед Тарланом в позе солдата, докладывающего своему командиру, сказал звонким голосом:

— Учитель, общее собрание нашего отряда постановило: всем пионерам быть в эти дни на берегу.

Тарлан ласково потрепал его по голове:

— Ягненок мой, идите-ка лучше по домам и готовьте уроки на завтра. Займитесь также стенной газетой. Хорошо?

— Будет исполнено, учитель!

Пионеры вернулись к отряду, а Марат, уходя, проворчал: «Ладно, напишем об этом в стенную газету!»

2

В деревне еще не помнили такого субботника. Молодежь показала себя быстрой и горячей как огонь. Если кто уставал, его сменяли другие. В эти дни стыдно было отсиживаться в деревне, и на берег пришли даже те, кто поначалу отлынивал от работы.

Тарлан, казалось, забыл и о сне, и о пище. Он даже домой не заходил: прикорнет часок-другой здесь же, на берегу, и вот уже снова отдает распоряжения, подбадривает павших духом:

— Ну, уж от тебя-то я этого не ожидал! Мне казалось, ты не отступишь даже тогда, когда усталость свалит с ног всех остальных.

— Эй, помоги-ка мне поднять этот камень. Одному трудновато.

— Вставай-ка, дорогой. Хватит отдыхать!

Когда кто-нибудь из крестьян не решался ступить в холодную воду, Тарлан сам брал мешок и нес его к промоине. За ним, устыдясь своей трусости, следовали и другие.

Битва со стихией разгоралась все с большей силой. Кура, не выдержав атаки, пятилась, отступала к прежним рубежам.

На землю спускались сумерки.

И в это время к Тарлану прибежали с тревожной вестью: к деревне приближаются бандиты. В банде, по слухам, было десять — двенадцать всадников. Тарлан тут же выделил из числа работающих группу комсомольцев, разослал их по домам за оружием, а остальным велел оставаться на берегу: работа не должна приостанавливаться ни на минуту! Вскоре перед ним уже стоял вооруженный отряд из двадцати бойцов. Тарлан объяснил каждому его задачу и, оставив за себя Мурсала-киши, повел отряд в деревню.

3

Фарман-бек осадил коня на окраине деревни, перед конюшней, где были заключены Гатам-оглы с Шамилем, и приказал:

— Освободить арестованных!

Двое бандитов соскочили с коней и побежали к конюшне. Но караульный, поставленный здесь председателем сельсовета, успел заметить мелькнувшие в темноте тени и громко крикнул:

— Стой! Кто идет?

В ответ прогремели два выстрела. Караульный сразу смекнул, в чем дело, спрятался за одним из столбов и открыл стрельбу по бандитам.

Фарман-бек (в сумерках белела чалма на его голове) велел всем спешиться, передал своего коня одному из бандитов и, припав к земле, пополз к конюшне.

— Следуйте за мной! Только без шума. Двоим потом отойти и пробраться через баджу[1] в конюшню.

Вскоре бандиты присоединились к своим товарищам, ушедшим первыми, и крикнули:

— Эй, открывай дверь! Выпусти арестованных!.. Не то смерть!

Караульный молчал. Но когда бандиты попытались подползти ближе, он снова выстрелил в темноту.

— Ни с места! Если не хотите, чтобы ваши матери плакали по убитым сыновьям, лучше не подходите! Всех перестреляю, сволочи!..

---

[1] Баджа — отверстие в крыше.

Фарман-бек поднял винтовку, прицелился на голос и спустил курок. Пуля пробила дверь конюшни. Оттуда послышались перепуганные голоса:

— Эй, что вы делаете?

Бандит, лежавший рядом с Фарман-беком, тоже приготовился выстрелить, но бек ударом ладони пригнул дуло его винтовки к земле.

— Не стреляй! Чего доброго, в своих попадем. Придется тогда «освобождать» трупы. Заходи с флангов, ребята!

Бандиты по одному начали продвигаться в направлениях, указанных Фарман-беком, но караульный, зорко всматривавшийся в темноту, разгадал их замысел и громко повторил:

— Ни с места, сволочи!

Пуля просвистела у самого уха Фарман-бека. Он вздрогнул и прижался к земле. Слышно было, как караульный перезарядил винтовку. Фарман-бек, оглянувшись по сторонам, предложил:

— Надо подняться всем разом и с криком бежать к конюшне. Если мы этого молодчика не испугаем, он нас ни на шаг не подпустит! Вон он — целится прямо мне в глаза. А ну, приготовиться!

Бандиты закричали страшными голосами и, разделившись на две группы, бросились вперед. От столба, за которым стоял караульный, навстречу им засвистели пули. Но несколько бандитов успели забежать за конюшню и взобраться на крышу. Баджа была заколочена досками. Бандиты отодрали доски, и один из них, просунув голову в образовавшееся отверстие, позвал хриплым голосом:

— Эй, Шамиль, лезь сюда!

У входа все еще слышались выстрелы. Караульный держался стойко, не давая бандитам продвигаться вперед.

— Лезь сюда, Шамиль! — продолжал звать бандит, притаившийся возле баджи.

Но Шамиль ничего не различал в темноте и, боясь обнаружить себя, не отзывался. Молчал и Гатам-оглы: он прижался к столбу, подпиравшему крышу, и весь дрожал от страха.

— Эй, Шамиль, Гатам-оглы! Не бойтесь, это мы.

Мы из отряда Фарман-бека. Лезьте сюда, выбирайтесь через баджу!

Шамиль напряженно прислушивался к голосам, идущим сверху, но уверения бандита не развеяли его опасений, и он еще больше съежился в своем углу.

Видя, что никто им не отвечает, другой бандит отстранил своего товарища и, заглянув через баджу вниз, крикнул:

— Шамиль! Эй, где ты там?.. Может, ты ранен? Скорей выбирайтесь на крышу! Мы пришли спасти вас. Почему ты не подаешь голоса, Шамиль? Отвечай же!

Шамиль подошел к Гатам-оглы и шепнул:

— Это Мадат, я узнал его по голосу. Они, видно, прослышали о том, что нас с тобой посадили, и поспешили на выручку. Надо бежать, Гатам-оглы! Я полез, лезь за мной.

Шамиль обхватил двумя руками скользкий столб и стал карабкаться вверх. Добравшись до баджи, он оглянулся на Гатам-оглы:

— Лезь скорее!

Но Гатам-оглы не двигался с места. От страха у него тряслись руки, колени. Он и рад был бы бежать, да боялся последствий: неизвестно, как еще все обернется! Если побег не удастся, его схватят и мигом препроводят в тюрьму.

С крыши донесся встревоженный голос Шамиля:

— Ну что же ты стоишь как мертвый? Айда ко мне!

Гатам-оглы молчал, а Шамиль, лежа у баджи, все подбадривал своего приятеля:

— Да не трусь ты! Лезь сюда! У тебя что, язык отнялся? Что ты молчишь?

Наконец снизу послышалось:

— Подожди меня на крыше. Лезу!

Гатам-оглы ухватился за столб и полез к бадже. Но подняться туда было не так-то просто: Гатам-оглы был неповоротлив, он то и дело съезжал вниз, и приходилось все начинать сначала. «Проклятая старость!» — ругал себя Гатам-оглы и чуть не плакал от бессильной злобы. Если б кто увидел его сейчас со стороны, поневоле расхохотался бы. Но старику было не до смеха. С превеликим трудом достиг он баджи,

выполз с грехом пополам на крышу и начал жадно вдыхать свежий воздух.

— Старость не радость, — сказал он с горечью. — Ну, что мы теперь будем делать?

У входа в сарай бандиты вступили в перестрелку с караульным. Вскоре им удалось ранить его: до них долетел протяжный стон. Бандиты, не мешкая, вскочили на коней и поскакали к школе.

В те времена бандиты в первую очередь нападали на школы, топтали в школьных садах цветы и жестоко расправлялись с учителями. Они знали: в школах работают вечерние курсы. Педагоги охотно и терпеливо учили грамоте отсталых крестьян. И это нагоняло страх на врагов советской власти: так ночные птицы боятся солнечного света.

Сегодняшний налет на конюшню был случайным. Если бы не надо было выручать арестованных, банда Фарман-бека прежде всего направилась бы к школе.

Освободив Шамиля и Гатам-оглы, бандиты поспешили наверстать упущенное. Вскоре школа была окружена. Раздался звон выбитых стекол. Бандиты ворвались внутрь и принялись рыскать по классам.

В школе никого не было: сегодня и учителя ушли на берег. Дома оказалась только Садаф-ханум. Она недавно отпустила женщин, посещавших вечерние курсы, и сейчас проверяла ученические тетради. Заметив, что у нее кончились чернила, Садаф-ханум взяла со стола чайник, наклонила его над чернильницей и вдруг услышала позади себя уверенные шаги. Она оглянулась. Перед ней — неподвижный, как изваяние, — стоял, опираясь на винтовку, ее дядя, Фарман-бек. Садаф-ханум отставила чайник и отступила в угол комнаты. Но вид у нее был решительный: появление бандита не испугало молодую учительницу.

Фарман-бек, изобразив на своем лице подобие улыбки, подошел к двери, поискал крючок и удивленно пожал плечами: племянница, как видно, жила не запираясь.

— Ну, здравствуй, племянница! — сказал Фарман-бек.

Садаф молчала. Фарман-бек, не отходя от двери, повторил:

— Давно мы с тобой не виделись. Здравствуй!

Садаф стояла не двигаясь, не поднимая глаз, и по-прежнему хранила молчание. Лишь когда Фарман-бек шагнул к ней, она вскинула голову и смерила его испытующим взглядом, словно старалась получше рассмотреть. На смуглом лице Фарман-бека горели страшные, полные свирепой ярости глаза — глаза, в которых ясно читалась жажда мщения. Садаф вздрогнула. А Фарман-бек, подойдя к ней вплотную, улыбнулся вкрадчиво и лицемерно:

— Не бойся меня, племянница. Мы ищем Тарлана. В крайнем случае хватит с нас и Мурсала-киши. А тебе нечего бояться. Ты ведь, слава богу, хорошо знаешь своего дядю. Помнишь, я так же, как и ты, был когда-то сельским учителем. А потом при мусаватистах сделали из меня начальника полиции... — Фарман-бек вздохнул. — Каюсь, племянница, доставалось от меня крестьянам! Взял я грех на свою душу. Оттого и преследуют меня ваши власти. Но, думаешь, не надоела мне бродячая жизнь? Думаешь, приятно прятаться в горах да ущельях? Нет, Садаф, в душе я так и остался учителем. Я люблю школу, люблю вас, учителей. Просвещение — вещь замечательная. — Взгляд его упал на чайник; он усмехнулся, сказал с сожалением: — Эх, выпил бы я у тебя чайку, поболтал бы, да некогда: ждут товарищи. Я и так еле урвал минутку, чтобы повидаться с тобой. Так вот, говорю я, просвещение — вещь хорошая. А нашему Азербайджану оно особенно нужно, нужно, как вода, как воздух. Но пойми: нельзя же к этой чистой воде подпускать голь перекатную. Из бедняка никогда толку не выйдет — верно, головы у них не так устроены. Пусть себе растят хлеб да ухаживают за скотиной. Так, племянница?..

Фарман-бек, видно, был доволен своей речью: он подкрутил усы и надменно улыбнулся. Но когда он заговорил снова, в голосе его зазвучали гневные нотки:

— Я твой дядя, Садаф, и люблю тебя. Да, да, люблю. Но всякому терпению есть предел. Какого черта ты вывела к народу мою жену? Ну да, я с ней иногда крутоват. Но тебе-то что за забота? Смотри, Садаф: по скользкой дорожке идешь! Уж если родная племянница честит меня на всех перекрестках, чего же ждать от моих врагов? — Он помолчал немного, внимательно посмотрел на Садаф. — И все-таки я готов простить

тебя. Но с одним условием. При первом удобном случае ты снова выступишь перед народом и скажешь, что клеветала на дядю, напрасно его чернила! Не бил я свою жену. И никаких билетов тебе не подкидывал. Поняла? В общем, сама придумай, что говорить. Но это еще не все. С завтрашнего же дня ты бросаешь преподавание. Не к лицу тебе работать в советской школе. Кого ты учишь? Звереньшей, детей моих врагов! Стоит им услышать мое имя, и они уже орут: «Бандит, кулак!..»

Садаф усмехнулась:

— Что же вы обижаетесь на правду?

— Ух, я с корнем вырвал бы твой ядовитый язык! Да что поделаешь, ты моя племянница. Тронешь тебя — осудят...

— А ты не угрожай мне. Я угроз не боюсь! Говори прямо, зачем ты ко мне пришел? Ведь ты же знаешь: самый заклятый враг твой в этой деревне — это я. Самый заклятый, самый непримиримый!

Вкрадчивая улыбка на лице Фарман-бека сменилась наконец-то откровенно-зловещей:

— Ах, вот как! Значит, не желаешь уняться? Ну что ж! Даю тебе две минуты на раздумье. А там... Видит бог, я не хотел тебя обидеть. Но ты не желаешь свернуть с неверного пути, и я должен тебя наказать.

По телу Садаф пробежала холодная дрожь...

— Две минуты на исходе. Говори свое последнее слово: у меня нет времени ждать. Смерть следует за мной, как тень; она подстерегает меня на каждом шагу. А я не хочу умирать! О, жизнь — сладкий плод! И ради нее я готов переступить через трупы даже самых близких людей. Ну, что же ты молчишь?

Садаф прижалась к стене и, глядя на Фарман-бека широко раскрытыми глазами, тихо, отчетливо сказала:

— Хорошо, я отвечу тебе. Ты читал когда-нибудь такую книгу — «Овод»? Так вот: и у меня, как у той героини, есть в жизни священная цель, высокие идеалы. Я тоже, как и она, готова пожертвовать ради них жизнью. Не боюсь я смерти. Ты можешь убить скромную сельскую учительницу. Но тебе не погасить света, который несла она в народ! — Садаф выпрямилась, гордо вскинула голову. — Стреляй, зверь! Я умру как верная дочь своей родины. Стреляй!

Фарман-бек, шаг за шагом отступая назад, медленно поднял винтовку.

— Жалею я тебя, племянница. Не хочу для тебя мучительной смерти.

Садаф закрыла глаза. Прогремел выстрел...

4

В это время остальные бандиты толпились перед дверью в комнату Тарлана. В их глазах именно Тарлан был источником всех бед. Это он привез в деревню новый алфавит, это он помогал создавать колхоз, под корень рубить биттилийскую авантюру, это он сорвал маску с моллы, совратил с пути истинного племянницу бека!

В комнате было тихо, темно. Мадат заглянул в окно и, подойдя к товарищам, сказал негромко:

— Они, верно, дома, только нарочно потушили лампу. Ломайте дверь! Бейте стекла! Ну, что уставились на меня? Поживей поворачивайтесь!

Зазвенели стекла. Рама под ударами прикладов разлетелась в щепки. На землю с шумом упала сорванная с петель дверь.

Бандиты вломились в комнату, но там было пусто. Кто-то зажег спичку: трепетный свет упал на стену, увешанную портретами и плакатами.

Внезапно один из бандитов вскрикнул и попятился назад. Мадат схватил его за руку:

— Что случилось? Чего ты так испугался?

Бандит, не отвечая, осветил спичкой яркий плакат на стене. С плаката смотрел на них грозными, сверкающими глазами вооруженный партизан.

Бандиты, переговариваясь, бродили по комнате. Рядом с плакатом они увидели картину, изображавшую съезд Советов, на котором великий Ленин провозгласил новую власть.

Кто-то уже протянул руку, чтобы сорвать картину со стены, но в одной из соседних комнат раздался выстрел, а с улицы послышались встревоженные голоса. Бандиты бросились к двери. Мадат выпрыгнул на улицу из окна. Здесь их уже поджидал Фарман-бек: он тоже почуял опасность.

5

Когда Тарлан со своим отрядом подошел к школе, он увидел в окнах своей комнаты слабые редкие вспышки и услышал неясные голоса. Тарлан сразу понял, что в комнате бандиты. Он взвел курок и шепотом обратился к своим бойцам:

— Двое пусть залягут здесь. Двое — у дороги. Остальные окружают школу. Поживей, товарищи!

Бойцы заняли позиции, указанные Тарланом; большая часть отряда рассыпалась в цепь и начала кольцом охватывать школу. Вокруг стоял густой, плотный мрак, не видно было, что делается впереди, у школы. Тарлан, держа наготове винтовку, лежал в канаве. Сердце у него стучало часто, взволнованно. Так же взволнованно билось оно несколько лет назад, когда вскоре после приезда в деревню он с двумя своими товарищами учителями целую ночь провел в сыром окопе, защищая школу от нападения бандитов. Сейчас с ним было уже не двое учителей, а большой вооруженный отряд. Правда, патронов у них маловато, но Тарлан все равно верил, что враг будет разгромлен.

По отдельным словам, долетавшим из окон, он догадался, что бандиты, бесчинствующие в школе, ищут именно его, Тарлана: это по его адресу посылалась грубая, злобная брань. Тарлан знал это, но не о себе он сейчас думал. Он вспомнил вдруг о Садаф. «А если она осталась в школе!» Тарлан обернулся к Азизу, примостившемуся рядом, и с тревогой спросил:

— Не знаешь, у Садаф есть револьвер?

У Азиза упало сердце. Как же он раньше не подумал об этом! Ведь Садаф, наверно, одна в школе. И если Фарман-бек разыщет племянницу, он ее изобьет, замучает.

— Пойдем, Тарлан, выручим девушку! Страшно подумать, что они могут с ней сделать! Говорят, Фарман-бек привязывает учителей к конским хвостам и пускает коней по дороге. Старый садист! А Садаф... Садаф скорей согласится умереть, чем быть опозоренной.

Тарлан знал, что жены и сына нет дома, но при мысли о том, что стало бы с ними, если бы они попали в лапы бандитам, он до крови прикусил губу.

В эту минуту в школе прогремел выстрел. Тарлан и Азиз вздрогнули.

— Злодей! — прошептал Азиз. — Он убил Садаф!..

Бандиты уже высыпали на улицу. Тарлан удержал за руку Азиза: надо было подождать, пока они подойдут ближе. Но вот он выкрикнул:

— Огонь! — и в тот же миг Азиз выстрелил. За ним выстрелил и Тарлан. Он напряженно вглядывался в ночную темь, но ничего не мог различить. Слева и справа от него слышалось частое щелканье затворов, пули со свистом ударялись о стены школы. Один из крестьян поднялся и побежал вперед.

— Вперед! — крикнул Тарлан и устремился вслед за крестьянином.

Он не слышал ни свиста пуль, ни воплей бандитов; бежал и бежал, крича на бегу:

— Бейте их! Бейте!

Однако бандиты успели вскочить на коней, оставленных возле школы, и прорвались сквозь оцепление к дороге. Лишь один громко застонал и грохнулся наземь.

— Не давайте им уйти! закричал Азиз. — Стреляйте!

Он как ястреб вылетел на дорогу; к нему присоединились двое дозорных, потом и остальные бойцы. Они пустились в погоню, но бандиты были уже далеко: страх перед вооруженным противником прибавил им силы и резвости.

Тарлан расставил по всей деревне дозорных и вернулся в школу. Войдя к себе в комнату, он зажег лампу и с беспокойством огляделся вокруг. Как он и думал, Сарии и Марата дома не было. У него отлегло от сердца, но тут же он вспомнил о Садаф и быстрыми шагами направился к ее комнате. В комнате было темно. Чиркая спичками, Тарлан медленно продвигался по комнате. Вдруг он остановился, и винтовка выпала у него из рук. На полу с окровавленной грудью лежала Садаф-ханум. Тарлан наклонился над молодой учительницей, погибшей смертью героя. Он словно воочию увидел, как гордо и мужественно стояла она перед врагом, и не выдержал, заплакал...

Печаль его не утихла даже тогда, когда он встретился с женой и сыном: они помогали женщинам шить

мешки и вернулись домой на рассвете, когда опасность уже миновала. Сария еще не знала о гибели Садаф: она не отрывала от мужа нежного, обрадованного взгляда и улыбалась. А Марат, с удивлением глядя на разбитые окна, строго спросил:

— Папа, ты накажешь этих хулиганов, перебивших стекла?

6

Все обходили убитого бандита стороной. Тарлан подозвал Гаджи-оглы и сказал:

— Пусть его закопают где-нибудь у дороги. Не забудь показать доктору Мансура: его ранили в сегодняшней стычке. Если нужно, отправь в городскую больницу. А для Садаф... для Садаф мы приготовим могилу в школьном саду. Завтра будем ее хоронить...

Тарлан велел освободить один из классов: туда внесли гроб с телом учительницы. У гроба (в деревне эта традиция вводилась впервые) встали в почетный караул школьники.

Крестьяне, успешно справившись с наводнением, покидали берег и направлялись к школе. Каждому хотелось в последний раз взглянуть на Садаф, проститься с любимой учительницей. Армянские крестьяне отложили свое возвращение в деревню: горе соседей было их горем... Они оставили в школьном дворе ломы, лопаты и сменили почетный караул у гроба Садаф-ханум. Женщины и мужчины, старики и молодежь — все в этот день отдали последний долг покойной.

К вечеру из армянской деревни, где о кровавой расправе с учительницей узнали с запозданием, пришли в Элляр педагоги и ученики. После скорбного прощания с Садаф-ханум они приготовились в обратный путь, но Тарлан не отпустил их. Он разместил школьников в пустых классах, а учителей приютил у себя. Мурсал-киши распорядился накормить дорогих гостей; он все сделал для того, чтобы они не могли упрекнуть эллярцев в негостеприимстве.

Больше всех горевала одна армянская учительница — давняя подруга Садаф-ханум. Они часто гостили друг у друга, советовались, как лучше проводить уроки. Почти всю ночь армянская учительница ни на шаг

не отходила от гроба, и если бы Тарлан силой не увел ее к себе, она проплакала бы здесь до утра.

В двенадцать часов дня Тарлан, Азиз и армянские учителя подняли гроб, и похоронная процессия двинулась к школьному саду.

По дороге к процессии присоединился Шариф-заде. Он заранее постарался принять скорбный, опечаленный вид. Тарлан вспомнил, что во время налета врач и носа не высунул из своего дома, и хотел спросить, где он был, почему не помог им, но решил пока подождать с вопросами. Он сухо поздоровался с врачом и отвел взгляд в сторону. Шариф-заде глубоко вздохнул, вытащил из кармана платок, вытер вымученные слезы и, подойдя к учителю-армянину, который нес гроб, попросил уступить ему место.

Проводить Садаф в последний путь пришло около тысячи человек.

Процессия медленно проследовала через деревню. Это было торжественное шествие, и старики, которые не участвовали в похоронах, с глубокой печалью смотрели на дорогу с крыш своих землянок.

Ветер разорвал весенние тучи. По обеим сторонам дороги зеленели луга. Грустно, покойно было вокруг. Даже Кура утихла: медленно, в траурном безмолвии, катила она свои воды.

Садаф лежала в гробу с закрытыми глазами, с просветленным, спокойным лицом.

Шариф-заде понимал, что это он навлек гибель на Садаф-ханум: его письмо к Фарман-беку было смертным приговором молодой учительнице. Однако он не испытывал раскаяния и в ночь, когда на село нагрянула банда, преспокойно сидел у себя дома и читал приключенческий роман. В душе его не было жалости, ведь погубив девушку, он спас себя; и ему стоило большого труда во время похорон Садаф-ханум прикинуться опечаленным.

Тарлан поверил в искренность врача, и, после того как армянская учительница закончила надгробное слово, он пропустил Шариф-заде к могиле Садаф-ханум. Шариф-заде вытер платком слезы и обратился к толпе, собравшейся в школьном саду:

— Товарищи! Наша деревня оделась сегодня в траур.

Мы потеряли лучшую нашу учительницу, боевую комсомолку: ее зверски убили бандиты. Враг знал, в кого целил! Героиня-учительница пользовалась в деревне всеобщим уважением. И в ответ на ее гибель мы должны повысить революционную бдительность! — Обращаясь к мертвой Садаф, Шариф-заде закончил: — Верь, Садаф-ханум, мы отомстим твоим убийцам! Прощай, дорогой товарищ!

Многие потянулись за платками. Гроб опустили в могилу, и воздух огласился рыданиями: плакали подруги Садаф, плакали школьницы.

Уже к концу похорон на дороге показалась машина: это приехали секретарь райкома и Мариям. Оба они давно не заглядывали в деревню: их вызывали в Баку. Заметив в школьном саду толпу, они вышли из машины.

— Кого хоронят?.. — тихо спросила Мариям у Мурсала-киши.

— Увяла роза нашей деревни, дочка! — с грустью сказал старик. — Бандиты убили Садаф... Не могут они спокойно смотреть на наше счастье! — Он вытер слезы, катившиеся по щекам, и обернулся к секретарю райкома: — Когда мы построим новую деревню, я перенесу могилу Садаф туда. Мы украсим ее могилку самыми яркими цветами. Ох, дети, душа кровью обливается!..

7

Вернувшись домой, Тарлан почувствовал себя плохо. Всю ночь он не сомкнул глаз, голова разламывалась от беспокойных мыслей. «Что-то я проглядел. Билет... Да, что это за история с билетом, о которой говорила Садаф? Чьих рук это дело?.. Не замешан ли и здесь Фарман-бек? А доктор... Странно он себя ведет, доктор! Член партии, и уклонился от схватки с бандитами! Надо спросить у Салатын: чем он тогда был занят? Может быть, перепугался?.. Трусливый интеллигентишка! Однако на пожаре он показал себя храбрецом! А в споре со мной... Он проповедовал сомнительные взгляды, но это еще не повод для подозрений. Он высказывал свое мнение открыто, а враг никогда так не сделает... Видно, наш доктор просто путаник».

Тарлан уснул только после завтрака. А когда про-

снулся, понял, что не может подняться. Он послал за доктором, но лекарства, выписанные Шариф-заде, не принесли облегчения. У Тарлана начинался бред. Вечером в окно к нему постучал пастух: он не знал еще о болезни Тарлана.

— Учитель! Ай, учитель! Кура разрушила дамбу!

Тарлан окликнул Сарию, но она не отозвалась. Тогда он слез с постели и, пошатываясь от слабости, подошел к окну.

— В каком месте вода прорвала дамбу?

— Разрушен верхний участок, учитель! Кура напирает. Если сейчас не удержать ее, она размоет и другие участки!

Сообщение пастуха встревожило Тарлана.

— Беги за Мурсалом-киши и Гаджи-оглы! — крикнул он. — Пусть они соберут народ и спешат на берег. Я сейчас буду там.

Пастух убежал, а Тарлан с трудом оделся и спотыкаясь направился к двери. Дверь была заперта снаружи. Пришлось выбираться через окно.

Тарлан заторопился к берегу, но скоро почувствовал, что ему не хватает дыхания. Ноги подкашивались. Он остановился, отдышался и, собравшись с силами, двинулся дальше. «Это не паводок! — думал он в тревоге. — Паводок уже спал. Кто-то умышленно разрушил дамбу!» От вечерней прохлады Тарлану стало зябко: он плотней запахнул свой тонкий плащ. Но вот и дамба. При свете луны блестит снова разлившаяся вода. Тарлан бросился к верхнему участку дамбы.

Добравшись до места катастрофы, он увидел, что доски, которыми была обшита дамба, сорваны и вода, размыв землю, хлынула на поля. Тарлан огляделся вокруг, но досок нигде не было: видно, злоумышленники унесли их с собой. А вода все хлестала и хлестала из промоины. Тарлан подошел ближе. Вдруг сильная волна сбила его с ног. Он попробовал подняться, но потерял сознание...

Подоспевшие крестьяне озабоченно захлопотали вокруг учителя, неподвижно лежавшего в холодной воде. Мурсал-киши снял с него мокрую одежду, завернул Тарлана в свою шинель. Учителя унесли домой, а колхозники, оставшиеся на берегу, принялись укреплять разрушенный участок дамбы.

Тарлан лежал, не открывая глаз; жар усилился; дыхание стало едва заметным.

К этому времени вернулась Сария: она, оказывается, ездила вместе с Маратом в город, за врачом. Войдя в комнату и взглянув на Тарлана, Сария громко вскрикнула: ей показалось, что Тарлан умер. Марату тоже хотелось заплакать, но он считал себя мужчиной, ему нельзя было показывать своей слабости. Сжав дрожащие губы, он медленно, с опущенной головой, подошел к постели отца.

Врач подождал, пока Тарлан очнется, и осмотрел больного. Потом спросил у Сарии:

— Что он делал все эти дни?

— У нас было наводнение, вот он и не спал несколько суток. А потом напали на деревню бандиты; они убили его товарища, учительницу нашей школы. От всех этих переживаний он и слег.

— Не бережет он себя! — с упреком воскликнул Мурсал-киши. — Он ведь уже во время болезни сорвался с постели, побежал спасать дамбу. Разве можно так относиться к своему здоровью?

Врач посмотрел на Тарлана и улыбнулся:

— Ничего, вылечим. У него стальной организм.

Но когда он отвел Сарию в сторону, лицо его снова стало серьезным.

— Ваш муж в тяжелом состоянии, сестрица. Видите, его все время лихорадит. Как только спадет температура, отвезите его в город. А пока дайте лекарство, я сейчас напишу рецепт. Шариф-заде был у него?

— Был, но помочь не смог. Вы правы: лучше лечить его в городе.

Утром Сария проводила врача, а после полудня, забрав с собой и Марата, повезла Тарлана в Тифлис.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Все эти дни, после того как Тарлана отправили в Тифлис, Мурсал-киши ходил мрачнее тучи. Он не мог простить себе, что отпустил Сарию одну: все-таки женщина; как она там со всем управится? Отсутствие Са-

рии заметно сказывалось и на подготовке к севу, и это еще больше усиливало озабоченность старика. Сев был на носу; крестьянам внове было сеять хлопок согласно современным агроправилам; на каждом шагу остро ощущалась нужда в помощи знающего агронома. А Сария запаздывала...

Гюльали-оглы, ездивший в Тифлис за товарами для кооператива, видел там Тарлана. Он сообщил, что учителю стало хуже. Врачи, правда, обещают поднять его на ноги, но на это уйдет немало времени.

Мурсал-киши хотел было наведаться в Тифлис, но потом отказался от этой мысли: нельзя было уезжать накануне сева. Кроме того, он собирался приступить к созданию кяриза[1]. Из города должен был прибыть инженер.

Мариям горячо поддержала план Мурсала-киши и в райкоме и в райисполкоме. Старик, который поначалу отнесся к Мариям с недоверием, вскоре вынужден был переменить о ней свое мнение. Мариям была полна неистощимой энергии, она во многом помогала Мурсалу-киши, входила в каждую мелочь, давала дельные советы.

Мариям поселилась в доме Мурсала-киши, и они виделись теперь каждый день. Даже когда ей приходилось уезжать в другие деревни, она все равно старалась возвратиться к вечеру в гостеприимный дом старика. Мариям привязалась к Мурсалу-киши, он тоже по-своему полюбил девушку и охотно делился с ней своими тревогами и заботами.

— Тарлан-муаллим[2], — сказал он однажды, — это человек, всем сердцем любящий свое дело. Жаль, захворал бедняга. Но ничего, даст бог, поправится. У него, дочка, есть одна мечта: перенести деревню на другое место, подальше от Куры. Ведь если мы останемся здесь, то каждую весну можно ждать беды... Тарлан, правда, говорит, что не все сразу согласятся с его предложением, поэтому для начала мы переселим только колхозников. Мы уже говорили об этом в райкоме, там нас поддерживают. Месяц назад мы подыскали для новой деревни хорошее место. Если б колхоз-

---

[1] Кяриз — старинная оросительная система. С гор, от родников, проводится подземный канал; на его пути роются колодцы.

[2] Муаллим — учитель.

ники согласились, мы бы перебрались туда уже в этом году.

— Не торопитесь, дядя Мурсал!.. Сейчас все в поле. А отрывать людей от работы нельзя.

Мурсал-киши задумался. Он вспомнил, как самоотверженно боролись колхозники с наводнением, и горячо проговорил:

— Все зависит только от нас самих, дочка. Уверяю, мы сумеем и с севом управиться, и новые дома построить. Медлить нельзя, дочка. Посуди сама: летом не до строительства, все силы уйдут на полив хлопка. Осень — пора страдная; надо убирать урожай. Зимой... Но ведь нам придется временно поселить народ в алачугах, а жить там в холода — сущее мучение. Нет, дочка, самое время переселяться сейчас! И поверь: все с радостью покинут этот злосчастный берег!

Старик говорил все с большим воодушевлением. Он верил, что они успешно и в самые быстрые сроки закончат строительство новой деревни, потому что верил в силы людей, на которых думал опереться.

Девушке нравилась уверенность старика. Она припомнила день, когда впервые встретилась с Мурсалом-киши: ей показалось тогда, что он легко поддается унынию. «Видно, ошиблась!» — с радостью подумала она.

Оба долго молчали, каждый думал о своем. Перед мысленным взором Мурсала-киши стоял образ Тарлана, и казалось, это именно учитель подсказал ему горячие, из глубины души идущие слова. Старику хотелось во исполнение мечты учителя приступить к устройству кяриза, не дожидаясь, пока Тарлан выздоровеет и вернется в деревню. Месяца через два станет совсем жарко, а в жару много не наработаешь. Надо рыть подземный канал, не откладывая дела в долгий ящик.

— Я теперь же выделю специальную бригаду, — сказал Мурсал-киши, — и передам ее под начало инженера. Если мы не пророем канал до осени, не будет мое сердце спокойным.

— Будь по-вашему, — согласилась Мариям. — Но помните: из-за этого не должны страдать полевые работы.

— Не сомневайся, дочка: все будет в порядке.

К концу этого разговора, происходившего в правле-

нии колхоза, пришел Гюльали-оглы. Мурсал-киши спросил, почему он не на работе, но Гюльали-оглы молчал, потупив взор: он, видно, был чем-то удручен. Мурсал-киши ни слова не сказал ему в упрек и вместе с Мариям вышел из правления.

2

Жизненная тропа Гюльали-оглы была вся усеяна терниями. Отец женил его рано: ему в то время едва минуло двенадцать лет. Лишь через четыре года, когда Гюльали-оглы подрос и возмужал, он решился приблизиться к жене. Но недолго длилась его семейная жизнь, омраченная постоянной нуждой. Жена неожиданно заболела и умерла. Гюльали-оглы продал лачужку, доставшуюся ему от отца, двух волов, нескольких овец и отправился в город. Долго искал он там работы, но так и не нашел. Пришлось ни с чем вернуться в деревню и наняться нукером[1] к бекской дочери Шахрибану.

Шахрибану только что исполнилось двадцать лет: она была на два года старше Гюльали-оглы. Держалась она под стать мужчине: носилась как бешеная на коне, метко стреляла из винтовки, на свадьбах с азартом играла в карты. Шахрибану была хороша собой, но молодежь сторонилась ее. Хотя отец у нее и умер, но имя его до сих пор наводило на всех страх. Да и сама Шахрибану была резка и сурова: не подступишься! Двадцать сватов побывало у нее дома, и всех она высмеяла и прогнала со двора. В конце концов сваты махнули на нее рукой.

— Ай, Шахрибану-ханум, — шутливо говорил иногда Гюльали-оглы, — ты молода, красива. Отчего ты не выходишь замуж?..

Шахрибану краснела. Она, кажется, уже жалела о том, что отказала стольким удалым молодцам с лихо закрученными усами, но не хотела в этом признаться и отвечала шуткой на шутку:

— Что делать, Гюльали-оглы! Никто меня не берет!

— Э, пустое говоришь! Охотников много, да ты сама отпугнула их, упокой аллах душу твоего отца!

---

[1] Нукер — домашний слуга; в данном случае — батрак.

Шли годы. И хотя Шахрибану жила в сытости и довольстве, годы брали свое: она старела, лицо ее постепенно утрачивало прежнюю свежесть и красоту. Теперь и правда поздно ей было думать о замужестве.

А в сердце Гюльали-оглы проснулась и расправила крылья давняя сладкая мечта. Раньше она казалась ему несбыточной, но потом безраздельно завладела всеми его помыслами. Он, Гюльали-оглы, будет верным слугой Шахрибану-ханум, и она, ценя его верность, выйдет за него замуж. Ничего, что поблекнет к тому времени красота девушки, зато он получит богатства ее отца! Но он ни словом не обмолвился об этой мечте.

Шахрибану женским чутьем догадывалась о тайных желаниях своего слуги и тоже молчала.

Однако мечте верного нукера не суждено было сбыться. После революции все имущество бека поделили между бедняками. Шахрибану уехала в город и, окончив уездные учительские курсы, поступила на работу в эллярскую школу. Гюльали-оглы, не накопивший за десять лет нукерской службы ни копейки, подал заявление в колхоз. Но он не расстался со своей старой мечтой. Как тень, ходил он за Шахрибану-ханум и старался, чем мог, услужить ей. У Шахрибану оставался все-таки дом, а дом — это тоже неплохо. Да и пора было кончать с бобыльей жизнью.

Вернувшись из Тифлиса, Гюльали-оглы узнал, что Шахрибану собирается покинуть деревню. Весть эта встревожила и обидела его В этот день он не вышел на работу и отправился к Шахрибану. Бекская дочь была грустна, не обрадовал ее и приход Гюльали-оглы

— Что нового, Сарвар? — спросила она равнодушно. — Почему ты так долго не показывался? Вот уже полмесяца не переступал ты этого порога. Нехорошо забывать старых друзей!

Гюльали-оглы, склонив голову набок, застыл в почтительной позе, выражавшей бесконечную преданность. Вот так он стоял перед Шахрибану-ханум еще в те времена, когда был нукером.

— Валлах, я не виноват! Что поделаешь — работы по горло. Ни минутки не остается свободной. И потом...

— Ну еще бы! — прервала его Шахрибану. — Ты записался в колхоз, стал большим человеком. Это только нам, бедным, некуда девать время...

Гюльали-оглы насупился, а Шахрибану, почувствовав, что ирония сейчас неуместна, поспешила переменить тон:

— Когда вы произносите слово «колхоз», то во рту у вас, по поговорке, может поместиться целый заяц со всеми потрохами! Загордились! А скажи по совести, где тебе жилось лучше: у меня или в колхозе?

Гюльали-оглы пропустил ее вопрос мимо ушей. Ковыряя земляной пол своей палкой, с которой никогда не расставался, он неопределенно протянул:

— Ай, ханум, посмотрим, как все будет...

Гюльали-оглы ждал удобной минуты, чтобы серьезно поговорить с Шахрибану, но бекская дочь не спрашивала, зачем он пришел, и сама не открывала своих намерений. Она не сказала Гюльали-оглы, что ее по недостатку знаний освободили от работы в школе, поэтому ей и приходится уезжать из деревни. Она ничего ему не сказала, а только улыбнулась и попросила:

— Спой мне что-нибудь, Сарвар! Сегодня мы видимся в последний раз, а я давно не слыхала твоих песен.

— Что же тебе спеть, ханум? Голос-то у меня стал грубым и хриплым...

— Не беда!.. Лишь бы песня была хорошая.

В молодости Гюльали-оглы знал много песен и часто певал их Шахрибану-ханум. Во всей деревне никто не мог сравниться с ним в исполнении народной песни — кесмешикаста. Он пел иногда и сегях[1] и некоторые газеллы Физули. Но из всех поэтов больше всего был ему по душе Вагиф. Лирика Вагифа помогала нукеру рассказывать неприступной Шахрибану о своих страданиях.

Сейчас ему вспомнился, однако, не Вагиф, а Физули. Он опустил глаза, вздохнул, потом снова взглянул на печально улыбавшиеся губы Шахрибану-ханум и тихо простонал:

О товарищ, сдружи меня
Со страданиями любви...

Шахрибану громко рассмеялась:

— Сарвар, кто сложил эту песню?

---

[1] Сегях — старая классическая азербайджанская мелодия.

— Эту песню? — растерялся Гюльали-оглы. — Физули!

— Но у него нет таких слов!.. Я читала всего Физули, у него сказано: «О творец, подружи меня со страданиями любви». Откуда ж ты взял «товарища»?

— Ай, ханум, эти комсомольцы совсем меня запугали! Клянусь аллахом, порой так и готово сорваться с языка «бог» или «творец», да невольно спохватываешься: засмеют! К тому же, ханум, в те годы Физули, конечно, верил в аллаха... Но если б он писал эти стихи сейчас, он обязательно сказал бы «товарищ».

Гюльали-оглы снова запел. Он уже больше ничего не прибавлял от себя; и Шахрибану-ханум, слушая песню, вдруг расплакалась. Заметив слезы, катившиеся по ее щекам, Гюльали-оглы с тревогой спросил:

— Что с тобой, ханум? Неужели ты из-за песни?

— Ах, Сарвар! — вытирая платком слезы, вздохнула Шахрибану. — Много лет прожила я на свете, а так и не видела радости. Я играла на свадьбах в карты, выигрывала коней, деньги... У меня и сейчас есть золото. Но на что оно мне? Нет радости в моей жизни. Вот приходится покидать родные места. А куда ехать? И сама не знаю... Дядя, брат моего отца, прислал мне из-за границы письмо, зовет к себе. И мне ничего не остается, как согласиться. Во имя нашей старой дружбы, Сарвар, помоги собраться и проводи меня.

Гюльали-оглы словно окатили холодной водой. Бекская дочь, она всегда и во всем бекская дочь! Он, Гюльали-оглы, долгие годы лелеял в своем сердце яркую мечту, а Шахрибану растоптала ее в одно мгновение. Она ни о чем его не уведомила, не посоветовалась, а теперь, словно так и должно быть, заранее рассчитывает на его услуги!

Но Гюльали-оглы и обиду свою спрятал в глубине сердца, как привык прятать мечту, а Шахрибану не заметила, что причинила горе своему верному слуге.

— Только смотри не проговорись! — предупредила она Гюльали-оглы. — Ох, Сарвар, я так одинока! Ну, кто мне тут поможет? Я, кажется, должна буду обратиться за помощью к Фарман-беку. Не надо было ему убивать Садаф. Если он попадет в руки властям, не будет ему пощады! У него теперь один выход: бежать за границу. Вот и я с ним... А ты меня проводишь

к нему, ладно? Я оставлю тебе свой дом, дам немного золота... Вы считаете беков какими-то тиранами, а я — видишь! — не забываю о своем бывшем нукере.

«Ну что ж, — подумал Гюльали-оглы, — не хочет считаться со мной — не надо. Плакать не буду. А на худой конец выманю у нее хоть дом!»

— Хорошо, согласен. Провожу тебя, куда пожелаешь!..

3

Мурсал-киши назначил колхозное собрание в здании школы. Под вечер к школе потянулись колхозники. Они только что управились с поливкой земли после первой пахоты и возвращались с полей усталые, измученные. Мурсал-киши был доволен: колхоз выполнил план пахоты. Старик обошел сегодня поля: все было сделано так, как указывала Сария. На некоторых участках уже завтра можно было приступать к севу. Особое рвение проявила бригада, готовившая землю под хлопок, и Мурсал-киши начал собрание с того, что похвалил отличившихся:

— Клянусь честью, верно говаривали отцы и деды: если чабан захочет, он и от козла получит сыр! Припомните-ка, какими были эти участки? Камни да кочки! А сорняков — тьма-тьмущая! А теперь? Наши молодцы превратили землю в воск. Не земля — перина! Ложись себе и спи сладким сном.

После этого короткого вступления председатель пересчитал собравшихся: пришло около пятидесяти человек. Женщин было совсем мало: не больше двенадцати. Мурсал-киши укоризненно покачал головой:

— Сто раз я просил: приводите на собрания своих жен! Говоришь, говоришь, а вы и ухом не ведете!

Колхозники промолчали, а Мурсал-киши ласково обратился к Мариям:

— Говори ты, дочка. Я уж устал читать им наставления. У них в одно ухо входит, из другого выходит.

Колхозники были утомлены, но когда начала говорить Мариям, все оживились.

— Товарищи! — строго и серьезно сказала девушка. — Недавно на нашу деревню напали бандиты. Они убили нашу учительницу. Они хотели разгромить нашу

школу! Бандиты боятся света, а мы стремимся к нему! Без культуры, без знаний нельзя идти вперед! Темный, неграмотный крестьянин не в силах построить прекрасное будущее! Потому-то мы и учим своих детей. Но матери трудно воспитывать ребенка, если сама она неграмотна. Потому-то мы и учим грамоте наших женщин. Все это в порядке вещей. Но добиться решающих успехов мы сможем лишь тогда, когда у нас будут красивые дома, просторные клубы, электростанция. Будет ли у нас все это? Ну конечно, будет! И в самом скором времени! Но зависит это только от нас самих.

На первой скамье сидела жена Мурсала-киши; она слушала Мариям, открыв рот, так что видны были ее искрошившиеся зубы. Но дивилась старуха не словам девушки, а ее смелости и непринужденности. Не сводила с девушки глаз и Салатын, примостившаяся рядом с женой Мурсала-киши. «Вот бойкая!» — думала она с завистью и восхищением.

— Что же нам нужно сделать, товарищи? — продолжала Мариям. — Прежде всего, кяриз! Он поможет нам получить чистую родниковую воду взамен мутной куринской. Прорыв кяриз, мы сможем построить электростанцию, и тогда исчезнут из ваших домов коптилки и вспыхнут яркие электрические лампочки. Мурсал-киши уже присмотрел место для электростанции. И второе, товарищи. Вы уже испытали на себе коварство Куры. В этом году паводком снесло шестнадцать домов. То же самое грозит вам и в будущем. Мы не в силах пока обуздать Куру. И лучше всего — создать на новом месте новую деревню и раз навсегда избавиться от нависшей над нами опасности! Это предложение и мое, и Мурсала-киши, и товарища Тарлана.

Мариям говорила долго; ей похлопали, но больше из чувства уважения, чем от избытка энтузиазма. Затем воцарилось глубокое молчание. Видя, что слова девушки не нашли нужного отклика в сердцах крестьян, Мурсал-киши решил дополнить ее выступление.

— Дорогие вы мои! Ну рассудите сами. Этим летом мы уже не будем перекочевывать в горы. А в жару без чистой воды не обойдешься. Мы хотим разбить новые сады, цветники, виноградники. Опять же нужна вода. До сих пор мы ютимся в тесных землянках. А землянки хороши для скота, а не для человека! Для

нас больше подходят каменные дома! Ведь верно? Я долго над всем этим думал... И Тарлан-муаллим тоже думал. И сошлись мы на одном: если всем миром взяться за молот и бить этим молотом в одну точку, то не то что деревню — целый город можно построить. А там, глядишь, и соседи за нами потянутся! Так-то, дорогие мои... И если я вам что набрехал, нате разбейте мою седую голову! — Мурсал-киши помолчал, почесал за ухом и решительно закончил: — Выкладывайте, что вы на этот счет думаете! А я так хоть завтра, а то и прямо сейчас готов перебраться на новое место!

В зале по-прежнему стояла удручающая тишина.

Мурсал-киши первым понял, что они потерпели поражение, потому что хорошо знал душу крестьянина. Ему было ясно как день: нет ничего трудней, чем завоевать расположение крестьян силой слова. Тут нужны особенные слова — веские, доходчивые. И он пожалел, что нет с ними сегодня Тарлана. «Был бы Тарлан-муаллим, он протянул бы нам руку помощи. Мариям — умная девушка, но она не научилась еще разговаривать с народом. А я... какой я оратор? Вот после выступления учителя сразу поднялся бы лес рук!»

Вдруг слово попросил Гюльали-оглы. Старик очнулся от своих невеселых мыслей и приветливо сказал:

— Говори, говори, дорогой. Да не оттуда, иди сюда к столу.

Колхозники проводили своего односельчанина напряженными, выжидающими взглядами.

— Люди добрые! — начал Гюльали-оглы. — Мурсал-киши — человек уважаемый; он плохого не посоветует. Но только надо все хорошенько взвесить... Легко ли это — разорить родное гнездо, променять насиженное место на голую равнину! А ради чего? Ради журавля в небе! Нет, дорогой, я на это не согласен. Время терпит!

Мурсал-киши полагал, что уж кто-кто, а Гюльали-оглы с радостью поддержит его предложение: ведь у бедняги не было ни кола ни двора. Такие горемыки, как Гюльали-оглы, с легкой душой покидают свои жилища! И если он упирается, значит, есть на то своя причина. Наверно, он все еще подумывает о женитьбе на Шахрибану-ханум...

Мурсал-киши усмехнулся и спросил:

— Ай, Гюльали-оглы, ну что ты потеряешь, если переберешься в новый дом? Твоя землянка — слава аллаху! — мало чем отличается от хлева. Что ты за нее так цепляешься?

Многие поняли намек, скрытый в словах председателя, и лукаво заулыбались, начали перемигиваться. Гюльали-оглы растерялся и, заикаясь, пробормотал:

— Я... я что хочу сказать...

— Ну, ну, говори! — подбодрил его Мурсал-киши.

Незадачливый оратор долго не мог собраться с духом. Наконец он сказал:

— Я беден, дорогие... Бросить землянку — это проще простого! Только хватит ли у меня силенок сладить новый дом? А таких, как я, много. Если постановят они переселяться, тогда и я переселюсь. Той[1], в котором участвует весь народ, это уже байрам![2] Как все, так и я.

Гюльали-оглы вернулся на место, а Мурсал-киши снова обратился к колхозникам:

— Ну что вы сидите, словно воды в рот набрали? Я ведь собрал вас для того, чтобы посоветоваться. Кто хочет говорить?

— Дайте мне слово, дядя Мурсал! — послышалось из задних рядов, и к столу уверенной походкой прошел загорелый парень лет восемнадцати-девятнадцати, с красными от усталости глазами.

Гюльали-оглы съежился. Он боялся комсомольцев: всегда они на кого-то наскакивали, всегда были готовы к решительной атаке! Сейчас Гюльали-оглы боялся за себя: этот птенец обязательно поднимет его на смех! Но опасения Гюльали-оглы оказались напрасными. Парень говорил вовсе не о нем, а о недавнем нападении бандитов, о зверском убийстве Садаф-ханум, о крепнущей с каждым днем дружбе между азербайджанскими и армянскими крестьянами.

— Тарлан и Мурсал-киши поставили перед нами большую задачу. Многим может показаться, что им предлагают только спастись от возможных паводков. Но вопрос стоит шире! Главная наша цель — еще теснее сдружиться с соседями-армянами. Мы вместе должны

---

[1] Той — свадьба; праздник, торжество.
[2] Байрам — большой праздник.

строить колхозную электростанцию! В общем труде рождается чувство настоящего братства. Вспомните, сколько новых друзей появилось у каждого во время паводка, когда на помощь нам пришли армянские крестьяне!.. Вот об этой стороне дела не вспомнили почему-то ни дядя Мурсал, ни товарищ Марйям.

— Твоя правда, сынок! — согласился Мурсал-киши. — Не умею я говорить!

По залу прошел шепот: «Молодчина парень!», «Ишь как заливается, чисто соловей!..» А оратор, выждав с минуту, заговорил снова:

— Вот еще о чем хотел я сказать. Нас, комсомольцев, часто поругивают: плохо, мол, работаете, мало помогаете колхозу. Как секретарь комсомольской ячейки, я принимаю эту критику. Что ж, постараемся работать лучше. Но скажите, кто у нас передовые бригадиры? Комсомольцы. А кто во время наводнения выполнял самую трудную работу?

Гюльали-оглы заерзал на своем месте и неодобрительно крикнул:

— Да что вы себя расхваливаете?

Все рассмеялись, а секретарь, посерьезнев, сказал:

— Я взял слово не для пустой похвальбы. Вы можете проверить комсомольцев в работе. И очень скоро!.. Вот Гюльали-оглы говорил здесь, что он беден и слабосилен. Да, один в поле не воин. Но все вместе мы горы своротим! И уж поверьте, комсомольцы от других не отстанут! Гюльали-оглы, говорят, боится комсомольцев. А почему? Видно, кто-то сбивает его с толку! Вы все, наверно, помните, как Шамиль ударил нашего Тарлана. А вместе с ним пил тогда водку и Гюльали-оглы. О чем это говорит, товарищи? Да о том, что Гюльали-оглы еще не различает, кто ему друг, а кто враг. Сегодня я узнал, что Гюльали-оглы, получив от доктора справку о болезни, весь день просидел у Шахрибану-ханум, услаждал ее слух песнями. Если уж он такой хороший певец, так пел бы для всех, а не для одной бекской дочки!

— Врет он! — крикнул, не сдержавшись, Гюльали-оглы.

— Нет у меня такой привычки — врать! — отрезал секретарь ячейки. — А то, что Шахрибану-ханум обещала подарить тебе дом, — это тоже, скажешь, вранье?

Эй, Гюльали-оглы, не верь ее сладким обещаниям, не отбивайся от народа!..

В это время дверь зала, в котором проходило собрание, отворилась и вошло трое крестьян: уже знакомый нам Адхам-киши и с ним хозяева домов, разрушенных паводком. Все с любопытством оглянулись на вошедших. Мурсал-киши догадался, что неспроста явились они на это собрание, и радушно предложил:

— Садитесь, дорогие. Да садитесь, есть же свободные места!

Адхам-киши поискал места в задних рядах, но не нашел и встал у стены.

— Кто еще хочет выступить? — спросил Мурсал-киши. — Не бойтесь, если даже вы не умеете говорить так же складно, как наш комсомольский секретарь, все равно мы будем слушать вас, как говорится, в оба. Кому дать слово?

Адхам-киши, словно школьник, поднял вверх длинный указательный палец.

— Просим! Просим! — поощрительно зашумели колхозники.

Адхам-киши неторопливо подошел к столу. Мариям, сидевшая за столом, окинула его внимательным, любопытным взглядом. Это был высокий, широкоплечий старик с большим лбом и добрыми, ласковыми глазами. Возрастом он не уступал Мурсалу-киши, но отличался молодой энергией и недюжинным здоровьем. Во всей деревне не было равных ему по росту. Мариям рядом с ним выглядела хрупкой девочкой.

— Говори, дорогой, послушаем! — сказал Мурсал-киши.

— А что тут долго говорить, да перейдут на меня твои недуги! Я так скажу: счастлив человек, который умеет отличить врагов от друзей! Я вот на старости лет научился этому и пришел сюда, чтобы снова попроситься в вашу семью. Ай, Мурсал, ведь не кулак же я?

— Да кто ж говорит, что ты кулак?..

Адхам-киши улыбнулся.

— Сегодня я закончил сев хлопка, дай бог вечной жизни советской власти! Мой племянник, сын брата моего, начальник наших комсомольцев, растолковал мне, что к чему. Теперь я вижу, какую сделал промашку! Поддался на уговоры кулаков, на наущения док-

тора и ушел от вас, — он протянул руку к висевшему на стене портрету Ленина, — сбился с дороги, которую он нам указал!

— Спасибо, дядя! — радостно крикнул секретарь комсомольской ячейки. — Молодец!..

А Гюльали-оглы снова заерзал на своем месте и недовольно проворчал:

— Хвали, хвали своего родича!

— Ай, Гюльали-оглы, — спокойно сказал Адхам-киши. — Да, этот паренек — мой племянник. И негоже ему меня хвалить. Но ведь это он раскрыл мне глаза, и я ему благодарен за это. Я уже слышал о новой деревне. Примите меня снова в колхоз, и я с охотой переселюсь в эту деревню! Я уже стар, но хочу сменить коптилку на иликтрискую лампочку! Старикам-то больше, чем другим, нужен яркий свет! Примите меня в колхоз!.. Видите, я привел с собой двух товарищей. Вы их хорошо знаете. Назло нашим врагам, назло тем, кто погубил нашу розу — Садаф-ханум, мы будем трудиться не покладая рук! Пора одуматься и всем остальным, кого одурачили наши недруги!..

Адхам-киши говорил с глубоким волнением, и всех тронули его простые, прочувствованные слова. Мариям прониклась к нему искренним уважением. А Мурсал-киши больше всего радовался тому, что в колхозную семью вернулся один из самых умелых, хозяйственных крестьян.

Собрание бурлило, как река весной, и Мурсал-киши походил сейчас на капитана, засмотревшегося на чудесные пейзажи и забывшего о штурвале. Корабль плыл по воле волн. Наконец старик вспомнил о своих председательских обязанностях и предложил:

— Высказывайтесь поскорее, товарищи. Все уже устали; пора по домам. На чем мы порешим?

— Давай голосовать, дядя Мурсал! — послышалось из задних рядов.

— Ишь какой прыткий! Спать небось захотелось?

— Да что там долго думать! Вопрос ясен.

— Ай, не пори горячку! В кои-то веки собрались, так дай людям выговориться!

Но молодежь на задних скамьях не унималась.

— Давай голосовать! Ставь на голосование!

Мурсал-киши вопросительно посмотрел на Мариям, та кивнула головой, и старик бодро выкрикнул:

— Кто за то, чтобы перебраться на новое место, — поднимите руки!

Он терпеливо, не спеша, пересчитал поднятые руки. Мариям радостно улыбнулась: они одержали победу!

— Сорок семь, — удовлетворенно произнес Мурсал-киши. — Так. Кто против? Нет таких... Кто воздержался? Тоже нет. Очень хорошо! А ты, Гюльали-оглы, за что голосуешь?

— Мужчина должен держать свое слово, — решительно сказал Гюльали-оглы. — Как я сказал, так и сделаю. Я — «за»!

Собрание единогласно приняло в колхоз Адхама-киши и его товарищей. Мурсал-киши вздохнул всей грудью и ласково сказал:

— Идите по домам, дорогие... Отдохните как следует. Как только управимся с севом, сразу начнем переселяться. Заготовьте побольше прутьев для алачугов. Вернется Тарлан-муаллим, мы попросим у наших соседей-армян арбы, разберем дома и свезем в намеченное место бревна и доски.

4

Колхозники разошлись по домам. Крестьяне, только что записавшиеся в колхоз, вышли из школы вместе с Мурсалом-киши и Мариям. Между ними завязалась горячая беседа, только Адхам-киши молчал. Мурсал-киши взглянул на него испытующе, отвел в сторону и спросил:

— Что это ты сегодня говорил о докторе, а?

— Ай, Мурсал, не везет нам на хороших людей!.. Когда наш доктор проливал слезы над могилой Садаф-ханум, меня так и подмывало осрамить его перед всем народом! Двоедушный он человек. Однажды зашел я к нему, стал жаловаться на всякие непорядки, так он только подлил масла в огонь: «У вас, говорит, в колхозе горе-руководители, зря вы гнете на них спину; зря палите на солнце свои папахи!..» Хозяева побогаче тоже подбивали меня уйти из колхоза, ну и заморочили мне голову! А потом приволок ко мне Шамиль какую-то кляузу на Тарлана: уверял, что написал ее вместе

с доктором. Как-то ночью я и правда видел Шариф-заде у Шамиля. Я ему верил, доктору... А тут подумал: с чего это он с Шамилем стакнулся? Партиец — и бандит!.. Чудно как-то, а, председатель?..

— Так, так, — задумчиво протянул Мурсал-киши. — А когда ты видел его у Шамиля?

— Незадолго перед тем, как наш сельсовет посадил этого сукиного сына. И хорошо сделал, что посадил! Это он, волчья шкура, сеял смуту среди народа, науськивал нас друг на друга! Меня давно подмывало поймать его да вздуть как следует. Только рук марать не хотелось. А когда он утек с бандитами, раскаялся я в своей доброте, да поздно.

— Что ж ты о докторе-то молчал? — упрекнул Мурсал-киши.

— Сам знаешь, не до него было! Все думал: успеется.

— Что ж, Адхам, спасибо, что хоть теперь во всем мне признался. Ай, доктор! Ну и лиса! Послушал бы ты, как он расхваливает советскую власть: во рту у него целый заяц может поместиться со всеми своими потрохами! Ну, будь здоров, Адхам. Завтра зайдем к тебе, примем скотину.

Председатель колхоза простился с Адхамом-киши и окликнул Марьям, которая шла впереди, оживленно разговаривая с новыми колхозниками:

— Поди-ка сюда, дочка! Иди, иди, я припас для тебя новость. Послушай-ка, что вытворяют за нашими спинами злые оборотни!..

5

Прямо из школы Гюльали-оглы направился к Шариф-заде. Подойдя к калитке, он позвал Гамида, но никто не откликнулся. Тогда он крикнул громче:

— Эй, Гамид!

В дверях показался Шариф-заде в плаще, наброшенном поверх нижней рубашки. Он не узнал Гюльали-оглы и с беспокойством спросил:

— Кто там? Гамида нет дома; он ушел в сельсовет!..

— Добрый вечер, доктор! Тебя-то я и ищу. Это я, Гюльали-оглы! А Салатын-ханум дома?

— Дома. Только что пришла. Ставит самовар для мужа. Заходи, выпьешь чайку.

Они дружески пожали друг другу руки, и доктор, попыхивая папиросой, спросил:

— Откуда ты это на ночь глядя?

— Задержался на колхозном собрании. Вот шуму-то было! Спорили, спорили, потом порешили: переселяться всем колхозом на новое место. Теперь в деревне только и разговору что об этом собрании. Подавай им иликтриски — и все тут!

Доктор еще сильней задымил папиросой.

— А ты... Ты тоже голосовал за переселение?

— Я ерепенился, да никто меня не послушал. Только посмеялись. Припомнили и Шахрибану-ханум, и дом, который она обещала мне подарить, и много чего другого. Правда, добрая половина колхозников поначалу тоже упиралась. Да пришел этот сукин сын Адхам и все испортил...

Врач удивленно поднял брови.

— Это какой Адхам?

— Да ты его знаешь. Длинный, как чинара!..

— А, знаю, знаю. Но ведь он вышел из колхоза?

— А теперь вернулся. И если б он не пришел на собрание, слава аллаху, опозорился бы наш председатель!

Шариф-заде взял Гюльали-оглы за локоть и легонько подтолкнул его к двери.

— Пойдем домой. Что-то озяб я... Попьем чайку, спокойно все обсудим. Не нравятся мне твои новости... Идем, идем!

— Ай, доктор, у меня к тебе дело, а при хозяйке о нем не потолкуешь. Ступай оденься, и поищем укромное место.

Врач бросил на землю папиросу и настороженно спросил:

— А что за дело?.. Огорчить меня хочешь или обрадовать?..

— Валлах, я и сам еще не разобрался.

— Так... Подожди меня, я сейчас вернусь.

Шариф-заде поспешно прошел в комнату. Салатын сидела у самовара, увенчанного пестрым чайником, и что-то штопала. Увидев, что врач торопливо одевается,

она отложила работу, сняла с чайника подпрыгивающую крышку и удивленно спросила:

— Куда это вы так поздно?

— К больному вызвали, — не глядя на нее, проворчал Шариф-заде. Он надел пиджак, незаметно достал из кармана пальто, висевшего на стене, револьвер и тем же недовольным тоном добавил: — Ни на минуту не оставляют в покое! Ч-черт, и куда ж это лекарство запропастилось?

Он говорил умышленно громко и старался не глядеть на Салатын.

Выйдя на улицу, врач взял Гюльали-оглы под руку, и они направились к долине Махмудлу. Ночь была лунная, светлая. В бездонном небе перемигивались крохотные звезды. Однако врачу некогда было любоваться природой. Он с опаской оглядывался по сторонам, чутко прислушивался к ночным звукам.

— Стой-ка! — прошептал он вдруг, наклонясь к самому уху своего спутника. — Кто-то идет сюда... Кажется, Гамид. Ступай за мной, спрячемся пока здесь.

Они метнулись в хлев, притулившийся у дороги. Несколько минут стояли молча, боясь пошевелиться. Наконец на дороге показался Гамид. И только тогда, когда он торопливо прошел мимо и шаги его стихли вдали, Шариф-заде потянул Гюльали-оглы за рукав и прошептал:

— Пошли! Ночь-то, словно назло, светла как день! Встретится какая-нибудь собака — вмиг нас узнает. Пошли побыстрей!

Вскоре деревня осталась позади.

6

После истории с Шариф-заде Салатын места себе не находила. Она видела, что врача гложет постоянный страх, однако и сама она, когда муж был не в духе, начинала бояться, что он обо всем догадался. Салатын была наивна и простодушна и легко выдавала свою тревогу: краснела как мак, смущенно опускала глаза.

Это любого могло насторожить, но Гамид безгранично верил своей Салатын и не сомневался в постояльце. Он просто представить себе не мог, что чело-

век, которого он принял как друга в свой дом, способен отплатить ему черной неблагодарностью.

И только сегодня у Гамида открылись глаза: ему рассказал обо всем двоюродный брат, который заглянул в ту ночь в окно и оказался свидетелем недвусмысленной сцены.

Выслушав рассказ брата, Гамид пришел в ярость. Он бросил все дела и поспешил домой. Войдя в комнату, он в упор посмотрел на жену, а Салатын, охваченная недобрым предчувствием, отступила в темный угол и сделала вид, что занята стряпней. Гамид швырнул в стенной шкаф потрепанный портфель, шагнул к самовару и, взглянув на жену, которая уже суетилась, накрывая стол, раздраженно крикнул:

— Может, прикажешь мне умереть с голоду? Не могла пораньше приготовить свой ужин из змеиного яда?

Заметив в глазах Гамида недобрый огонек, Салатын сказала дрожащим голосом:

— Зачем кричишь? Ты ж еще не сел за стол... Все готово, я давно вскипятила чай, наварила мяса. Почему ты сердишься?..

— «Все готово, все готово»! — передразнил ее Гамид. — А готова ты подставить мне свою спину? Я так тебя отколочу, что кости у тебя станут мягкими как воск! Потаскуха!

Салатын опустила голову и заплакала. За все время, как она переступила порог мужнина дома, она еще не слышала от него таких оскорблений.

— Ну что я тебе сделала? За что ты бранишь меня? — прошептала Салатын. — Я ни в чем не виновата!

— Ах, не виновата? Значит, каждый проходимец может делать у меня в доме, что ему вздумается? Прочь с моих глаз! Не будь у меня партбилета, я бы изрубил тебя на куски и выбросил собакам! Собирай свое барахло и проваливай хоть к черту! Нет у меня больше жены по имени Салатын!

Салатын все рыдала, не отвечая мужу. Гамид сел на тахту, снял с ремня и отбросил в сторону свой револьвер, закурил. Злоба душила его. Он расстегнул пиджак и жадно затянулся папиросой. «Брат не станет мне врать! Зачем ему это? Да и доктор не похож на

невинного агнца! Как это я раньше его не разглядел? Ведь мошенник, настоящий мошенник!.. Клялся мне в дружбе, а сам держал камень за пазухой! А с чего это он так уговаривал меня заступиться за Шамиля?.. Что-то тут неладно!.. Не надо было мне водить дружбу с такими людьми! И черт меня дернул пустить в дом сукиного сына, которого я и не знал толком! Тьфу!» Гамид как бешеный сорвался с места и, не обращая внимания на слезы жены, стремительно прошел к выходу.

Услышав, как за мужем хлопнула дверь, Салатын зарыдала еще громче. «Почему дорогу, по которой он приехал, не завалили камнями, не утыкали шипами?..» — причитала она, осыпая Шариф-заде проклятьями. Это он разорил их гнездо, разбил ее жизнь! Салатын сейчас ненавидела врача, и эта ненависть придала ей силы и решимости. Она оделась, накрыла голову платком, взяла с камина тяжелый замок и, заперев за собой дверь, торопливой походкой направилась к школе. Ей хотелось крикнуть на всю деревню: «Я не виновата! Как мне быть, бедной, я же не виновата! Я ведь ударила его!» Но она удержала рвущуюся из самого сердца жалобу и только ускорила шаги. «Надо рассказать обо всем учителю Тарлану. Он добрый, умный: он поймет меня. Пусть Гамид разводится со мной, но он должен знать, что я не виновата!»

Вдруг Салатын, словно споткнувшись, остановилась и тихо застонала. «Бедная я, бедная!.. Ведь Тарлан-муаллим сейчас далеко... Кому же мне излить свое горе? Пойти разве к дяде Мурсалу? Он, наверно, дома. Да нет, не смогу я с ним говорить... Стыдно!»

Салатын громко всхлипнула. Нет, никому не расскажет она о своей беде. Расскажешь — только выставишь себя на позор перед всей деревней. «Лучше я убью доктора, — как в полусне, подумала Салатын. — Задушу его ночью, когда он будет спать! Это он сделал меня несчастной!» Она повернулась и побежала к дому.

Самовар уже остыл; он стоял молчаливый, насупленный. Салатын обвела комнату лихорадочно блестевшими глазами и вдруг заметила на тахте кобуру с револьвером мужа. Она схватила кобуру, вынула из нее револьвер, завернула его в свой платок, но тут же

вспомнила, что за всю жизнь не сделала ни одного выстрела и только однажды видела, как стреляли другие. Это было четыре года назад, в день ее свадьбы. Жених и невеста в окружении деревенской молодежи шли к дому Гамида. Юноши, жаждавшие награды, состязались в стрельбе по пылающим факелам. Салатын тогда не присматривалась к их повадкам: не до того ей было, а сейчас она жалела об этом, жалела, что не научилась стрелять.

День свадьбы! Как ярок и многоцветен был этот день, как верила она, что впереди ее ждет счастье — счастье на всю жизнь! Звуки выстрелов, слепящее пламя факелов, веселый шум, хохот, легко касавшиеся инструмента искусные пальцы зурначи, наигрывавшего воинственную песню «Кёр-оглы», ласковый, любящий взгляд Гамида, с улыбкой смотревшего на невесту, оживленные лица девушек и молодиц — все это мгновенно пронеслось в памяти Салатын, и плечи ее опять затряслись от рыданий. Она прокляла и этот день — день ее свадьбы, а потом, рассердившись на себя, принялась вертеть в руках злосчастный револьвер. Нажала курок. Отвела его. Поднесла револьвер к лампе, поковырялась в затворе. Неожиданно прогремел выстрел; пуля разбила одну из фаянсовых чашек, расставленных на полке. Салатын вздрогнула, в глазах ее мелькнул ужас, но она быстро пришла в себя и торжествующе воскликнула: «Научилась! Научилась! Теперь я убью его!» С этим криком «Убью!» она выскочила на улицу и, замерев на минуту, посмотрела по сторонам. Тихо, темно... Но Салатын была словно в горячке, и ей показалось, будто горбатые землянки ожили и шепчут, глядя на нее округлившимися от испуга глазами: «Вернись! Одумайся!..»

Салатын не знала, где ей искать Шариф-заде, но решила почему-то, что он в амбулатории, и ринулась вниз по дороге. Она уже представляла себе, как войдет в кабинет, где склонился над больным человек в белом халате, как он обернется к ней, а она выстрелит ему прямо в лоб. И вот она уже бежит обратно, а раненый кричит ей вслед: «Стой! Стой!», но она не останавливается и бежит все быстрей и быстрей.

Где-то рядом залаяли собаки. Салатын, словно очнувшись от сна, нагнулась к земле за камнем. Собак

было много, целая свора, вожаком у них был наглый, злой пес, от которого никому не было спасенья, и Салатын, перепугавшись, кинулась обратно к дому. Собаки вскоре отстали, и только вожак гнался за ней до самой калитки.

Салатын захлопнула за собой калитку и долго стояла не двигаясь: все не могла отдышаться.

В деревне снова наступила тишина. Салатын медленно повернулась: в окнах горел свет. Понурив голову, она побрела к двери.

Гамид был уже дома, он лежал лицом вниз на тахте. Салатын бесшумными шагами прошла к сундуку со своим приданым, прижалась лбом к холодной стене и залилась слезами. Револьвер выскользнул из ее рук и с громким стуком упал на пол.

Но Гамид даже не обернулся.

7

Шариф-заде привел Гюльали-оглы в долину Махмудлу, где встречался обычно со своими сообщниками. Здесь он остановился, огляделся вокруг и, уверившись, что никто за ним не следит, сладко потянулся, зевнул и, укладываясь на свой плащ, разостланный на земле, небрежно бросил:

— Ну выкладывай, что там у тебя. Послушаем.

Гюльали-оглы печально вздохнул и, помолчав некоторое время, сказал:

— Ты для меня как брат, доктор. Когда надо, помогал и советом и делом. И вот что я тебе скажу: зря ты уехал из города! Неопытный ты еще человек. Говорить ты, правда, умеешь, но на одних сладких речах далеко не уедешь. Ведь ты не в городе, доктор, а в деревне. А у нас в деревне, как говорится, и птица не сможет спокойно вывести птенца. Тут живи да оглядывайся! Порядочный человек тут не ко двору. Коли носишь ты на шее, — он показал на галстук врача, — вот этот ошейник, так ты уже чужой. На тебя все косятся. Ой, доктор, нелегко понравиться нашему брату крестьянину!..

— Послушай, Гюльали-оглы, — прервал его Шариф-заде, — а нельзя ли без длинных рассуждений? Хотел

ты мне что-то сказать, ну так говори, да покороче и пояснее.

Гюльали-оглы, тщившийся показать себя перед доктором мудрым, опытным человеком, понял, что переборщил, но вместо того чтобы сразу изложить суть дела, он в том же нудном, скучном тоне начал новую тираду:

— Ты еще не разобрался, доктор, кто тебе друг, а кто — враг. Знаешь, кто такой Адхам? Если ему даже пригрозят петлей, он все равно не пойдет против советской власти! Натерпелся он в свое время от беков, — не приведи аллах и врагам его испытать все, что испытал Адхам! Только при советской власти вздохнул он свободно. Когда Советы дали ему землю, бедняга, исполняя обет, распродал все свое добро и отправился в Кербалу [1].

— Что же это за обет? — полюбопытствовал Шариф-заде.

— Он давно уже обещал пойти в Кербалу, если у него будет земля! Адхам теперь горой стоит за советскую власть! А беков ненавидит лютой ненавистью. Ведь они у него сына убили... Да и сам он при беках безо всякой вины протомился несколько лет за решеткой.

— Ну что ты тут плетешь мне про Адхама да про беков!

— А ты дослушай до конца. Как только прослышал Адхам про зверства Фарман-бека, сразу попросился обратно в колхоз. «Это, говорит, разные завистники сбили меня с толку. Да и у доктора, говорит, рыльце в пушку».

— Это он на собрании сказал?

— Ну да, на собрании. А домой пошел вместе с Мурсалом-киши и уж наверно порассказал кой-чего этому сыну свиньи!.. Я знаю, доктор, ты нам, простым людям, добра желаешь. Как какой непорядок, ты всегда растолкуешь, что к чему. Но напрасно ты лезешь на рожон. В деревне сейчас такой тарарам поднялся, что, не дай бог, упекут тебя в тюрьму. У тебя своя голова на плечах, а властям такие люди как бельмо на глазу!

[1] Кербала — священный город, куда приходят на поклонение мусульмане — шииты.

— Так, так, — процедил Шариф-заде и, обняв колени, задумался. Замолк и Гюльали-оглы.

После долгой паузы врач закурил папиросу и, еле справившись с кашлем, медленно произнес:

— Значит, так... Ну что ж, Гюльали-оглы, большое тебе спасибо за предупреждение. Ты знаешь, как я уважаю тебя. Но что мне теперь делать? Скрыться?.. Гм... А куда бежать?.. Не к Фарман-беку же? Я ведь не из этих... Я друг простым крестьянам. — Он снова задумался, а потом сказал грустно и мягко: — Ты один можешь мне помочь, Гюльали-оглы. Я ведь еще молод и хочу жить! У меня есть мать; она каждый день выходит на дорогу и смотрит, не возвращается ли ее сын. У меня есть маленькие братишки: они учатся в школе. Пожалей их; я же в семье единственный кормилец! Если со мной что-нибудь случится, и мать и братья помрут с голоду. А ты мог бы отвести от меня опасность. Поможешь мне, Гюльали-оглы?

Гюльали-оглы слушал врача рассеянно, и тому пришлось повторить свой вопрос:

— Ну как, согласен?

— Да чем же я могу помочь тебе, доктор? Все, что мог, я сделал: пришел, предупредил хорошего человека. Если кто об этом проведает, меня выкинут из колхоза. А куда мне тогда деваться? Вся надежда у меня была на Шахрибану-ханум. А она покидает меня, бежит к своему дяде...

Шариф-заде коварно усмехнулся.

— Ну, а если я устрою так, что Шахрибану-ханум выйдет за тебя замуж? Тогда сделаешь, что я попрошу?..

— Ай, доктор! — Гюльали-оглы безнадежно развел руками. — Упустил я свое счастье! Обездолила она меня, горемычного! Кто знает, вернется ли она когда-нибудь в родные края?

— Ну ладно, об этом после, — сердито сказал врач. — Надо думать, как голову спасти. Ты-то сам что можешь мне предложить?

— Самое лучшее — бежать в Баку, доктор. Беги нынче же ночью. Сейчас начальству не до тебя; других дел по горло. А потом ищи ветра в поле!

— Э, нет, не пойдет. Если я сегодня же удеру, то выдам себя с головой! Уж в этом-то случае непременно

начнутся розыски! Видно, остается одно...— Врач вынул из кармана револьвер.— Вся надежда теперь на него, Гюльали-оглы.

Гюльали-оглы в испуге отпрянул назад.

— Что ты хочешь делать, доктор? Помереть всегда успеется!

— А я и не думаю помирать!— усмехнулся Шариф-заде. Он протянул Гюльали-оглы револьвер, горевший в свете луны серебряным блеском, и повелительно сказал:— Возьми его и убей того, кого я тебе назову. А я щедро награжу тебя за это. Ты ведь хочешь быть богатым, а?..

— Мне?.. Убить человека?— запинаясь, пробормотал Гюльали-оглы.— Да ты что, рехнулся?

— Я дам тебе денег, много денег!— горячо зашептал врач.— Я озолочу тебя!.. Ты будешь богаче всех в деревне!.. Бери револьвер, не бойся. Никто на тебя и не подумает! Я бы и сам это сделал, но я уж и так на подозрении. Бери!..

Гюльали-оглы отрицательно помотал головой. Он хотел было уже уйти, но напоследок спросил:

— А кого ты хочешь убить, доктор?

— Э, нет!..— Шариф-заде рассмеялся деланным, деревянным смехом.— Ты раньше скажи: согласен помочь мне или нет? Не согласен? В таком случае ничего не узнаешь.

И впервые в жизни простодушный Гюльали-оглы решил схитрить.

— Ладно,— решительно сказал он,— согласен. Но в кого я должен стрелять? Может, он и у меня в печенках сидит, тогда давай свое золото, не откажусь!

По спине Гюльали-оглы бегали мурашки, ему было не по себе, но Шариф-заде не заметил его волнения и с ненавистью прохрипел:

— Да, да, это и твой враг! Ты часто на него жаловался. В общем, слушай. Ты должен убить Мурсала-киши. Дальше видно будет; может быть, придется убрать и Тарлана. Хотя он и так, наверно, недолго протянет.

Гюльали-оглы не верил своим ушам. С минуту он стоял, испуганно выкатив глаза, но потом понял, что доктор говорит серьезно, и, похолодев от ужаса, отскочил назад, словно наступил на ядовитую змею.

— Нет, нет, дорогой, ты не за того меня принимаешь! Не поднимется у меня рука на невинного человека!.. Да и тебе советую: брось это дело. Не бери греха на душу! Ну что они сделали тебе плохого?..

— Пока они живы, мне опасно оставаться в деревне. Надо убрать их, а там я как-нибудь выкручусь. На револьвер.

— Нет! — крикнул Гюльали-оглы. — Вот уж не думал, доктор, что ты такой зверь! Убить учителя Тарлана! Нашего Тарлана! Да он для нас роднее родного брата. Что ж ты хочешь, чтоб я согласился на братоубийство? Ай, доктор, вставай, пойдем отсюда! У меня в голове мутится! Ишь какая штука: оказывается, и среди ученых людей бывают кровопийцы. Пошли, доктор, пошли!

Гюльали-оглы отошел уже далеко от Шариф-заде, а тот все сидел на своем плаще, злой, мрачный, растерянный. «Опять просчет! — выругался он про себя. — Хотел разгладить брови, да угодил в глаз... Все они надышаться не могут на свои Советы! Пес, сучий сын, сейчас он придет в деревню и начнет трепать языком!» И, не понимая еще, что он делает, Шариф-заде поднял револьвер и нажал курок. Один за другим сухо щелкнули два выстрела. Гюльали-оглы ткнулся лицом в землю и больше уже не двигался.

Врач, дрожа, встал с плаща и медленно, боязливо приблизился к Гюльали-оглы. «Что я наделал! Что я наделал!» — с ужасом подумал он, уставив бессмысленный взгляд на окровавленный затылок убитого, и тихо окликнул:

— Ай, Гюльали-оглы! Гюльали-оглы! Ты жив?..

И в эту минуту слуха его коснулся тяжкий, жуткий стон, от которого у Шариф-заде зашевелились волосы. Казалось, голос Гюльали-оглы шел со дна глубочайшего колодца:

— Злодей! Что я тебе сделал?..

Шариф-заде затрясся всем телом и отступил назад. Но Гюльали-оглы уже умолк, умолк навсегда. Он ушел из жизни, не поняв, за что его убили, так же как не знал и раньше, зачем появился на свет. Если бы он прожил еще хоть пять минут, он, может, уразумел бы в эти последние минуты, что вся его жизнь — жизнь человека, не отличавшего друзей от врагов, — была

цепью ошибок. Но смерть помешала ему подвести этот горький итог.

Шариф-заде повернулся и, спотыкаясь, пустился бежать к деревне. Вокруг было тихо, но в ушах у него все звучали последние слова убитого: «Что я тебе сделал?..»

В бездонной глубине неба светила луна и золотилась россыпь ярких крохотных звезд.

8

Домой Шариф-заде вернулся поздней ночью. Гамид спал на тахте, укрывшись шинелью, а Салатын, привалившись к стене, сидела на сундуке и тихо всхлипывала.

У врача екнуло сердце, но он принял равнодушный вид, не глядя на Салатын, прошел к постели и лег спать. Но уснуть он так и не смог. Утром врач поднялся раньше всех, торопливо оделся и, захватив охотничье ружье, отправился на берег Куры. Через несколько минут проснулся и Гамид; он сунул под мышку свой потрепанный портфель и, даже не умывшись, хмуро побрел в сельсовет.

Шариф-заде оставил тело Гюльали-оглы у самой дороги. Скоро туда погонят стадо пастухи, они наткнутся на труп и не замедлят сообщить о страшной находке в деревню. Врач медленно шел по берегу, раздумывая, как бы избежать этой опасности. Однако эти мрачные размышления не охладили его охотничьего пыла. За утро ему удалось подстрелить восемь куропаток, он нанизал их на шпагат и подвесил к поясу.

Двигаясь вверх по берегу, Шариф-заде все удалялся от деревни. И все больше мучило его тревожное предчувствие.

Погруженный в раздумье, врач незаметно добрел до небольшого озерка, окаймленного зарослями ив. Он прислонил ружье к стволу дерева и сел на траву. Внезапно, словно воочию, он увидел перед собой труп Гюльали-оглы. На месте озера была сырая земля, а на ней лежал раненный в затылок Гюльали-оглы и тяжко, жутко стонал: «Злодей! Что я тебе сделал?..» Шариф-заде вздрогнул и, наклонившись над озером, смочил

водой пылающий лоб. Потом встал и принялся в волнении расхаживать по берегу. «Надо как-то выпутываться. Если в деревне дознаются, что это я убил Гюльали-оглы, меня расстреляют. А не свалить ли все на других? Гюльали-оглы был недоволен порядками в колхозе: он часто переругивался с Мурсалом-киши. Вот я и очерню председателя колхоза! Пущу по деревне слух, будто Мурсал-киши был не в ладах с Гюльали-оглы, что Гюльали-оглы грозил на него нажаловаться». В это время из густой листвы ближней ивы с шумом вылетела стая птиц. Шариф-заде в страхе отпрыгнул назад. Сейчас его все пугало: и птицы, и тени деревьев, и плеск воды, и шелест листьев, колеблемых ветром. Но страх протрезвил врача; и он, поразмыслив, отказался от своих намерений. «Нет, не так-то легко бросить тень на Мурсала-киши. Никто мне не поверит. Меня самого теперь начнут прощупывать. А бежать не время. Черт его знает, где сейчас Фарман-бек! Осмотрюсь, раскину мозгами, — может, еще вылезу сухим из воды. Как бы там ни было, а сегодня надо пораньше прийти в амбулаторию, до того, как приволокут туда труп».

Шариф-заде зарядил револьвер, взял в руки шпагат с дичью и крупными шагами направился в деревню. Вскоре он был уже в амбулатории. Войдя в свой кабинет, Шариф-заде запер дверь, тяжело опустился на стул и сжал виски кулаками...

9

Мурсал-киши, встав рано поутру, занялся колкой дров. Щепка, отлетевшая от дубового корня, сильно оцарапала ему переносицу, и старик, зажав ранку платком, поспешил в амбулаторию. Ранка эта была даже кстати: Мурсалу-киши не терпелось повидаться с врачом, приглядеться к нему попристальней.

А Шариф-заде в это время сидел в кабинете и лихорадочно раздумывал: как ему действовать дальше, как замести следы? В кармане у врача лежал револьвер, и Шариф-заде то и дело дотрагивался до него. Ему казалось, что все уже знают о его преступлении, и, когда кто-то постучал в окно, Шариф-заде в страхе съежился. Стук повторился, и врач услышал голос Мурсала-киши:

— Доктор, открой, это я! Я поранил себе лоб и никак не могу остановить кровь.

Шариф-заде поднялся и шагнул к двери.

— Кто это там? — спросил он сонным голосом и зевнул. — Не кричите, сейчас отопру!..

Он отомкнул дверь и отошел к столу.

— Ты что, спал, что ли? — проворчал Мурсал-киши, входя в кабинет. — Видишь, я себе весь лоб раскровенил!.. Колол дрова, щепка отлетела — и чуть не в глаз! — Он отнял от ранки платок, вытер им лицо, испачканное кровью, и наклонился к Шариф-заде. — Видал, куда угодила?

Врач молчал, и Мурсал-киши, вглядевшись в его лицо, серое как пепел, осунувшееся, постаревшее, озабоченно протянул:

— Э, сынок, да тебе, кажись, нездоровится? Ишь побледнел весь, дрожишь. Знобит, да? Надень-ка пальто.

Шариф-заде не ответил старику; он молча осмотрел его ранку, промыл ее и сухо сказал:

— Ничего опасного. Сделаю перевязку; денька через два заживет.

Врач перебинтовал рану, и Мурсал-киши, одобрив в душе его искусство, искренне поблагодарил Шариф-заде. Но тут он снова заметил, что врач дрожит как в лихорадке, и с подозрением спросил:

— Да что с тобой, доктор? Похоже, ты и не спал этой ночью.

— А, пустяки! Утомился немного.

— Ну, еще раз спасибо тебе. Побегу к своим колхозникам, надо посмотреть участок, выделенный под строительство новой деревни. А вечером загляну к тебе, хочется потолковать кой о чем. Будь здоров, доктор!..

Мурсал-киши вышел на террасу, и вскоре до врача донесся громкий разговор, заставивший его побледнеть еще больше.

10

До начала уроков оставалось еще несколько минут, а малыши, пришедшие в школу рано утром, затеяли игру в мяч. Мяч мелькал в воздухе, перелетая из рук в руки, и полет его сопровождался громкими, пронзи-

тельными криками. Старшеклассники, люди более солидные, стояли у школы и издали наблюдали за возней малышей. Вдруг один из учеников, стоявший близ большого круга, очерченного на площадке мелом, заметил ползущее по дороге облако пыли и крикнул товарищам:

— Эй, ребята! Глядите: фаэтон! Это, наверно, учитель Тарлан! Бежим его встречать!

Ребята давно не видели фаэтонов — городских фаэтонов с веселыми бубенцами — и поэтому не раздумывая откликнулись на призыв товарища. Забыв о мяче, лениво катившемся по площадке, они шумной ватагой помчались по дороге навстречу фаэтону. Вот уже можно разглядеть его в облаке пыли... Ребята побежали быстрей, но, добежав до фаэтона, так и застыли на месте, разочарованные и изумленные. Это был не учитель. Из фаэтона с удивлением и молчаливой улыбкой глядела на них толстая, занимавшая чуть не все заднее сиденье женщина лет пятидесяти, с пухлыми румяными щеками. Возница оборвал песню, которую тянул с самого утра, поправил съехавшую на глаза папаху и обратился к школьникам:

— Эй, вы не скажете, где здесь живет доктор Шариф-заде?

Вели, подбежавший первым, смотрел на приезжую довольно недружелюбно, но постарался скрыть свое разочарование и показал рукой на видневшийся вдалеке дом под черепичной крышей.

— Видите? Это амбулатория. Доктор уже там. К нему недавно прошел наш председатель. Поезжайте к этому дому!

Мальчик давал свои пояснения строгим, официальным тоном, но возница отнесся к этому с обидным безразличием. Он хлестнул потных, утомленных долгой дорогой лошадей, и фаэтон пополз к амбулатории. Вскоре тихий звон бубенцов умолк. Фаэтон остановился перед крыльцом. Замолкли и собаки, провожавшие экипаж заливистым лаем.

Женщина вышла из фаэтона, сняла с козел и поставила на землю большой чемодан.

— Ты узнай, сынок, скоро ли он освободится, — попросила она возницу.

Но тот не понимал тревог и волнений материнского сердца и равнодушно ответил:

— Да не упустишь ты его, тетушка. Поднимись на террасу и обожди. Терпела месяцы, так что тебе потерпеть еще пять минут?

Приезжая села на чемодан, поставленный возницей на террасу. Вскоре из кабинета врача вышел Мурсал-киши. Женщина поспешила к нему навстречу.

— Скажите, здесь работает доктор Фазиль Шарифзаде? Можно к нему пройти?

Мурсал-киши взглянул на запыленный чемодан. Видно было, что женщина приехала издалека. А издалека приезжают только к близким. И Мурсал-киши с любопытством спросил:

— А кем он вам приходится, сестрица?

— Это сын, сын мой! — с нежностью сказала женщина. — Он уехал из дому и устроился в этих краях врачом. И с тех пор от него ни строчки! Деньги он мне прислал недавно, а писем все нет и нет! Вот я и решила навестить его, поглядеть, как он тут живет. Очень я по нему соскучилась... В районе мне сказали, что он перебрался в деревню, я наняла фаэтон и вот приехала.

Мурсал-киши улыбнулся:

— А я и не знал, что у нашего доктора есть мать! Погодите, сестрица, я хочу первый его обрадовать.

Старик постучал в дверь, но никто не откликнулся. Он постучал еще раз. Ни звука... Тогда он забарабанил в дверь кулаками. Но дверь так и не открылась.

В сердце Мурсала-киши закралась смутная тревога. Вчерашний рассказ Адхама; серое лицо доктора; запертая дверь — все слилось в сознании старика воедино, и он требовательно крикнул:

— Эй, открой дверь! У меня к тебе дело!..

Не дождавшись ответа, Мурсал-киши взволнованно заходил по террасе. «Что он там делает, проклятье слепому шайтану? От кого прячется?..» Старуха наблюдала за ним с тоской и беспокойством. Мурсал-киши еще раз толкнулся в дверь и хотел было уже вышибить ее ударом ноги, но в это время на террасу вбежал запыхавшийся пастух.

— Дядя Мурсал, Гюльали-оглы убили! Мы нашли его у дороги в долине Махмудлу!.. Сперва мы и не

узнали беднягу: голова у него вся в крови — кто-то выпустил ему в затылок две пули. А потом перевернули его на спину и видим: это наш Гюльали-оглы! Он уж давно там лежит: тело холодное как лед.

Мурсал-киши накинулся на пастуха с расспросами:

— Гюльали-оглы убит? А как он очутился в долине?.. А, об этом потом!.. Вы не слыхали выстрелов? Нет? А когда его нашли? Совсем недавно? Ну вот что. Сейчас же разыщи Гаджи-оглы и скажи, чтобы он немедленно шел ко мне. Пусть возьмет ружье и револьвер. Если он услал куда-нибудь своего милиционера, пускай не мешкая вернет его. Понял? Ну ступай!

Пастух вынул из кармана стреляные гильзы, передал их Мурсалу-киши («На! Они там же валялись!») и побежал за председателем сельсовета. А Мурсал-киши, ошеломленный новой вестью, застыл, словно часовой, у двери в кабинет врача.

11

Услышав голоса на террасе, Шариф-заде прижался ухом к двери. После первых же слов женщины ему стало ясно, что он в ловушке. Стоит ему выйти на террасу, стоит приезжей войти в кабинет — и капкан захлопнется. Врача охватил страх; он запер дверь на ключ, плотно прикрыл окна и повалился лицом вниз на койку, где во время медосмотра лежали больные. В памяти мелькнули события последнего дня, и Шариф-заде в ужасе вскочил с койки, обвел мутными глазами комнату и принялся бесцельно шагать из угла в угол, не отзываясь на яростный стук Мурсала-киши. Вдруг за дверью все стихло, а потом снова раздались голоса: это Мурсал-киши разговаривал с пастухом. Страх заполнил все существо Шариф-заде. Они нашли гильзы! Теперь ему не вывернуться... В одном ущелье не встретишь двух хромых джейранов; и легче легкого установить, что пули, найденные пастухом, от его револьвера! Врач отпрянул от двери и, как мышь, притаился за своим столом. Сердце у него билось неровно, с перебоями, как у умирающего. Все кончено. И Шариф-заде признался себе, что далеко не всегда действовал умно и осмотрительно. Но ему хотелось оправ-

дать себя, и он с ненавистью подумал: «Это Фарман-бек меня погубил. От него потянулась эта цепочка!.. Он убил доктора, а мне пришлось пролить кровь Гюльали-оглы!» Из кармана у него выскользнул револьвер; врач долго смотрел на него недвижным, бессмысленным взглядом, а потом поднял и проверил, заряжен ли он. Голоса за дверью смолкли; слышались лишь размеренные шаги Мурсала-киши. Врач подошел к двери, постоял с минуту затаив дыхание, боясь пошевелиться. «Пришел, видно, и мой черед», — с горечью сказал он себе, и в памяти ожила вдруг вся его пустая, никчемная жизнь: дни, когда он поступил в школу и учитель побил его за то, что он не приготовил урока, годы, проведенные в гимназии, — шалые, беззаботные годы: он только и знал тогда, что кутить да проматывать деньги, которые каждый месяц присылал ему отец... А кончилось все тем, что стал он обыкновенным убийцей. «Что ж, такова судьба! — утешая себя, равнодушно подумал Шариф-заде. — К этому все и шло». Он сейчас без раздумий убил бы и старика Мурсала, но на это у него просто не хватало смелости. В сущности, Шариф-заде был подлым трусом; он и Гюльали-оглы прикончил трусливым выстрелом — в спину. К тому же Гюльали-оглы был безоружен, а Мурсал-киши, наверно, держит наготове револьвер... И врач отдернул руку от ключа, покоившегося в замочной скважине, и медленно, неслышными шагами, вновь отступил назад, к столу.

Бездействие томило его и, достав из ящика стола чистый лист бумаги, врач сел за письмо к матери. Но он вывел только первую строчку и снова погрузился в непроглядный мрак своих мыслей. Мать!.. Лишь сегодня, в эти горькие для него минуты, он вспомнил о матери. Преступники не умеют любить, любовь к матери для них обуза, но сейчас Шариф-заде вспомнил о матери, потому что, кроме нее, у него никого не осталось. Он был один; со всех сторон окружали его враги. Совсем недавно, до налета бандитов, Шариф-заде чувствовал себя увереннней; у него были друзья, сообщники: Фарман-бек, Шамиль. А теперь и они в ловушке. Им неоткуда ждать помощи, негде найти прибежище; им всем, да, всем грозила черная участь; и, вспомнив о днях, когда он бродил по лесу, сам себе

хозяин, врач, словно сварливая деревенская баба, осыпал проклятьями и самого Фарман-бека, и всю его родню. «И какого черта я послушался его, потащился в эту злосчастную деревню? Теперь мне одно остается: пулю в лоб!» На лбу у Шариф-заде выступила холодная испарина; он вдруг вскочил, распахнул окно, жадно вдохнул чистый весенний воздух и в эту минуту всем существом своим ощутил, как сладка жизнь. «Покончить с собой? Нет, этого вы от меня не дождетесь! Я хочу жить, жить!.. Жить, драться с врагами, побеждать!» И тут же он спросил себя: «А можем ли мы победить? Не глупо ли думать, что кучка разбойников в силах одержать верх в схватке с народом? Биттилийская история открыла глаза даже колеблющимся; все от нас отвернулись! А, теперь все равно! Главное — спастись самому. Надо будет — убью старика. Если понадобится, я уложу и двадцать человек! Не найду Фарман-бека, ну и черт с ним, обойдусь без него. Только бы удрать!.. Я спрячусь в лесу, и никто меня там не разыщет!»

Полный отчаянной решимости, врач приблизился к двери, повернул ключ, твердыми шагами вышел на террасу, прошел, даже не взглянув на них, мимо Мурсала-киши и приезжей, сбежал по ступенькам во двор и как безумный понесся прочь от амбулатории, к берегу Куры.

Женщина рванулась было к нему, крикнула: «Сынок!», но вдруг побледнела и тяжело опустилась на чемодан.

— Это не мой сын... — тихо сказала она. — Это не Фазиль Шариф-заде.

12

Тарлан уже выздоровел, когда из деревни, от Мурсала-киши, пришло к нему в гостиницу письмо с подробным описанием последних событий. Мурсал-киши сообщал, что после побега Шариф-заде он поднял тревогу, но преступник успел уже скрыться. Прочитав письмо, Тарлан в сердцах ударил кулаком по столу и, вскочив со стула, взволнованно заходил по комнате. «Мерзавец!.. Значит, он бросился тогда в огонь, чтобы отвести нам глаза? И своими пышными речами тоже

только морочил нам головы? Ах, негодяй!» Тарлан припомнил один за другим поступки, высказывания врача и обругал себя за непростительную слепоту. «Мы-то хороши! Не смогли вовремя раскусить его, вывернуть наизнанку фальшивую его душу. Теперь поздно жалеть. Надо было взяться за него еще до налета бандитов, до убийства нашей Садаф! А я только болтал о бдительности и не увидел врага у себя под носом!»

В номер вошли Марат и Сария. Увидев, что Тарлан расхаживает по комнате, они обрадовались. Марат подбежал к отцу и обнял его колени.

— Папа! Поздравляю тебя: ты уже совсем поправился! А какая на дворе погода, папа! Солнышко вовсю печет. Так бы и не уходил с улицы! Скоро мы поедем в деревню, правда? Ты будешь опять учить нас, мама посеет свой египетский хлопок, а я сдам на «отлично» экзамены!

Тарлан потрепал сына по голове и, повернувшись к Сарии, озабоченно сказал:

— Собирайся, Сария. Мы едем в деревню. Я не могу здесь больше оставаться. Гюльали-оглы убит. Врач сбежал... Мое место сейчас там, в деревне.

Марат округлившимися от изумления глазами смотрел снизу вверх на отца, а Тарлан, поглаживая ладонью нервно подергивающуюся щеку, задумчиво продолжал:

— Мы сами во всем виноваты. Не научились еще распознавать врага. А народ с нами. Враг не находит пособников среди крестьян.

В дверь постучали: это явился с обычным визитом известный тифлисский профессор. Тарлан встретил его у входа, взял у него из рук шляпу, подвел профессора к маленькому столику, стоявшему посредине комнаты, и решительно, без предисловий сказал:

— Разрешите вы или не разрешите, профессор, но я должен сегодня же выехать в деревню.

Профессор поздоровался с Сарией, ласково похлопал по плечу Марата и, расположившись в кресле, которое предложил ему Тарлан, пожал плечами:

— Что ж, езжайте, если вам так не терпится. Но обещайте мне беречь себя. Не переутомляйтесь. Старайтесь не бывать на холоде.

— Отлично, профессор! — улыбнулся Тарлан. — Во

всем буду следовать вашим указаниям! Но только не заставляйте меня сидеть сложа руки! Работать и работать — вот мое единственное желание. Да, порой мне приходится, отложив в сторону школьные тетрадки, браться и за другие дела. Но иначе я не могу. Просто не могу, профессор! — Тарлан говорил, все больше увлекаясь, а гость задумчиво кивал своей седой головой. — Народный учитель — это революционер во всех областях жизни! Учить людей, помогать им, вести их за собой — это и есть жизнь!

— Вы правы, друг мой, — сказал профессор. — Я сам старый педагог: когда-то учительствовал в школах, теперь читаю лекции в институте. И я целиком с вами согласен: сельские учителя — подлинные герои культурного фронта! Они плоть от плоти народа, и я люблю, уважаю этих скромных тружеников за их энтузиазм, жадность к работе, за их влюбленность в родную природу, а главное — за то, что они знают свой народ и живут его нуждами, его радостями и печалями. Я теперь каждый год провожу отпуск в деревне. И если мне не удается вырваться из города, честное слово, я скучаю.

Тарлан рассказал профессору о письме из деревни и, возвращаясь к прежней теме, взволнованно произнес:

— Видите, профессор, как тяжек и как почетен труд народного учителя. Мы обязаны не только воспитывать, просвещать крестьянские массы, но и бороться с врагами народа! Немало еще бродит по свету негодяев, мечтающих затоптать добытое народом счастье, готовых пойти ради этого на самое подлое злодейство! И мы должны биться с ними еще злей, еще беспощадней!

Глаза профессора поблескивали из-за стекол очков ласково, одобрительно.

— Верно, мой друг. Только то счастье настоящее, которое завоевано с боем.

Они долго еще беседовали, а Марат, примостившись в углу, с недетским, напряженным любопытством прислушивался к разговору старших. Особенно сильное впечатление произвел на него рассказ отца о злодеяниях Шариф-заде. Мальчик призадумался, а после ухода профессора приблизился к отцу и нерешительно тронул его за руку.

— Папа! Я хочу спросить...

— Что ты хочешь спросить, сынок?

— Скажи, а при коммунизме будут такие подлые люди, как наш доктор?

Тарлан улыбнулся, провел рукой по волосам сына и, незаметно подмигнув Сарии которая тоже не могла удержаться от улыбки, серьезно сказал:

— Нет, сынок. При коммунизме таких людей не будет. При коммунизме все будет краше: и жизнь, и люди, и даже природа.

Он опять улыбнулся и обнял сына.

В тот же день вечерним поездом они уехали домой.

13

Лошадь, посланная Мурсалом-киши на станцию, возвращалась обратно по проселочной дороге, бегущей среди густого леса. Лес шумел под порывами ветра, а вдалеке с плеском бились о берег яростные волны Куры.

Марат крепко спал, прижавшись к отцу. Сария шла позади телеги, собирая придорожные цветы и прислушиваясь к переливчатым соловьиным трелям.

Неожиданно из-за кустов выскочил на дорогу человек с револьвером в руке.

— Стой! — угрожающе крикнул грабитель. — Стой!

Это был Шариф-заде. Он долго скитался по лесу, разыскивая Фарман-бека, но того и след простыл. И Шариф-заде — голодный, отчаявшийся, потерявший человеческий облик — вышел на дорогу, чтобы напасть на беззащитных путников.

Казалось, все начиналось сызнова. Но непроглядная ночь сменилась ясным, солнечным утром, а с телеги вместо безоружного доктора Фазиля Шариф-заде спрыгнул на дорогу, держа наготове заряженный револьвер, учитель Тарлан.

Тарлан сразу узнал врача. Он навел на Шариф-заде револьвер и приказал:

— Руки вверх, негодяй!

Шариф-заде выстрелил; левая рука Тарлана повисла как плеть. Но тут же прогремел второй выстрел;

тело самозванца-врача переломилось в коленях, голова упала на грудь, и преступник грохнулся на землю.

Когда Тарлан подошел к нему, Шариф-заде уже не дышал. Тарлан обыскал врача, положил к себе в карман партбилет, похищенный бандитом у героически погибшего юноши, и направился к телеге. Выстрелы разбудили Марата, он испуганно таращил заспанные глаза. Навстречу Тарлану уже бежала Сария, она кинула на телегу букет цветов и бросилась к мужу.

В эту минуту на дороге показалась группа всадников во главе с Мурсалом-киши. Всадники вот уже два дня рыскали по лесу, охотясь за беглецом, и велико же было их удивление, когда они увидели на дороге тело Шариф-заде.

Сария перевязала Тарлану руку, и повозка в сопровождении всадников покатила дальше.

Птицы, замолкшие при звуке выстрелов, подняли веселый гомон, и в воздухе снова задрожала соловьиная трель.

ЭПИЛОГ

1

Прошло пять лет.

Мурсал-киши под старость засел за книги. Он уже не жаловался на нехватку земли и воды. Колхоз осушил обширные болота, портившие берег Куры, и новые земли дарили людям обильные урожаи хлопка.

Там, где была раньше деревня Элляр, тянулись грядки колхозного огорода. На месте убогих землянок пестрели арбузы и дыни. А в новом селе Адхам-киши разбил сад, который по праву считался украшением колхоза. На деревьях крохотными лунами желтели лимоны, а яблоки схожи были с круглыми, румяными щеками деревенских красавиц. Границы сада все расширялись: молодые садовники, выпестованные старым Адхамом, каждый год пополняли свой сад новыми саженцами.

В саду высился скромный земляной холмик: могила Садаф...

2

Тарлан и Мурсал-киши неторопливо брели по проселочной дороге в сторону колхозных полей.

— Стареешь ты, дядя Мурсал! — полушутливо сказал Тарлан. — Помнишь, ты говорил мне как-то, что походишь на павлина, который кичится своей красотой, а посмотрев на свои ноги, мрачнеет. Теперь тебе нечего стыдиться, старина! Колхоз — на лучшем счету; есть у нас и сад и огород; да и председатель — грамотей из грамотеев! Жить бы только да радоваться. А мы стареем.

Мурсал-киши тяжко вздохнул, и Тарлан пожалел о своих словах.

— Прости меня, дядя Мурсал: я шучу. Мы мужаем, а не стареем. И если мне сейчас щиплет глаза, так это слезы радости; ведь мы достигли того, о чем когда-то только мечтали! Видишь: на месте голой равнины выросла новая деревня. И люди тоже растут.

— Верно, сынок, — согласился Мурсал-киши. — Люди теперь другие... Многих разбудили вражьи выстрелы. Ай, аллах, пристрой бандитов на том свете, а я уж поживу на этом!

Друзья остановились и оглянулись назад, на живописно раскинувшуюся новую деревню. Меж стройными рядами домов зеленели высокие деревья. По обеим сторонам дороги поблескивали небольшие арыки, а небо над дорогой перечеркнули электрические провода, украсившие деревню только сегодня: они тянулись от электростанции, выстроенной в долине Махмудлу и черпающей энергию в водах кяриза. Сквозь зелень фруктового сада белело здание клуба. Была уже осень, но от сада Адхама-киши веяло весной.

— Адхам-киши тоже стар, — сказал Тарлан. — Но когда он любуется своим садом, он, наверно, чувствует себя двадцатилетним юношей. А ты, дядя Мурсал, разве ты не молод? Ведь и у тебя есть любимые детища: кяриз, электростанция!..

— Нет, сынок, уж держись своих первых слов. Я и правда старею. Но это не пугает меня. Я старею, а мир молодеет у меня на глазах, и мне кажется, что я буду жить долго-долго... Да, да, сынок, жизнь только начинается!

Друзья замолчали, задумались... Тарлан окинул деревню придирчивым взглядом, и рядом с его мечтой она опять показалась ему бедной, неустроенной.

— Надо бы нам школу побольше, дядя Мурсал, — строго сказал он. — Ну что это за школа? Иных учителей манят школы больших городов. А я хочу, чтоб такие школы выросли у нас в деревнях! Это большое дело, дядя Мурсал. Большое и почетное!

— Жадные глаза ничем не насытишь! — улыбнулся Мурсал-киши. — Дай тебе школу, ты еще что-нибудь потребуешь! Ведь верно? Ну ничего, сынок, построим и школу, и все, что твоей душе угодно!

Когда они возвращались назад, в деревне уже зажглись электрические огни; они мерцали в сумерках яркими маленькими звездами. Мурсал-киши повел Тарлана к себе. Жена его сидела на пороге хмурая, пасмурная. Увидев гостя, она поднялась и приветливо поздоровалась с ним, но тень так и не сошла с ее лица.

— Ах, жена, что с тобой? Что ты нос повесила?..

— Ну и наделал ты делов, муженек! — проворчала старуха. — Бахвалился один: я-де пчел завел, а это оказались осы!.. Ты своим иликтриски все уши нам прожужжал! А какой прок от этого иликтриски?..

— Да ты толком объясни, в чем дело.

— Он еще спрашивает, в чем дело! Да теперь отбоя нет от ночных бабочек! Сколько лет я тут живу — и ни одной не видела! А сегодня... налетели на свет туча тучей!

Мурсал-киши усмехнулся и покачал головой:

— Ай, жена, жена! Родилась ты глупой, глупой и помрешь. Ведь эти бабочки летали по комнате и раньше. Только темно у нас было, вот ты их и не видела.

Слова мужа не убедили старуху, она все продолжала ворчать. А Тарлан прошел в угол, завел стоявший там патефон, и вскоре недовольную воркотню старухи заглушила бодрая, радостная песня «Жизнь».

1936—1957

ТРУДНАЯ ОСЕНЬ

I

Халил подошел к окну, посмотрел на небо и тоскливо вздохнул. Небо было серое, хмурое. Солнце, выплывая из-за облака, скупо роняло на землю неяркие лучи и снова пряталось в облаках. Ветер поднимал над дорогой тяжелую пыль и гнал ее в сторону Аракса. Излучина реки, кривая как дамасский меч, тускло блестела на широкой груди Муганской степи. Кирпично-красная речная гладь зябко дрожала под ветром; издалека казалось, что это шевелятся сухие, ржавые листья.

В окно веяло грустным, сладким запахом опавшей осенней листвы.

Халил закурил, снял со стены старое, видавшее виды охотничье ружье, спустился по лестнице на первый этаж и вышел во двор Садыллинской МТС.

Дул порывистый ветер. Казалось, невидимые волны бушуют между домами, свистя и воя, стараясь догнать друг друга, с шумом обрушиваясь на деревья и крыши. Из мастерской доносились размеренные удары молота.

По двору со скучающим видом слонялся Шахмар, секретарь директора МТС. Халил позвал его. Тот торопливо кинулся к своему начальнику:

— Что прикажешь, товарищ директор?

Халил с укором взглянул на секретаря.

— Совесть... совесть есть у тебя?!

— Я готов выполнить любое твое распоряжение. По-военному, как боец на фронте.

— «Как боец на фронте»... — Халил швырнул на землю окурок и придавил его толстой подошвой сапога. — Наши ребята колошматят на фронте фашистов, а не просиживают штаны в канцеляриях... И не гоняют лодыря!

— Товарищ Халил!

— Ишь боец выискался!..

— Товарищ Халил!..

— Да что ты заладил: «товарищ Халил, товарищ Халил». Я и сам знаю, как меня зовут. Ты лучше скажи: сделал ты, что я велел? Где объявление?

— Ах, объявление...

— Ты обещал, что оно будет готово к девяти утра. А сейчас пять минут десятого.

— Я написал. Клянусь пророком, написал.

— Я не только пророку — самому аллаху не верю!.. Или ты думаешь, что я испугался войны и зачастил в мечеть, как некоторые типы? Где объявление?

— Сию минуту, товарищ директор!

Шахмар чуть не бегом бросился к одноэтажному зданию конторы. Халил проводил его сумрачным взглядом, покачал головой. «Вот и работай с такими. Пока не подтолкнешь, пальцем не пошевелит! Сам виноват, распустил народ».

Последнее время Халил вел в МТС неравную борьбу. МТС была в безнадежном прорыве. И как ни старался Халил поправить дело, проку от его потуг было мало. Те, кто обязан был помогать ему, только вставляли палки в колеса. Трудно приходилось директору МТС. Лицо его, чуть не дочерна загоревшее под палящими солнечными лучами, осунулось, смуглые щеки ввалились, серые глаза смотрели устало, мрачно-задумчиво. Ему недавно исполнилось сорок три года, а выглядел он на все шестьдесят.

«Сам я, видать, не гожусь ни к черту», — снова упрекнул себя Халил.

Он зажег еще одну папиросу, всей грудью вдохнул горький табачный дым.

Быстрые шаги Шахмара отвлекли директора от раздумья. Отдуваясь, секретарь протянул Халилу обложку школьной тетради, на которой корявым почерком был выведен текст злосчастного объявления.

— Ума не приложу, в чем я перед тобой провинился, — обиженно пробормотал секретарь. — Только и знаешь, что кричать на меня. Клятвам моим не веришь. Из-за пяти минут такой шум поднял... На, подпиши.

Халил едва заметно улыбнулся, морщины на лбу разгладились.

— Прочти сперва, что ты там нацарапал.

— О, здорово мне пришлось попотеть! — хвастливо заявил Шахмар. — Сам Мирза Фатали Ахундов не написал бы лучше!

— Как ты сказал? Мирза Фатали? — переспросил Халил. — Он что, тоже секретарь? Из Саатлинской МТС?

Шахмар скривил губы в снисходительной усмешке:

— Ты что, товарищ директор!.. Не знаешь, кто такой Ахундов?

— Знал бы, не спрашивал, — сердито буркнул Халил. И в который раз пожалел, что не довелось ему учиться. Был бы он грамотным, не знал бы горя. Ну, что представляет собой этот Шахмар? Хвастун, лодырь. Но он прочитал книг в сто раз больше, чем Халил! Для него прочесть книгу, как воды выпить. А у него, Халила, так жизнь сложилась, что было не до учения. Двух лет остался сиротой, едва подрос — пас скотину у чужих людей, таскал для них дрова, воду. Советская власть послала его на курсы по ликвидации неграмотности, но ему пришлось тогда воевать с бандитами, а потом его выбрали председателем колхоза. Когда тут было учиться?.. И Халил в душе завидовал Шахмару. А тот недоверчиво посмотрел на своего директора.

— Ты просто издеваешься надо мной, товарищ Халил. Не знать Ахундова!

— Погоди, — оборвал его Халил, — ты сколько классов окончил?

— Четыре.

— Лентяй ты, вот что я тебе скажу. Я бы на твоем месте университет закончил. И не хлопай глазами, а расскажи толком про этого Ахундова.

Халил разговаривал с Шахмаром строго, словно экзаменовал его, и секретарь решил осадить этого невежду. Он прищурил свои круглые, навыкате глаза и самодовольно проговорил:

— Пословица молвит, что незнание — не позор. Сейчас я тебе все растолкую...

— Ты не очень-то нос задирай. Сам небось знаешь не больше моего.

— Зачем обижаешь, товарищ директор? Ты «Страшный Тегеран»[1] читал? Так вот, эту книгу сочинил Мирза Фатали Ахундов.

Халил, больше всего на свете боявшийся, как бы его не уличили в невежестве, поощрительно похлопал Шахмара по плечу и важно подтвердил:

— Верно. Сын мой, Фирудин, читал мне когда-то

[1] «Страшный Тегеран» — произведение иранского писателя Мортеза Мошвега.

эту книгу. Хорошая книга. Ну, а теперь давай поглядим, что ты там насочинял.

Секретарь, игнорируя знаки препинания, без передышки отбарабанил:

— «По Садыллинской МТС объявляется всем работникам мастерской механизаторам и божарным охранникам также конторским работникам что первого числа октября месяца 1944 года после 8 часов вечера в клубе МТС будет общий совещаник по поводу божарни дело каждый товарищ может участвовать на этот совещаник».

— Молодец! — обрадованно воскликнул Халил. — Одно слово — молодец!

Шахмар, в свою очередь обрадовавшись похвале директора, с облегчением рассмеялся.

— Слава аллаху! Угодил! — Но тут же в его сердце закралось сомнение, и он осторожно переспросил: — Товарищ директор... Это ты мне отпустил «молодца»?

Но директор уже снова насупил брови: похвалами недолго ведь и избаловать человека...

— Тебе-е? — протянул он насмешливо. — А кто ты такой, чтобы называть тебя молодцом? Ежели бы ты не читал «Страшного Тегерана», так ни в жизнь не сочинил бы такого объявления. Молодец тот, кто написал эту книгу! Ты не знаешь, откуда он родом?

— Кто? Мирза Фатали?

— Ну да. Я, что ли.

— Он азербайджанец.

— А как он очутился в Тегеране?

— Наверно, вошел туда с Красной Армией.

— Вон как... Видать, большой начальник. Что он еще написал?

Шахмар опасливо покосился на директора. А вдруг тот решил испытать его и только делает вид, будто ничего не знает об Ахундове? Надо держать язык за зубами, не то, не дай бог, брякнешь что-нибудь невпопад...

— Не теряй даром времени, товарищ директор, — поторопил он Халила, — скорей подписывай.

— Не понукай. Почему не ответил на мой вопрос?

— На какой вопрос?

— Что еще написал этот Ахундов? Ты же ученый человек. Океан премудрости!.. Все на свете знаешь.

— Читай больше, и ты будешь все знать, — огрызнулся Шахмар.

— Коли знаешь, почему от других скрываешь?

Шахмар понял, что ему не вывернуться, и со вздохом признался:

— Ну, что пристал как репей! Не читал я других его книг.

— Не читал!.. А хорохоришься, будто и вправду мудрец из мудрецов. Ты вот что.. Подвернется тебе под руку какая книжка этого Ахундова, тащи ее мне. Погляжу, что он там пишет. Послушай... А может, он знает моего Фирудина?

Потрясенный наивностью директора, Шахмар сердито воскликнул:

— Ну, что ты такое говоришь!.. Мирза Фатали в Тегеране. А Фирудин на Западной Украине.

— Мало ли что на войне бывает, — не сдавался Халил. — Если он знает Фирудина, то обязательно должен о нем написать. Шутка ли, мальчик получил столько орденов.

— Подпиши объявление. Пора вывешивать.

Халил извлек из нагрудного кармана синей сатиновой рубахи огрызок карандаша и, помусолив его, поставил свою подпись там, где Шахмар сделал отметку ногтем.

— Вывешивай. Предупреди всех, что к восьми вечера я непременно ворочусь. Спросит кто из района, скажи, объезжаю тракторные бригады. Сердце ноет, когда торчишь в этом проклятом кабинете! Тебе это понятно?..

— Понятно, товарищ директор. Все как есть понятно.

— Значит, не потерял еще совести. Ступай.

Расставшись с секретарем, Халил подошел к «газику», стоявшему возле мастерской, и окликнул шофера:

— Салман!.. Где ты, сынок?

Из окна столовой, примыкавшей к зданию конторы, высунулась голова шофера: тугие как мяч щеки раскраснелись от обильного чаепития, на лбу и висках выступил пот, казалось, даже волосы, густые и жесткие, блестят от пота.

— Я тут, товарищ директор! Едем?

— Ну, когда я дождусь, что ты заведешь мотор и

сам меня позовешь: не задерживайся, товарищ директор, машина в полной боевой готовности! А, что с тобой толковать! Тебе бы только брюхо набить.

Не прошло и минуты, как шофер, толстый и круглый как колобок, уже выкатился из дверей столовой. Он что-то жевал на ходу, шумно и вкусно почмокивая, мясистые припухлости под глазами равномерно поднимались и опускались. Огромная бляха широкого солдатского ремня сползла вниз.

Халил сказал полушутя, полусерьезно:

— Сынок, вместо того, чтоб головой работать, ты работаешь одними челюстями. Неужто не устаешь? Гляжу я, брюхо твое раздувается, а голова...

Салман удовлетворенно погладил живот и рассмеялся, сверкнув белыми, крепкими зубами:

— Пусть раздувается на здоровье, товарищ директор! На фронте ему туго приходилось. Я же не взяточник какой-нибудь, проедаю честно заработанные деньги. К тому же сам Карл Маркс сказал, пока человек не насытится, ему не до работы.

— Ну, не знаю, что там Маркс говорил, — усмехнулся Халил, — только если ты будешь продолжать в том же духе, придется расширять дверцы нашего «газика».

— А «газик», товарищ директор, пора уж менять на другую машину. Посолиднее. — Салман поковырял спичкой в зубах и добавил: — По правде говоря, когда у меня живот пустой, то и в голове пусто.

Халил любил Салмана. Это был парень добродушный и искренний: что у него на сердце, то и на языке. Один водился за ним грешок: чревоугодие. Но оно не мешало ему быть ловким и расторопным работником. Его «газик» еще ни разу не был в ремонте: Салман берег машину пуще глаза, без проволочек, на месте устранял все неисправности, сам добывал запасные части.

В свою очередь Салман не обижался на незлобивое подтрунивание директора. Эти шутки придавали их отношениям еще большую задушевность и простоту.

— Поехали, сынок, — сказал Халил, снимая с плеча ружье.

Салман с трудом протиснулся в дверцы «газика», завел мотор. Шум мотора вспугнул перепелок, примо-

стившихся на соломенной крыше мастерской, они перелетели всей стаей на растущие во дворе развесистые ивы.

Халил сел рядом с шофером. Подняв тучи пыли, «газик» выехал со двора.

2

Грунтовая дорога, по которой подпрыгивая мчался «газик», вилась меж хлопковых полей, еще белых от раскрывшихся коробочек хлопчатника. Здесь, на равнине, было где разгуляться ветру! Он чуть не сорвал кепку с головы Халила. Кусты хлопка раскачивались под ветром, пыль плотным туманом застилала все вокруг, и лишь в редкие минуты, когда она рассеивалась, Халилу удавалось разглядеть фигурки сборщиц хлопка, сновавших как челноки от куста к кусту. Халил знал, почему они так спешили. Небо все чаще затягивалось свинцовыми тучами, вот-вот мог хлынуть дождь. Дорога была каждая минута: даже короткий ливень погубил бы хлопок, свел на нет многомесячные хлопоты колхозников, которые заботливо, невзирая на все невзгоды, ухаживали за каждым кустиком. У самого Халила замирало сердце, когда он замечал наползающую на небо черную тучу. Тяжкой бедой грозила она людям.

Неожиданно Салман остановил машину: кто-то из женщин, работавших близ дороги, окликнул Халила. Халил прислонил к сиденью ружье, лежавшее у него на коленях, вылез из машины и, надвинув кепку чуть не на самые брови, подошел к колхозницам.

— Удачи вам, дорогие мои! Где ваш бригадир?

Стройная, тонкая, чернокосая молодуха, оказавшаяся ближе всех к Халилу, кивнула в сторону соседнего участка:

— Только что тут был. Верно, пошел в другое звено.

Она метнула на Халила быстрый взгляд из-под длинных, сросшихся на переносице бровей и снова принялась за работу. Ее белый фартук был туго набит хлопком, она усердно приминала его, но фартук уже не вмещал больше эту упругую пену. Вздохнув, молодая женщина направилась к большому мешку — бардану,

вывалила в него хлопок из фартука и обернулась к Халилу:

— Мешков у нас мало. Кого ни спросишь, у всех один ответ: война. Как будто мы сами этого не знаем...

— Это твой мешок?

— Мой.

— Молодец! Работаешь не хуже мужчины.

— А чем еще и жить нынче, если не работой? Вот только голова раскалывается...

Разговаривая, она продвигалась по междурядью, проворно выбирая из коробочек белую вату; руки ее так и мелькали над кустами хлопчатника. Халил еле поспевал за ней, он задыхался от быстрой ходьбы и резкого ветра.

— Может, дочка, ты какую хворь подхватила?

Девушка потуже стянула на голове ситцевую косынку.

— Не знаю. До болезней ли сейчас! Вон тучи какие, того гляди дождь польет.

— Ты, доченька, верно, просто не выспалась, — ласково сказал Халил. — Оттого и голова болит. — Он чуть приотстал и только теперь заметил, что женщина работала босиком. — Постой-ка. Ты что же это без обуви?

Молодая женщина промолчала. А Халил нахмурился. Прежде при виде нужды, лишений, тяжкого труда своих земляков он не чувствовал боли в сердце. Сам всю жизнь провел в деревне и считал, что работа на свежем воздухе под жарким степным солнцем не вредит здоровью, а, наоборот, делает человека сильным и выносливым. Если он и жалел кого, так это белоручек горожанок, изнеженных, слабых, болезненных. А сейчас... Он и восхищался от души самоотверженностью колхозниц, и в то же время сердце его наполнялось печалью. «Да будь человек крепче железа, он не выдержит такой жизни. Осень уже... Ветер сырой, студеный. Земля захолодала, а они... босиком. Как тут не занедужить!»

Халил нагнал молодуху.

— Так не годится, дочка. Хоть из-под земли, а достану тебе обувь!

Пожилая женщина, собиравшая хлопок чуть поодаль, сердито проворчала:

— Чудо, как она еще на ногах держится. Власть-то своя... А она вот босая, с непокрытой головой.

Ветер донес ее слова до Халила. «А что делать, старая? — мысленно возразил он женщине. — Это верно, во всем у нас нехватка. В первую голову надобно солдат одеть и обуть». Но сказать это вслух не решился: язык словно прилип к гортани. Правду молвила молодка: они и сами знают, как трудно стране. С горьким нетерпением ждут они конца войны, идут ради победы на любые муки и лишения и никого, кроме гитлеровцев, не винят в своих бедах! А этой старой ворчунье совсем уж, видно, стало невмоготу. Собирая хлопок, она приблизилась к Халилу и, не переводя дыхания, принялась изливать все, что накипело у нее на душе.

— В копратив, говорят, туфли привезли. На каблуках. Прислал их американец какой-то, Рузевельт, что ли. Ладно, пускай он гяур[1], да ведь тоже, говорят, враг проклятому Гитлеру! Прислал туфли — спасибо ему. А где эти туфли? Их бездельницам роздали, а не честным труженицам! Мы и моргнуть не успели, а их уж и след простыл.

— Не Рузевельт, тетушка Чимназ, а Рузвельт, — не поднимая головы, поправила молодая женщина.

— Я и говорю, Рузвель. Вот приедет Тарлан-муаллим, все ему выложу. Нас, видно, уж и за людей не считают! Мы молчим, все терпим, а нам готовы на шею сесть.

— Ой, насмешила, тетушка Чимназ! — прыснула одна из сборщиц хлопка. — Не родился еще тот человек, который мог бы сесть тебе на шею!

Колхозницы рассмеялись: уж они-то знали тетушку Чимназ! Все здешнее начальство, от бригадира до секретаря райкома, боялось попасть ей на зубок. Однажды новый секретарь райкома, Тарлан Исмаиллы, выслушав ее задиристую речь, поднял руки и с улыбкой воскликнул: «Сдаюсь, тетушка Чимназ! Там, где ты, советской власти ничто не угрожает!»

Женщине, первой заговорившей с Халилом, показалось, что директора МТС смутили слова тетушки Чимназ, и она поспешила на выручку.

---

[1] Гяур — неверный.

— Вы не обращайте на нее внимания. Мы же не маленькие. Нет обуви, и бог с ней. Перетерпим как-нибудь.

Тетушка Чимназ презрительно фыркнула и повернулась к ним спиной.

А Халил, давно уже присматривавшийся к своей собеседнице, спросил:

— Доченька... ты жена Идриса? Тебя ведь Гюльпери зовут, верно?

— Да, Гюльпери. — Женщина, сконфузившись, прикрыла лицо краем косынки. — А почему вы об этом спросили?

— Как же я тебя сразу не узнал!.. Мне ведь есть чем тебя порадовать. Пришло письмо от сынка моего, Фирудина. Он и о твоем муженьке пишет. Они ведь в одной части воюют. Послали как-то Идриса — это Фирудин пишет — в разведку. А он напал на фашиста, огромного как гора, сгреб его в охапку, да и засунул в мешок. Живьем в часть доставил. За геройство его опять наградили.

Гюльпери не дыша слушала Халила, и сердце ее билось часто-часто, кровь прихлынула к бронзовым от загара щекам. Ой, как стыдно!.. Гюльпери чувствовала себя так, будто призналась постороннему мужчине в своей пылкой любви к мужу. Она отвернула к сторону вспыхнувшее как костер лицо, но продолжала обрывать хлопок лишь с тех кустов, что росли неподалеку от Халила. Ей так хотелось узнать, что еще написал Фирудин об Идрисе!.. Гюльпери обратилась в слух. И Халил, разгадав ее желание, ласково молвил:

— Крепко достается фашистам от Идриса и Фирудина. Гитлеровцы думали, что мы с перепугу бракнемся им в ноги, взмолимся: иди, рыжий, будь над нами хозяином, жри наш хлеб, живи в свое удовольствие, а мы на тебя поработаем... Чего захотели! Народ задал жару этим наглецам! Теперь они ищут щель, где бы спрятаться. Недаром пословица говорит: черному дню недолго длиться. Ты, доченька, не горюй, Фирудин и Идрис с победой воротятся домой.

Гюльпери так заслушалась Халила, что даже забыла про головную боль. Она ловко, бесшумно раздвигала кусты хлопчатника, подбирала опавшие коробочки, отряхивала от земли, бросала в фартук, и снова

быстрыми птицами летели от куста к кусту ее проворные, не знающие устали руки.

— Не успеваем с уборкой, — пожаловалась она Халилу, — хоть и стараемся!.. — Гюльпери озабоченно взглянула на тучу, клубившуюся как раз над головой. — Лишь бы дождя не было!.. Как думаете, пойдет дождь?

Халил тоже запрокинул голову, посмотрел на небо и махнул рукой, словно желая разогнать тревогу Гюльпери:

— Навряд ли. Надо бы послушать, что пророчит бюро погоды. Хотя оно все наоборот предсказывает. И у меня на душе неспокойно, дочка. Если дождь погубит хлопок, значит, и Фирудину труднее воевать будет. Вот какое дело.

Стараясь скрыть от Гюльпери свою печаль, Халил отошел в сторону, нагнулся над кустом хлопчатника и тоже принялся собирать хлопок.

А Гюльпери, продвигаясь от куста к кусту, все думала о своем Идрисе. Она была благодарна Халилу за добрую весть о муже — для нее не было подарка дороже... Не беда, что ноги ее босы и голова гудит как колокол, поясница ноет, — она и не то вынесла бы, лишь бы Идрис был жив и здоров. Вот уж почти четыре года длится разлука с мужем, и каждый день полон тоской о любимом. Крепнет ее любовь к нему, но крепнет и тоска, иссушающая сердце... Когда же она опять увидится с Идрисом?

Гюльпери искоса застенчиво взглянула на Халила. Как по-отечески ласково говорил он с ней, какой теплотой дышали его слова, когда он рассказывал об Идрисе. Молодая женщина остановилась, повернулась к Халилу.

— Дядюшка Халил... Как только наши перейдут границу, так и война кончится? И солдаты разойдутся по домам?

— Э, разве удержишь теперь наших парней?.. Они должны отомстить немцам за все горе, которое причинили нашему народу.

— Но ведь немецкий народ не виноват!.. Гитлер — одно, а немецкие рабочие —другое. Я читала...

«И она, как Шахмар, знает больше меня, — огорченно подумал Халил. —Да куда до нее Шахмару!..» Вслух он сказал:

— Твоя правда, дочка. Только надо дать им добрый урок, чтобы навсегда отвадить от разбойных дел. Нет, не задержатся наши на границе.

Гюльпери страдальчески сдвинула брови.

— Я на все согласна, только скорей бы все кончилось! Прежде-то, до того, как он ушел на войну, — она старалась не произносить при посторонних имени мужа, — в нашей бригаде было двадцать два человека. А осталось восемь, и все женщины. Какой от нас прок?

— Как у тебя язык повернулся сказать такое! — рассердился Халил. — Да кабы не вы, наша страна осталась бы без хлопка. Из чего тогда мастерили бы парашюты? Вот уж сморозила, так сморозила!..

— Я же не говорю, что мы сидим сложа руки, — смутившись, проговорила молодая женщина, — но мало нас, дядюшка Халил!.. Всего-то народу в бригаде — раз, два и обчелся, а двоих еще лихорадка треплет.

— Что ж, доченька... Война!.. Человека в папахе на полях днем с огнем не сыщешь. — Халил положил в фартук Гюльпери собранный им хлопок. — А хлопок нынче удался! Погляди, какой пышный. Управитесь к сроку, получите на трудодень, самое малое, рублей по двадцати.

Тетушка Чимназ, искоса наблюдавшая за ними, недовольно проворчала:

— Счастливой все помогают. А никто не скажет: на вот тебе еще и новые туфли.

Гюльпери сердито нахмурилась.

— Тетушка Чимназ!.. Сказала раз, и хватит. Язык у тебя без костей!..

— Неужто теперь и на разговоры норма установлена? Что ты мне рот затыкаешь?

Халил засмеялся и новую порцию хлопка положил в фартук тетушки Чимназ.

— Не серчай, сестрица. Говори смело все, что думаешь.

Но тетушка Чимназ с оскорбленным видом отвернулась от Гюльпери и вполголоса пробубнила:

— Для ее же пользы стараешься. А она защищает этих дармоедов из копратива. Вот и делай людям добро!..

Халил еще в те дни, когда возглавлял тракторную бригаду, частенько наведывался в это село, и у колхозников не было от него секретов. К нему, народному депутату, — он был выбран в Верховный Совет Азербайджанской ССР, — шли простые труженики со своими заботами и нуждами, и он бесстрашно обрушивался на всех, кто поступал с ними не по справедливости.

Но в последнее время, после того, как Халила назначили директором МТС, язык у него, как говорит пословица, укоротился. Все обвинения, которые он бросал другим, рикошетом отлетали в него самого. «Не суйся в чужие дела, — одергивали его, — пока своих не поправишь. Чем разоряться на собраниях, вытаскивал бы МТС из прорыва!..» Вот и выходит: плюнешь вниз — на бороду попадешь, плюнешь вверх — на усы. Слова должны опираться на дела. А делами в МТС он не мог похвастаться. Из рук Халила было выбито самое надежное оружие — незапятнанная трудовая слава.

Но узы дружбы, издавна связывавшие его с честными тружениками, не распались. Его все сильнее тянуло на поля, к простым людям, которые были для него дороже самой близкой родни. Он любил их и верил в них. Это были настоящие друзья, мужественные и скромные, не способные на коварство и вероломство. Среди них Халилу дышалось легче.

Полные упрека слова тетушки Чимназ не обидели его, а вызвали чувство, похожее на зависть. «Вот бы мне в МТС таких работников!.. Шахмар небось никогда правды в глаза не скажет. Льстит, угодничает, а сам только ждет случая, чтобы свинью подложить...»

Нахмурившись, он поднял с земли опавшие коробочки и присоединил их к хлопку, раздувавшему фартук Гюльпери.

— Напрасно ты, дочка, накинулась на тетушку Чимназ. Она, может, давно искала, кому душу излить...

— Да никто ей рта и не зажимает!.. Только какой прок весь день твердить одно и то же? Ну, сказала раз, все слышали. Можно будет помочь делу — помогут, нельзя — так на нет и суда нет. Что она, сама не понимает?..

Халил подошел к тетушке Чимназ.

— Ты тоже, сестра, не держи сердца на Гюльпери.

У каждого свое горе. Не браниться надо, а помогать друг другу.

Тетушка Чимназ подняла на Халила потеплевший взгляд. Какое у него доброе сердце!.. Но сама она за время войны перезабыла все добрые слова и так и не нашлась что ответить Халилу. А тот, словно прочитав ее мысли, спросил:

— Кто у тебя на фронте, Чимназ-баджи? [1]

— Не одного, не двоих, четверых на войну проводила! — вздохнула тетушка Чимназ. — И все нет и нет от них вестей, чтоб мне умереть за них! Я уж извелась вся, сон и покой потеряла. Вчера, правда, пришло письмо от старшего. Пишет, что на днях приедет.

Халил посмотрел на орден матери-героини, сверкавший на груди тетушки Чимназ, и ласково улыбнулся.

— Ты у нас еще тихая!.. Другая бы на твоем месте не ворчала, а на куски разорвала заведующего кооперативом!

— Эти дармоеды растащили весь копратив! — снова взорвалась тетушка Чимназ. — А мои самые меньшие в лохмотьях ходят.

Неподалеку собирали хлопок дочери тетушки Чимназ — все стройные, гибкие как лоза. Халил взглянул на них, и опять добрая улыбка тронула его губы.

— Дочки у тебя как на подбор. Не девушки — джейраны, да убережет их аллах от сглаза! Замуж еще не выдала?

И впервые за весь день посветлело лицо тетушки Чимназ, словно упал на него яркий луч солнца.

— Слава аллаху, всех пристроила, кроме младшенькой. Она еще в школе учится. Куда торопиться!

Услышав это, младшая дочь тетушки Чимназ, кудрявая как барашек, фыркнула и отвернулась. А лицо старой Чимназ снова омрачилось.

— Замужество для дочек горькой бедой обернулось, все мои зятья на фронте...

Халил задумчиво покачал головой.

— Да, сестрица, ты вправе заботы требовать.

— Я ведь не милостыни прошу. Заплачу за все своими деньгами. Награди тебя аллах здоровьем, до

---

[1] Баджи — уважительное обращение к пожилой женщине.

войны я целый сундучок денег скопила. Куда их девать? Уж сколько я государству отдала, а остальные что, в могилу с собой брать?

— Э, рано о могиле думать. С этим всегда успеется. Ты еще погуляешь на свадьбах своих сынков, отпразднуешь рождение внуков и правнуков.

— Дай-то бог, чтобы по-твоему было, — в голосе тетушки Чимназ послышались слезы. — Кто знает, как еще все обернется...

Когда Халил положил собранный им хлопок в фартук кудрявой девушки, дочки тетушки Чимназ, та снова засмеялась и, пряча от Халила лицо, прижалась к матери.

— Заговорился я с вами, — спохватился Халил, — пора дальше ехать. Глядите-ка!.. Вроде распогодится. Будь здорова, Чимназ-баджи. — Он повернулся к Гюльпери: — Счастливо оставаться, доченька.

Халил вышел на дорогу и помахал рукой женщинам.

Гюльпери признательно прошептала:

— Большое спасибо тебе. Почаще бы приходил с такими вестями...

А у Халила, как только он простился с колхозницами, на душе опять заскребли кошки. «Самое милое дело — быть простым хлопкоробом. На черта мне эта машина, кабинет с чернильницами!.. Вот должность проклятая. Каждый норовит стукнуть тебя по башке, да так, что в глазах темнеет».

Он разбудил прикорнувшего в машине Салмана, и они снова тронулись в путь.

3

Миновав хлопковые поля, «газик» вылетел на прибрежную равнину. Всюду виднелись следы буйства неукротимой Куры. Посевы были смыты бурным весенним разливом, лишь густая трава зеленела по обеим сторонам дороги. Тут и там земля щетинилась высоким, в человеческий рост, камышом, окаймлявшим небольшие, затянутые тиной озерца, с которых доносилось громкое, бестолковое кваканье лягушек. Салман свистел что есть мочи, лягушки на мгновение замолкали, и тогда в наступавшей тишине слышался лишь таинственный шепот камышей.

Осенний ветер, который утром словно задался целью окутать всю землю пылью, постепенно умерял свою прыть, как вышколенный конь, почуявший после долгого пути близость родного двора.

Каждый раз, когда Халил проезжал по этим местам, печаль точила его сердце. Земля здесь была удивительно тучной, плодородной, а росли на ней нынче лишь камыш да сорная трава.

Прошлой осенью, когда Халил был еще бригадиром, его бригада пахала эту землю. Халил дни и ночи проводил вместе со своими трактористами, решившими досрочно завершить зяблевую вспашку. Они сдержали свое слово, вспахали даже больше, чем было записано в обязательствах. То-то радовался Халил!.. Он обнял и расцеловал победителей, сказав, что, будь его воля, он присвоил бы им звание гвардейских экипажей. По всей республике прокатилась слава о тракторной бригаде Халила Муса-оглы. В газетах, рядом с портретами героев воинов, были помещены фотографии лучших трактористов Садыллинской МТС.

Год прошел с той поры. Наши войска, вырывая из когтей фашистских хищников все новые города и села, неуклонно приближались к границе Германии. Халил от души радовался каждой победной вести с фронта, но стоило ему вернуться мыслью к делам МТС, как краска стыда заливала щеки.

Садыллинская МТС, которой с недавнего времени руководил Халил, значилась теперь первой... в списке отстающих. Пошли прахом и труды его бригады. Халил изведал всю горечь позора. И горше всего было сознание, что его МТС тянет назад весь район.

Ничто не в силах было заглушить терзающей сердце острой, постоянной боли. Она вспыхивала с особенной силой, когда Халил видел земли, опустошенные разбойной Курой. Казалось, он смотрит на кладбище, где похоронены его мечты и надежды.

Сбоку промелькнула зеленая стена камышей. Халил положил руку на плечо шофера.

— Стой-ка. Только без шума!

Он выставил наружу дуло ружья, не отрывая взгляда от какой-то точки, видимой ему одному, и, прищурив левый глаз, так и замер, боясь шелохнуться. Охотничий азарт на время отвлек его от мрачных, тяжелых мыслей.

Салман заглушил мотор. Теперь и он углядел в редкой траве, шагах в двадцати—тридцати от машины, турача. Почуяв опасность, птица семенила по узкой тропинке, исчезающей в зарослях густой, высокой травы. Еще мгновение, и турач совсем скроется из вида.

В другое время Халил бесшумно подкрался бы к птице, а потом вспугнул бы ее и ударил влёт. Так поступали все уважающие себя охотники.

Но сейчас Халилу было не до охотничьих церемоний. Приехал он сюда совсем по другим делам и ружье прихватил с собой так, на всякий случай.

На настоящей охоте он был в последний раз перед самой войной, вместе с сыном, Фирудином. Они вышли из дому спозаранку, проделали длинный, утомительный путь, не меньше чем в сорок пять километров, вернулись в село затемно, но не чувствовали усталости. Их блуждания окупились богатой добычей: каждый нес связку из шести турачей!..

Давно это было. Ох, как давно! До войны...

Прогремел выстрел. Турач стремительно взмыл ввысь и в нескольких метрах от земли стал плавно парить в воздухе, ни разу не взмахнув распростертыми крыльями. «Промазал! — с огорчением подумал Халил. — Нельзя охотнику быть рассеянным». Он уже собрался попросить Салмана ехать дальше, как вдруг птица, не успев отлететь на значительное расстояние начала круто набирать высоту. Халил схватил шофера за руку, взволнованно спросил:

— Как думаешь, попал?

— Нет, товарищ директор. Промахнулся.

— А я говорю, попал! — то ли с торжеством, то ли с сожалением воскликнул Халил. — Вылезай, забери птицу. Вылезай, говорю. Отлеталась, бедная...

Салман, удивленно взглянув на Халила, принялся с нетерпеливым любопытством следить за полетом турача. А Халил насмешливо произнес:

— Чтобы я, да промахнулся!.. Это тебе не МТС командовать! — В его голосе слышались одновременно и горечь, и гордость охотника, знающего себе цену. — Гляди! Это страх гонит его ввысь. Поторапливайся, а то черта с два потом сыщешь.

— Он все выше поднимается!..

— Ты слушай меня, братец. Ну!.. Одна нога здесь — другая там!

Салман медлил. Редко, когда турачи взмывают так высоко. Трудно было поверить, что турач подбит. Словно желая показать жестокому охотнику, как она сильна и бесстрашна, птица резко взмахнула крыльями, взвилась чуть не к самым облакам и неожиданно, прижав крылья к телу, камнем упала на землю.

— Ну?.. Кто был прав? — без особой радости сказал Халил. — Все бы у меня так ладилось, не знал бы я горя! — Он насупился и тяжело вздохнул. — Беги, беги, дорогой. Тащи его сюда. Дар судьбы, как говорится...

Салман не верил своим глазам. Не сводя взора с того места, куда упала птица, он вперевалочку побежал в степь.

Халил вынул стреляную гильзу, подул на нее. Она еще дымилась, от синеватого дымка шел запах сгоревшего пороха: едкий, тревожно горьковатый. «Глупые птицы!.. Разгуливают у самой дороги. Ладно бы еще, если бы я ее убил наповал. А то... Скверно все получилось. Куда как скверно! — Он вложил гильзу в патронташ. — Так вот и человек... Уже ранен, смерть в глаза смотрит, а он все идет и идет. Пока сердце не остановится...»

Салман стоял перед ним, держа за голову мертвого турача.

— Никак не найду, куда ты его ранил. Может, сердце у него разорвалось от страха?

Отдуваясь, он сел на свое место и протянул птицу Халилу.

— Не спеши с выводами, дорогой, — с мягкой иронией сказал Халил, — погляди-ка внимательней. Видишь? — Зажав меж коленей ружье, он показал Салману маленькую, еле заметную ранку под правым крылом турача. — Сюда я вогнал смерть.

У Салмана сладко заныло в желудке от предвкушения роскошного обеда. Его черные как смола глаза и белые сильные зубы сверкали в довольной улыбке. Он вел машину, не замечая, как печален директор. Лишь спустя несколько минут по молчанию своего спутника Салман догадался о его состоянии. А когда, обернувшись, увидел пасмурное лицо Халила, у него самого защемило сердце.

— Да... Чудно как все получилось. Верно, товарищ директор?

— Ладно уж. Не береди душу. Бери птицу. Ты, гляжу, тоже стал суеверным. Все война.

— Война тут при чем?

Салман принял от Халила турача, бросил его на заднее сиденье. А Халил продолжал:

— Найдется ли хоть одна душа, не пострадавшая от этой войны?

— Ай, товарищ директор! Иным типам и теперь неплохо живется. Уж они своего не упустят!

— Разве же это люди?

— Люди не люди, а имеются промеж нас такие.

«Газик» выехал на проселочную дорогу.

4

Они приближались к берегу Аракса.

Халил достал из кармана папиросу, щелкнул зажигалкой, которую сам смастерил из ружейной гильзы, и, глубоко затянувшись, устремил вперед задумчивый взгляд.

Равнинные поля, гладкие как ладонь, уходили за горизонт. Меж полей катил свои воды Аракс, он тоже тянулся далеко-далеко и словно исчезал в недрах земли. Земля, сливающаяся с голубой чертой горизонта, небо, река, сам воздух, свежий и чистый, — все, казалось, дышало изобилием, сулило богатый урожай. По небу, с севера на юг, медленно ползли серые и черные тучи, но даже они не могли нарушить безмолвного величия этих просторов.

Машина шла уже берегом Аракса. Тучи над рекой раздвинулись, и в образовавшуюся щель хлынули косые белесые струи солнечного света.

Халил стал тихо напевать:

Оставь окно открытым,
Чтоб я видел, кто идет...

Халил любил эту песню, он напевал ее и в горькие, и в светлые минуты жизни, и, хотя голос у него был не бог весть какой, песня хватала за сердце.

Когда Халил оборвал песню, Салман, хранивший до этого угрюмо-сосредоточенное молчание, спросил:

— Ты старый охотник, товарищ директор. Скажи, часто тебе случалось видеть такое?

— Ты это о чем? О птице?

— Ну да. Я ведь не верил, что она подстрелена.

— Это первый такой случай. Но все одно... Какой бы удачной ни была охота, а нет в сердце радости. Словно какая заноза там сидит.

— И со всеми охотниками так?

— Со многими. Помню, несколько лет назад приехал сюда из Баку большой мой друг. Взял меня с собой на охоту. Тогда в этих местах полным-полно было джейранов. А нам не повезло. Целый день мотались по степи, хоть бы одного встретили! Уж темнеть начало. Мы собрались было домой, как вдруг видим: неподалеку от нас стоит джейран с двумя подружками. Ну, шагов пять до них, не больше. Я говорю: «Стреляй! Что медлишь?» А он мне: «Не могу, дорогой, рука не подымается». По правде говоря, зло меня разобрало. Я выстрелил, да, видно, промахнулся: злость-то охотнику не помощник. Только мы тех джейранов и видели. Воротились домой, оба не в духе. Я говорю: «Что же ты не стрелял?..» — «Сам, говорит, не знаю. Жалко зверье губить». — «Зачем же, говорю, было приезжать из Баку, тащиться в такую даль?» А он мне: «Думал, говорит, рассеяться на охоте. Слава богу, не удалось. Я, говорит, за последние четыре года ни разу домой с добычей не возвращался. Иной раз зверь сам в руки лезет, а мне и стрелять неохота. Понимаешь, говорит, как увлекся я этим делом, охотой, значит, так стал сам не свой. Бывает, набьешь дичи, вроде бы надо радоваться, а я брожу по дому туча тучей, вымещаю злость на жене и детях. Как будто они в чем виноваты...»

— Кто же этот охотник, товарищ директор?

— Ты его не знаешь. Когда-то он был прикреплен к нашей МТС. Частенько наведывался.

— Ну и охотник!.. Вот чудак-человек...

— Думаешь, мало таких? Вот веселый охотник — это диво! Веселость-то эта от жестокости. Да, чуть было не забыл!.. Спустя два-три дня, уже проводив своего друга, проезжаю я по тем местам, где мы с ним охотились. Удалось мне подстрелить турача, он в кусты

упал. Шарю по кустам, гляжу, а там мертвый джейран. Трава вокруг ржавая от запекшейся крови. Меня оторопь взяла. Выходит, не промахнулся я тогда...

— Э!.. Откуда ты знаешь, что это тот самый джейран?

— А я гильзу картонную нашел. От моей, значит, двустволки.

Халил вдруг почувствовал озноб. Он поежился, поплотнее запахнул ватник.

— Ума не приложу, что это со мной творится. Тревожно как-то на сердце...

— Притомился, видать, товарищ директор.

— Нет, это не от усталости. Беспокоюсь я все... не приключилась ли с Фирудином какая беда?..

— Скажешь, ей-богу! Что с ним случится? Смелого, говорят, пуля не берет.

— Дай-то бог!.. — Халил глубоко вздохнул, совсем как тетушка Чимназ, когда он сегодня утром говорил с ней о ее сыновьях. — Только ты ведь сам знаешь, сынок... Многим сейчас похоронные приходят.

Справа от машины вновь забелели хлопковые поля. Халил окинул оценивающим взглядом мешки с хлопком — полных было маловато, хотя работало в поле вдвое больше женщин, чем на том участке, где он встретился с Гюльпери.

Халил велел Салману остановить машину и подошел к женщине, которая неторопливо, словно нехотя, собирала хлопок у самой дороги. Поздоровавшись с женщиной, он с упреком заметил:

— Нет за вами хозяйского глаза. Почему столько хлопка на земле валяется?

Женщина, даже не взглянув на Халила, лениво ответила:

— Про это не меня, начальство спрашивай.

— Какое же это начальство?

— А я почем знаю. Кто раньше всех проснется, тот над нами и начальник.

— И не стыдно вам?.. Одна Гюльпери больше хлопка собирает, чем вся ваша бригада.

— Куда нам до Гюльпери!.. — В голосе женщины послышалась горечь. — У Гюльпери орден. Гюльпери не сегодня-завтра в героини выскочит. Где нам с ней тягаться!

— У Гюльпери небось тоже две руки — не четыре. Славу она честным трудом заработала.

— А я что говорю?.. Она душой о колхозе радеет. А мы так, для виду в поле ковыряемся.

— Ты что же это, насмехаешься надо мной? — рассердился Халил. И осекся... Внимательней приглядевшись, он заметил, что женщина еле держится на ногах. — Постой-ка. Ты ненароком не захворала?

— Сроду не болела.

— Так... — Халил уже начинал догадываться, в чем дело. — Неужто опять пост держите?..

— А хоть бы и так! — с вызовом сказала женщина. — Нынче, говорят, дозволено и поститься и молиться.

— А раньше не дозволялось?

Женщина медленно подняла голову, покосилась на Халила и, поймав его испытующий взгляд, поспешила прикрыть лицо краем платка.

— Кто же это прежде запрещал вам молиться? — продолжал допытываться Халил. — Разве был такой указ?

— А я почем знаю. Может, и был. Доктора вон говорили, будто от поста один вред...

— Эх, сестрица! Я не доктор, а то же самое тебе скажу. — Боясь задеть религиозные чувства женщины, Халил перешел на ласково-шутливый тон. — От поста в глазах темно, голова кружится, а коробочки хлопка, будто белые бабочки, никак в руки не даются. Кто постится, тот и силу свою и ум оставляет в казане с бозбашем. О чем он аллаха молит?.. Чтобы все вокруг тьмой заволокло и настал бы конец всем мучениям. Верно?

— Что же делать, братец? — с надрывом спросила женщина. — Одна у меня радость на свете, сынок мой единственный. Вот уж второй год как на фронте. Я готова и постом себя извести, и молиться каждый день, только бы аллах уберег его от пули!

Видя, что она вот-вот разрыдается, Халил решил переменить тему разговора.

— Не скажешь, сестрица, как найти вашего председателя?

— Ищи ветра в поле!

— Он разве не заглядывает к вам в бригаду?

— Почему не заглядывает? Заглядывает. Только ведь у нее весь колхоз на шее! Всюду надо поспеть. Бедная Набат! Очутилась между огнем и водой.

— Постой... Набат, говоришь?.. Набат Керимова?

— Ну да, кто же еще. Уж как она просила, чтобы ее не выбирали!..

— Набат Керимова... Как же, помню. Она у вас бригадиром была. Когда же ее успели выбрать?

— Только-только. К нам Тарлан-муаллим приезжал...

— Верно. Я как раз в Баку был. Справляется Набат?

— Что уж там говорить, наградил ее аллах и умом, и расторопностью. Да больно уж тяжелую ношу на нее взвалили. В колхозе одни женщины. Мужчин всего трое-четверо, а толку от них меньше, чем от меня: старые да хворые. А у Набат еще ребятишки на руках, мал мала меньше, муж на фронте. Веришь, за эту неделю она ни на минутку глаз не сомкнула. Сам видишь, не успеваем с уборкой. Пропадет хлопок...

Халил близко к сердцу принял рассказ женщины. Судьба Набат напомнила ему собственную судьбу. «Когда была она бригадиром, ею нахвалиться не могли. И вот... взяли и сделали председателем колхоза. Теперь мается, горемычная. Оно и понятно. Каждый хорош на своем месте».

Он оглянулся. Чуть не каждый день приходилось ему выслушивать горькие жалобы на нехватку рабочих рук. Что верно, то верно: людей в колхозах мало. Но для работы на этом участке больше народу, пожалуй, и не требовалось. Он на глаз прикинул, сколько каждая колхозница должна собрать хлопка, и обратился к своей собеседнице:

— По совести говоря, сестрица, грех вам плакаться. Вон сколько народу в бригаде! Если каждая хотя бы норму выполнит, вы скоренько с уборкой управитесь. Видать, работаете спустя рукава. Когда в поле-то заявляетесь? Верно, не раньше полудня?

— Твоя правда. Сегодня совсем поздно пришли.

— По какой такой причине?

— Пешком добирались.

— Где же ваши машины?

— А я почем знаю? Была одна, и то никудышная.

Мы колеса с нее сняли, приладили к арбе. А сегодня нам говорят, что и на арбе нельзя ехать. На ней наш аробщик в город укатил. Мы ждали, ждали, да и отправились пешком.

— За каким чертом его в город понесло? В страдную-то пору?

— Брата у него посадили.

— Вон какое дело... За что же это его?

— А не зарься на народное добро! Что он, не знал, что наша власть не щадит жуликов? Когда ему доверили колхозный склад, то ведь не сказали: это, мол, все твое, распоряжайся, как душе угодно!

— А как фамилия кладовщика вашего?

— Да бросит ему аллах камень на голову, зовут его Самед Геюш-оглы.

Халил достал блокнот и карандаш, записал на первой странице: «Самед Геюш-оглы, кладовщик колхоза «Революция». Он дважды подчеркнул написанное и положил блокнот в карман.

— Спасибо, сестрица. Будь здорова. Поеду к своим трактористам.

Женщина уже проворней, чем прежде, принялась за работу, а Халил быстрыми, твердыми шагами направился к машине.

5

Сообщение колхозницы об аресте преступника, казалось бы, должно было обрадовать Халила; вот и еще один пакостник изобличен, схвачен за руку. Халил, однако, не радовался. Горько было сознавать, что не перевелись еще на нашей, советской земле жулики и проходимцы. «Сколько народу на фронте полегло!.. А этот... колхозников обкрадывал!..»

Халил вспомнил, как честила тетушка Чимназ работников кооператива. Без ветра, говорят, листва не колышется. Видно, и в кооператив пробрались бесчестные людишки.

Отчего это они так распоясались? Нет, не действовали бы они так нагло, если бы районные власти не смотрели на их махинации сквозь пальцы. А может, кто-нибудь им потворствует?

Разворошить бы это осиное гнездо! Да куда там.

Надо сперва вернуть себе доброе имя, навести порядок в МТС. Хватит ли у него на это сил?

Халил так ушел в свои мысли, что даже не слышал, о чем его спрашивал Салман.

Машина мягко катилась по грунтовой дороге меж полей, на которых уже шла осенняя вспашка. Свежевывороченные пласты земли тускло поблескивали под скудными лучами осеннего солнца.

Издалека донесся знакомый рокот. Халил, очнувшись от невеселых мыслей, напряг внимание, попытался на слух определить, сколько тракторов работает в поле. «Не густо... В чем же дело?» — спросил он себя и взглянул на Салмана, словно тот мог рассеять его недоумение.

«Газик», натужно урча и вздрагивая, силился преодолеть крутой подъем. Халил с нетерпением ждал, когда они снова выберутся на ровное место. Но вот трудный участок дороги остался позади, и машина резво устремилась под уклон. Отсюда хорошо были видны голые поля, наполовину черные, наполовину серые: еще не всю землю успели вспахать. По полю, навстречу друг другу, дымя и громыхая, двигались два трактора. Остальные машины мертво чернели в разных концах поля. Халил беспокойно заерзал.

— Где же все ребята? Спят, что ли? Я-то на них понадеялся... Совести у них нет!

Лицо его сделалось серым, как пепел. Не докурив папиросу, он раздраженно швырнул ее в окошко. Видя, как взволнован директор, Салман, верный своей привычке, стал утешать его:

— Так, за здорово живешь, ребята не бросят работу. Сам знаешь, вовсю стараются. Что-то случилось.

— Куда же они подевались, эти герои?

Салман, не отвечая, прибавил скорость, «газик» рванулся вперед и вдруг резко затормозил возле разложенного у самой дороги костра. Перед костром, от которого было больше дыма, чем огня, сидел, съежившись, худой, смуглый парень в стареньком ватнике.

— Разве зима наступила, сынок? — здороваясь с парнем, насмешливо осведомился Халил.

Парень с усилием поднял голову, виновато улыбнулся тонкими, посиневшими губами. Видно, ни костер, ни ватник не могли его согреть: мелкие, желтые зубы

отбивали частую дробь. Прерывисто, трудно дыша, то и дело облизывая пересохшие губы, парень принялся объяснять:

— Замучила проклятая лихорадка!.. То в жар, то в холод кидает. Вчера еще можно было терпеть. Вон ту землю я один вспахал, — он показал на большой, в четыре-пять гектаров, распаханный участок и недовольно нахмурился. — Мало, конечно. Чертова болезнь! Нашла время схватить за горло. Совсем из-за нее опозорился...

Он придвинулся ближе к костру, обхватил плечи руками, сжался еще больше. Халил, как заботливый отец, выговаривающий сыну, с упреком сказал:

— Я ведь привозил лекарство. Почему ты его не принял? Не жалеешь себя, сынок.

Парень, словно желая размяться, широко раскинул руки, потянулся, но тут же, зябко вздрогнув, снова сгорбился, поворошил палкой угли.

— Честное слово, Халил-даи, я до нынешнего дня хорошо себя чувствовал. Что зря горечь глотать? Примешь, кажется, будто на том свете побывал. Теперь каюсь... Не послушаешься старших, всегда беду наживешь.

— Салман, поди-ка сюда! — позвал Халил. — Немедля отвези Эйбата в село к доктору. Пусть сделает ему укол. Может, полегчает парню.

Салман, пыхтя от натуги, попытался поднять Эйбата, но тот вырвался из его рук и снова подсел к костру.

— Погоди, Салман. Дай немного согреюсь.

— Не упрямься, сынок, — увещевал Халил. — Я тебе добра желаю. Поезжай с Салманом. Вот уж не вовремя вздумал заболеть!.. — Он оглянулся, покачал головой. — Всего два трактора на ходу. Где же остальные ребята?..

Салман взял Эйбата за руку, чтобы отвести к машине, но тот опять высвободился, засунул дрожащие руки в рукава ватника и склонился над костром так, что пламя чуть не касалось его лица.

— Мансур и Паша еще вчера свалились, — проговорил он, не оборачиваясь. — Поглядел бы ты на них, Халил-даи!.. Кожа да кости.

— Салман! — поторопил Халил. — Сколько раз можно повторять? Вези Эйбата в село. Завтра с утра все

тракторы должны работать. И без того нас бранят, кому не лень!..

Халилу вспомнились все попреки, все обидные слова, которые довелось ему за последнее время выслушать и от районного начальства, и от представителей из центра. Только природная мягкость и терпеливость помогали ему сдерживаться. «Что поделаешь!.. — говорил он себе. — Плохо мы проводим осеннюю вспашку. А отстающим всегда влетает по первое число!.. Мало мне еще, дураку. Когда я сидел за рулем трактора, мне и ордена давали, и депутатом выбрали, и никто не мог сказать про меня худого слова. На кой мне это директорство?.. Надо было сразу отказаться. Да все думал, поднатужусь, выволоку МТС из трясины. Ведь на глазах разваливалась! А теперь... теперь и я в этом развале виноват».

Эта мысль не давала Халилу покоя ни днем ни ночью. Жена и дети уже привыкли к его вечно хмурому, озабоченному виду. Редко озарялось его лицо улыбкой, а душа — радостью.

Халил с состраданием взглянул на серые, запавшие щеки Эйбата, немного помолчал и, отойдя в сторону, тихонько проговорил:

— Все шишки на меня валятся. Душа в синяках от бранных слов. Эх, Эйбат!.. Выходит, я и для тебя пустое место. Поезжай, сынок!.. Покажешься доктору, малость подлечишься — и опять за руль. Ну, не упрямься.

Однако слова Халила произвели на тракториста обратное действие. Если несколько минут назад он готов был сдаться на уговоры, то теперь, после откровенных сетований директора, и слышать не хотел ни о каком отъезде. Халилу пришлось перейти на строгий, официальный тон.

— Слышишь, парень?.. Я приказываю!

— Товарищ директор!.. — взмолился Эйбат. — Дался тебе этот доктор!.. Лихорадка скоро сама пройдет, вот честное слово! Согреюсь немного — и за работу. На тебя нападают, а мы будем стоять в сторонке?.. Разве мы не носим папах?

Но у Халила был неприступный вид.

— Я сказал — ты слышал. Поезжай!.. Твое упрямство во вред и тебе и делу. Понял?

Эйбат ценой огромного напряжения унял дрожь в

теле, крепко стиснул зубы, чтобы они не стучали, но его снова обдало волной леденящего холода. Он торопливо подбросил в костер хворосту.

— Халил-даи!.. Клянусь... Я приму лекарство! Вот увидишь, хворь как рукой снимет.

— Ну, что с ним делать! — с досадой воскликнул Халил. — Я ему одно, он мне другое. Салман!.. Тащи его в машину!

Салман бросил в сторону Эйбата опасливый взгляд и не сдвинулся с места.

Воспользовавшись бездействием шофера, Эйбат решил прибегнуть к последнему средству. Через силу улыбнувшись, он спросил:

— Халил-даи... Что Фирудин пишет?

— Не хитри, парень!.. Меня не проведешь. Ты войди в мое положение... Сорвем план, мне ведь придется бока-то подставлять!

— Почему же только тебе? За план все мы в ответе...

Эйбат не договорил, борясь с новым приступом озноба. Потерявший терпение Халил сам схватил его за руку и потянул к машине.

— Пока доктор не разрешит, не допущу к работе!

— Халил-даи!.. Силком меня в постель не уложите. Все равно сбегу!.. — Эйбат резким движением вырвал руку и подбежал к костру. — Вот самое верное лекарство. Погоди, я подбавлю огня, чтоб до самых костей добрался!..

Халил, вконец рассердившись, проворчал:

— Дьявол упрямый!..

— Почему упрямый? — миролюбиво отозвался Эйбат. — Вот закончим вспашку, сам пойду к доктору. Скажу: лечи, пожалуйста. А сейчас работать надо.

Халил понимал, что не одно упрямство говорит в Эйбате. Дело было и не в том, что трактористу не хотелось подводить своего директора. Эйбата из-за изуродованной ноги не взяли в армию, и он готов был на любые жертвы, только бы не осрамиться перед своими сверстниками-фронтовиками.

Прихрамывая, тракторист отошел от костра, наломал кустарника, подбросил несколько веток посуше в костер и, улегшись на прежнее место, просительно сказал:

— Не сердись, Халил-даи. Ну, скажи, получил письмо от Фирудина?

Халил охотно знакомил друзей-трактористов с письмами Фирудина. В бесхитростном сыновнем рассказе о боевых делах однополчан слышались отзвуки грозных боев, больших событий...

Эйбат показал рукой на нагрудный карман рубахи, видневшейся из-под ватника Халила.

— Я знаю, письма Фирудина ты хранишь там. Почитай!..

Но Халил пробормотал что-то под нос и, повернувшись к Эйбату спиной, стал с подчеркнутой внимательностью наблюдать за работой двух тракторов. Эйбат, который начал, видно, отходить, заговорщицки подмигнул Салману:

— Салман!.. Ты хоть скажи, было письмо от Фирудина?

Он задал этот вопрос намеренно громко, чтобы его услышал Халил, и тот, резко повернувшись, сердито буркнул:

— Любил бы Фирудина, так уважал бы и его отца!

— Неправду говоришь, товарищ директор! — горячо возразил Эйбат. — Я тебя уважаю. Потому и не хочу никуда ехать. Что же пишет Фирудин?..

— Слушать тебя не желаю! — Халил наклонился к Эйбату и уже мягче сказал: — Ты подумай, дурья башка, а ежели температура до сорока подскочит? Что тогда будешь делать?

Эйбат беспечно махнул рукой:

— Чепуха!.. Пропотею хорошенько, все и пройдет.

Костер разгорался все жарче. Эйбат наслаждался идущим от него теплом. Устремив на Халила большие, лихорадочно блестевшие глаза, он протянул руку:

— Ну!.. Дашь письмо или нет?..

— На, читай! — с сердцем сказал Халил, доставая из кармана, на который указывал Эйбат, измятый солдатский треугольник. — Вчера пришло. Читал, ревел, как баба.

— Дурные вести?..

— Прочтешь, увидишь. Я его наизусть помню. Закрою глаза, каждую буковку вижу...

Письмо занимало несколько страниц, вырванных из школьной тетради в линейку, исписанных мелким, убо-

ристым почерком. Развернув его, Эйбат углубился в чтение.

«Дорогой отец!.. — писал Фирудин. — Пишу это письмо, сидя в окопе. Обо мне не волнуйся, за четыре года со мной ничего не случилось, а теперь подавно все будет в полном порядке. Так и скажи маме.

Рука не подымается писать дальше, но я должен выполнить завет друга. Скажи отцу Аббаса, что его сын герой. Были мы с ним в жестоком бою. Аббаса ранило в правую ногу. Я подозвал санитарку, велел отвести Аббаса в полевой госпиталь. Но ты ведь знаешь, какой он упрямый. Уперся и ни в какую. Фашисты в это время пошли в контратаку. Много их было, целая рота эсэсовцев-автоматчиков, лезут прямо на нас! Мы стреляем в упор, а они идут и идут. И пулеметный огонь их не остановил. Лезут напролом! Тогда я приказал атаковать их врукопашную. Немцы, отец, пуще всего боятся наших штыков. Ребята, как львы, ринулись на врага. В этой атаке Аббас был ранен в правую руку и в голову. Я ему приказал уйти в тыл, но он только крепче сжал зубы и побежал вперед. Он уже был весь изранен, на него страшно было смотреть, только глаза, как огонь, пылали. Как подрубленный, упал он наконец, но тут же поднялся, шатаясь, и повернул ко мне окровавленное лицо. «Ладно, говорит, командир, так и быть, пойду в госпиталь. Только сперва прикончу парочку-другую гадов».

А немцы уж вот они, рядом! Схватились мы с ними в рукопашном бою. Аббас ударом штыка свалил на землю одного из наступавших... Славно поработали мои орлы. Не выдержав штыковой атаки, гитлеровцы показали спины. Мы стали преследовать врага. Аббас побежал вместе со всеми, но тут же упал и снова встать уже не мог. Санитары унесли его с поля боя. Мы закрепились на занятых рубежах.

Вечером, едва стемнело, я пошел проведать Аббаса, хотя, по правде говоря, уже не надеялся застать его в живых. Но он был жив, в беспамятстве что-то очень быстро говорил... Вдруг он открыл глаза, узнал меня и еле слышно прошептал: «Фирудин... Напиши отцу обо мне...»

Знал бы ты, дорогой отец, как горела моя душа, ко-

гда мы опускали в сырую землю тело Аббаса и других наших боевых товарищей...»

Едкое пламя жгло глаза Эйбату. Душа его была полна скорби. И он завидовал Аббасу, завидовал его стойкости и бесстрашию! «Ну, а сам ты способен на такой подвиг?..» И с горечью подумал: «Пожалуй, не выдержал бы. Шутка ли, весь израненный, истекающий кровью, Аббас шел и шел вперед! Он настоящий герой!.. Но разве сам он думал когда-нибудь, что совершит подвиг?.. Нет, будь я там, на фронте, так тоже не подкачал бы... Нет, я бы не подкачал...»

Эти мысли так захватили Эйбата, что он забыл о болезни, не заметил даже, что Халила уже нет возле костра. Он видел сейчас только Фирудина и Аббаса, бегущих под градом пуль навстречу фашистам, и рядом с ними себя.

Очнувшись, он поискал глазами Халила. Тот направлялся к трактору, стоявшему близ дороги. Застегнув ватник, Эйбат вскочил на ноги и пошел за директором. Озноб больше не мучил парня, ему было жарко, на лбу блестели капли пота. Он чувствовал, что уже может вести трактор.

6

Эйбату, однако, не удалось нагнать Халила.

Тот успел влезть на трактор, раздался довольный рокот мотора, и машина двинулась в поле. Лемеха плугов, сверкнув на солнце, врезались в землю, отваливая в сторону толстые черные пласты.

Халил был опытным трактористом, и Эйбат не удивлялся, видя, как директор МТС свободно управляет мощной машиной. «Сам сел за руль, — подумал он, вздохнув. — Верно, очень сердит!»

Он остановился на краю поля, издали любуясь Халилом. Какая у него гордая, мужественная осанка!.. Директор похож был сейчас на умелого, бесстрашного пловца, рассекающего волны бурной Куры.

Трактор прошел метров двести, сделал круг и на прежней скорости стал приближаться к дороге. Если бы Эйбат мог представить себе, что сейчас творилось в душе у директора МТС!.. Казалось, Халил встретился

с верным, испытанным другом, которого не видел так долго!.. Он будто чувствовал душу машины, и машина отвечала ему преданностью и послушанием. Шум мотора звучал для него музыкой, напоминая об утерянном счастье. Год назад он открыто, смело смотрел всем в глаза. Ведь он был мастером своего дела... Когда он поднимался на свой трактор, казалось, что это ловкий наездник вскакивает на горячего, резвого скакуна!

Вот и сейчас, сидя за рулем трактора, Халил испытывал ни с чем не сравнимое наслаждение.

«Истосковался по машине, — думал Эйбат, не сводя с директора восхищенного взгляда. — Не помешаешь ему, так дотемна и будет работать. А помешаешь — рассердится. Зря я ему перечил. И без того он не в духе».

Трактор, сделав у дороги плавный разворот, вновь стал удаляться от Эйбата. Юноша все стоял на месте. У него начался жар. Все плыло перед глазами, а по вискам, казалось, кто-то бил и бил, как по наковальне, тяжелым молотом, и каждый такой удар мучительно отдавался во всем теле.

Когда Халил снова оказался близ дороги, он бросил на юношу недовольный взгляд, но так ничего и не сказал. «Лучше не мозолить ему глаза», — подумал Эйбат и медленной, нетвердой походкой вернулся к костру.

Салман успел уже раздобыть у трактористов небольшой закоптелый казан, поставил его на два черных камня, между которыми еле тлел сырой хворост. Встав на четвереньки и пыхтя от натуги, шофер с силой дул на хворост, но от костра шел только едкий густой дым. Салман тер слезящиеся глаза, кашлял, снова дул, а огня все не было.

Увидев в казане неощипанного турача, Эйбат легко догадался, почему так старается шофер.

— Слушай, что ты себя мучаешь? Положи камни сюда, на большой костер. Я уже согрелся.

Салман благодарно взглянул на Эйбата, отставил казан в сторону, ногами подкатил черные камни к костру, разожженному Эйбатом, подгреб на середину весело полыхающий хворост, пристроил на камнях казан с птицей. Все это он проделал в мгновение ока. Эйбат даже рассмеялся.

— Глядя на тебя, не подумаешь, что ты можешь

быть таким прытким! Смотри не проглоти птицу неощипанной. Зажарил бы ее. Дать масла?

— Э, не беспокойся! — хвастливо отозвался Салман. — Имеется у меня и хлеб и масло. Я не выйду из дому, не прихватив продовольственного запаса. Сейчас я сварю такой обед, что у тебя от одного запаха дух захватит! Раз уж Халил-даи сел на трактор, так теперь до вечера не слезет. Я даже плов успел бы сготовить!

Эйбат посмотрел на трактор, приближающийся к дороге, и спросил:

— Турача-то ты подбил или директор?

Салман захлопал руками по животу, так ему стало смешно.

— Какой из меня охотник!.. Вот поесть я охотник, это верно.

— И то дело. Вон ты какой толстый, завидки берут! — Эйбат взглянул на тугие как мяч щеки Салмана, на его толстый живот и с сожалением добавил: — А я вот понадеялся на свое здоровье. Не щадил себя, не пил, не ел, только вкалывал днем и ночью. Позабыл, что не из железа сделан. Вот и сдал...

— Как теперь-то себя чувствуешь?

— Озноб прошел. Жарко очень... — Эйбат провел по горячей щеке тыльной стороной ладони. — Будто костер во мне разожгли.

— Что же ты стоишь? Ложись к огню. Я тебя хорошенько укрою, пропотей как следует. А я пока сварю турача. Встанешь, подзаправимся.

— Сказал!.. Да этот турач не займет и одного уголочка в твоем желудке!

Салман нахмурился.

— Не бойся, всем хватит. Иди, ложись. Не думай, что я такой уж обжора. Вот ведь как получается: одни жрут до отвала, так о них никто худого слова не скажет. А другие питаются умеренно и, на́ тебе, слывут обжорами!.. Я почему такой толстый? Думаешь, ем много? Да, ей же богу, нет! Просто совесть моя чиста, на душе спокойно, что ни съем, все впрок идет. Иной же только и делает, что набивает свою ненасытную утробу, а ни капли не толстеет!.. Ну, кто ест больше, чем Алияров?

— Какой это Алияров?

— Как какой? Ты что, не знаешь председателя райисполкома?

— Он же худой как щепка!

— Всю жизнь ему быть худым!..

— Это отчего?

— Я же говорю: тут все дело не в желудке, а в сердце. Если хочешь, чтобы от еды польза была, так не притрагивайся ни к чему, что добыто нечестным путем. Да пожалей же себя, Эйбат! Ложись. Второй раз мать тебя не родит.

— Лягу, хуже станет. Я уж знаю. Ох, как кости ломит!.. Подбрось-ка вон те угольки под казан. А то вода до завтра не закипит. Так, говоришь, Алияров много ест?..

— Много — это не то слово, дорогой. Да что толку, все равно сохнет, как лист осенью. Схвати его за нос, он богу душу отдаст.

Салману, видно, не хотелось продолжать этот разговор, он палкой пододвинул под казан раскаленные угли и, оглядев поле, покачал головой.

— Директор, видать, не успокоится, пока весь твой участок не вспашет.

Эйбат вздохнул.

— Переживает. Да и то сказать, в МТС у нас такие есть типы, родной матери не пожалеют.

— Особенно агроном и бухгалтер! — подхватил Салман.

— Вот-вот. Они станцией как хотят вертят. У одного в руках деньги, у другого все хозяйство. Так могут все запутать, сам черт ногу сломит.

— Ничего!.. Каким бы смирным ни был Халил-даи, он с ними справится! Мы-то на что? Жаль, образования у него мало. Он все старое время проклинает. «Была б, говорит, у меня возможность учиться, меня б сейчас никто пальцем не посмел тронуть!» Он ведь просил освободить его от работы и послать на учебу. А кого на его место поставишь? Все на фронте. А дома подзаняться — где время взять?

Вода в казане забулькала, заклокотала. Салман вынул из казана турача и, ощипывая его, продолжал толковать с Эйбатом о Халиле, о делах МТС, о войне...

Но вот Салман кончил возиться с турачом и поинтересовался, нет ли у Эйбата картошки: одной птицей они втроем не насытятся.

— Так ешь ее один, я не голоден, — великодушно предложил Эйбат.

— Нет, так не годится. У меня кусок в горле застрянет. Ты ешь, а другие только слюнки глотают — какое ж это удовольствие?

Эйбат подошел к мешку, лежавшему недалеко от костра, возле свежего тополевого пенька, достал с десяток больших картофелин и несколько головок лука и, вернувшись к костру, положил все это богатство к ногам Салмана.

— Повезло тебе. Есть и у меня кое-какой запасец. Ты порежь картошку помельче, чтоб скорей сварилась.

Салман понял его по-своему.

— А-а, друг, и у тебя аппетит разыгрался!..

— Какой там аппетит. Я бы сейчас и к меду не притронулся. Во рту будто горький яд. Ты бы позвал директора, Салман. Я и подойти-то к нему боюсь. Сердится он на меня. А мне пора на трактор. Я слово дал: в память Аббаса вспашу сегодня вдвое против нормы!

Салман, которому это имя ничего не говорило, спросил:

— Какой это Аббас?.. Тот тракторист, что тоже заболел?

— Да нет, Аббас погиб на фронте. Про него Фирудин написал. Сколько у нас отважных парней! А мы-то еще себя мужчинами называем...

— Кто же мы, по-твоему? Выходит, кто не на фронте, тот уж и не мужчина?..

— Все-таки Аббас — настоящий герой! Пойди позови директора. Я слово себе дал. Я... я сейчас все могу!

Салман кивнул в сторону поля:

— Он и сам остановился.

Повернувшись, Эйбат увидел, что Халил, сойдя с трактора, копается в моторе. Юноша пробормотал:

— Наверно, горючее кончилось.

Обрадовавшись, что нашелся повод подойти к директору, он проворно вскочил на ноги и схватил бидон с горючим.

— Пойду сменю Халила-даи. Умаялся, верно.

Салман рассмеялся.

— Как бы не так!.. Скорей устанет тень Халила, чем сам Халил. Не ходи, Эйбат, прогонит.

— А я скажу, что лихорадка прошла.

— Как же, поверит он тебе. Вон глазищи-то как горят!..

Эйбат, однако, уже не слышал, что говорил ему шофер. Торопливо, пошатываясь от слабости, он шагал к Халилу.

Халил, нагнувшись, что-то разглядывал в моторе. Услышав шаги, он выпрямился, вытер ветошью измазанные в масле руки. Серые его глаза сердито сверкнули из-под насупленных бровей. Он в упор сурово смотрел на Эйбата, словно хотел испепелить его своим взглядом. Тот, кто не знал Халила, поймав этот взгляд, мог бы, пожалуй, сказать: «Ну и страшные же у него глаза!.. Такой, не моргнув, отрубит человеку голову!..»

Но Халил был отходчив. Вздохнув, он сказал:

— Сам виноват. Поменьше нянчиться нужно с вами. Мусульманин, говорят, только меча слушается. И верно! Ну, скажи, будет со мной агроном считаться, если лучшие мои трактористы мне не подчиняются!..

— Халил-даи! — умоляюще проговорил Эйбат. — Не сердись на меня.

Но терпение Халила лопнуло, он взорвался как бомба:

— Директор я или нет?..

— Директор.

— Почему же ты не выполнил мое указание?

Эйбат поставил на землю бидон с горючим.

— Да ведь я здоров. Совсем здоров. Приступ прошел.

— А хоть бы и прошел!.. Все равно ты обязан выполнять указания директора.

— Но ты же знаешь...

Халил резким взмахом руки оборвал тракториста:

— Я одно знаю — развел я с вами панибратство. И все мои слова как горох об стену!

— Зачем так говоришь? — обиделся Эйбат. — Мы...

— А что, неправда?.. Я с вами разговариваю или муха жужжит, — для вас все одно! Ладно, давай горючее.

Спорить с Халилом было бесполезно. Эйбат молча поднял бидон, налил в бак горючее. А директор, бросив на радиатор ветошь, не глядя на Эйбата, спросил:

— Что с мотором? Барахлит. Почему не следишь за машиной?

Эйбат, боясь снова рассердить директора, промолчал, лишь поднял на Халила ласковые глаза, горевшие лихорадочным блеском. И Халил устыдился своего резкого тона. Ведь этот молодой тракторист, его питомец, любит свое дело и от души сочувствует Халилу. «Разве я не понимаю, сынок?.. Я ведь не самодур какой-нибудь. Сделай милость, не будь таким несговорчивым. И без того тошно. Бухгалтер и агроном готовы живьем меня съесть, запутался я в их сетях. А тут еще ты... Огорчаешь своего директора. Как тут не вскипеть?» Он уже раскаивался, что так жестоко обошелся с Эйбатом, но, желая скрыть свои чувства, уставился тяжелым взглядом в землю и сухо сказал:

— Трактор недавно из ремонта. Какая такая хворь на него напала?

— Многие детали от руки сделаны.

— Ты таким и принял его?

— Ну да. Когда он вышел из мастерской, я все до последнего винтика сам проверил. Сказал, что не нравится мне шум в моторе. Но работает он неплохо.

Халил снова сел за руль, завел мотор.

— Ступай к костру, Эйбат!

Трактор рванулся с места и двинулся через поле.

Эйбат, взяв бидон, вернулся к Салману. По всему телу разливалась острая боль, клонило ко сну, в глазах рябило, мысли путались, но тракторист старался держать себя в руках. «Что ж это он, даже не подпускает меня к трактору! — мысленно упрекнул он Халила. — Глядеть на меня не хочет. Это он все нарочно. Чтоб я к врачу пошел. Но я мужчина, мое слово твердо: не пойду, и точка! Не имеет он права отстранять меня от работы. Злыдни в МТС каждому его промаху рады. Не по нутру им, что начальником у них простой тракторист. А я вот назло им соберу ребят и скажу: давайте уговоримся — не уйдем с поля, пока вспашку не закончим!..»

Оклик Салмана вернул его к действительности. Обед был готов, но Эйбату и глядеть не хотелось на еду. Он чувствовал себя совсем скверно. И все нещадней бил по вискам невидимый молот.

— Эйбат! — снова позвал Салман. — Ешь, пока не остыло.

— Мир праху твоего отца! — через силу улыбнулся Эйбат. — Козел дрожит за свою жизнь, а у мясника одно на уме — козлиное сало.

— Подсаживайся, братец, — не отставал от него Салман, — сам шеф-повар «Интуриста» не состряпал бы такого обеда!

Сказав это, Салман принялся жадно обгладывать жирную, еще дымящуюся ножку турача. Он взглянул искоса на впалые щеки, худую, как у ощипанной курицы, шею Эйбата, и ему вспомнился простой и мудрый совет одного врача: «Избавление от любой хвори ищи в казане!» Верно, сытный обед — лучшее из лекарств! Надо заставить Эйбата подкрепиться.

Но Эйбат уже лежал у костра, укрывшись поверх ватника шинелью, и не отзывался на самые соблазнительные посулы Салмана. С сожалением прервав трапезу, шофер подошел к Эйбату. Тракторист спал. Он дышал часто, неровно и временами тихо стонал во сне. Салман решил не будить его. Отважно расправившись со своей долей турача, он пошел за Халилом.

Эйбат не знал, долго ли он спал. Когда он открыл глаза, то увидел, что Халил успел вспахать около двух гектаров. Салмана поблизости не было. От казана, стоявшего на черных камнях, по-прежнему шел аппетитный запах, а костер уже догорел, лишь в горсточке серой золы, оставшейся после него, мигали красные искры.

Эйбат поднялся. Он был весь в поту. Чтобы не простыть, он надел шинель, застегнул ее на все крючки и хотел потребовать от Халила, чтобы тот уступил ему руль трактора, но тут же отказался от этой мысли: что толку, кончится тем, что директор опять на него накричит. До вечера оставалось немного времени. Надо потерпеть. Должен же директор когда-нибудь отбыть в МТС!..

Вдруг над холмом, с которого сбегала дорога, взвилось облако пыли. Облако все приближалось. И вот уже затормозил неподалеку от костра директорский «газик». Открыв дверцу, Салман со смехом крикнул:

— Эй, друг!.. Коль гора не идет к Магомету, так Магомет идет к горе. Я врача привез. Не говори потом, что я пекусь только о собственном брюхе.

Из машины вышла девушка с коротко подстриженными волосами, в белом халате, с санитарной сумкой в руке. Она пристально, с удивлением посмотрела на Эйбата.

— Это больной?

— Он самый, доктор! — с готовностью подтвердил Салман и ободряюще подмигнул помрачневшему Эйбату.

Осмотр больного продолжался недолго: показания термометра говорили сами за себя.

— Странный пациент! — неодобрительно воскликнула девушка. — Да разве проявляют героизм с такой температурой? Тридцать девять. Сейчас же в больницу!

— Мне нельзя в больницу, доктор!.. — взмолился Эйбат.

— Как это нельзя?

— Трактор меня ждет!

— Ничего, подождет. И поменьше разговоров!

Эйбат упрямо сдвинул брови.

— Никуда я не поеду.

— Заставим поехать!

— Не поеду.

Девушка достала из сумки маленькую металлическую коробку, из коробки — завернутый в вату шприц и сделала Эйбату инъекцию хинина. Когда она делала укол, подошел Халил. Девушка пожаловалась ему на Эйбата. Но директор, даже не взглянув на упрямца, направился к машине.

— Пора ехать, доктор, — бросил он на ходу, — я на собрание опаздываю. Салман!..

Он сел в машину. Прежде чем последовать за ним, девушка-врач оглянулась и с укоризной покачала головой.

Когда «газик» исчез за холмом, Эйбат заторопился к своему трактору.

7

Трудно приходилось парню... Все тело было полно томящей болью. Но Эйбат, пересиливая боль, до самых сумерек не выпускал из рук руль трактора.

Пора было и отдохнуть... Он остановил трактор на границе поля и степи, поросшей пыреем, устало смахнул

пот со лба и вдруг почувствовал, что совсем выбился из сил. Медленно, с трудом потянувшись, он зевнул и посмотрел вокруг.

Небо было чистое-чистое. Казалось, чья-то невидимая рука тщательно, до мягкого блеска протерла гигантское голубое зеркало. Лишь на западе, там, где небо сливалось с землей, вздымались белые облака, словно привалившиеся друг к другу бунты хлопка. Солнце уже закатилось, но его лучи еще золотили края облаков. И чем меньше становилось этих лучей, тем огромнее становились бунты на горизонте.

Но вот потухли в небе последние золотые отблески. Стемнело.

Эйбат снова повел трактор. Прислушиваясь к далеким печальным крикам перелетных птиц, устремив вперед затуманенный лихорадкой взгляд, он всю ночь до рассвета пахал и пахал.

Вот уже утреннее солнце приветливо улыбнулось неутомимым труженикам. Эйбат не видел, как оно взошло. Его товарищи, собравшись к костру позавтракать, застали Эйбата крепко спящим.

8

Ранним утром Халил вышел из дома, где жил он сам и другие сотрудники МТС, и направился к конторе. После вчерашнего шумного собрания он не поленился почитать книгу, принесенную Шахмаром. Читал он медленно, заснул поздно, да и сон был неспокойным. Халил встал с постели разбитый, с черными тенями под глазами. И сейчас он был угрюм и мрачен. В ушах все еще звучали обидные слова выступавших на собрании; ему казалось, все еще продолжается дурной сон и слова эти он слышит тоже во сне.

На собрании обсуждалось состояние пожарного дела в связи с недавним пожаром в МТС. Многие ораторы говорили не по существу, они хвастливо перечисляли свои заслуги, а вину за все промахи валили на директора. Чаще всего в их речах слышалось слово «я». «Если бы не я, — заявил один, — тут бы давно поселились совы». «Семь лет своей жизни я посвятил МТС!» — вторил ему другой. «Я... я... я...» — звенело в ушах у со-

бравшихся. Халил молчал и только в конце собрания попросил слова. Тыча пальцем в краснолицего мужчину, начальника пожарной охраны, который в своем выступлении расхваливал себя на все лады, он спросил:

— Слушай, где ты совесть потерял?..

Все засмеялись, рассмеялся и сам краснолицый, к которому обращался Халил, лишь директор оставался серьезным. Без тени улыбки он продолжал:

— Ты обвиняешь во всем меня. А ты представь на минуту, что меня нет, что я отдал богу душу. Где же ты сам пропадал, когда пожар занялся? Ладно, пускай и ты помер. Куда же девались твои пожарники? Сам знаешь, у нас много деревянных домов. Довольно одной искры, чтоб они вспыхнули, как сухой хворост. Да загорись они в нерабочее время, когда в мастерских ни души, от МТС остались бы одни головешки! Так или не так? — Он помолчал, ожидая ответа. — Ты что, воды в рот набрал? Совесть-то у тебя где?..

На этот раз ни у кого не было охоты смеяться. Давящая тишина нависла над собранием. Щеки начальника пожарной охраны из красных сделались сизыми. Он долго не находил что ответить, только часто моргал слезящимися глазками. А придя в себя, нагло, с ехидцей заметил:

— С совестью-то в твоей МТС и делать нечего. Ты скажи: разве я до сих пор не оборонял от огня село и МТС?..

Халил обвел испытующим взглядом лица собравшихся и с неожиданной откровенностью признался:

— А ведь вы правы, братцы. Сам я кругом виноватый. Да будь я хорошим директором, я давно отдал бы под суд этого лодыря. Там не погладили бы его по головке. Судили бы по законам военного времени!

Как жалел Халил, что не было на этом собрании его друзей-трактористов! Уж они бы не дали его в обиду. Хоть и сердился он на Эйбата, но разговор с ним окрылил директора: вот какие люди у него в МТС, с ними нечего бояться чьих бы то ни было козней! А на собрании он снова почувствовал себя беспомощным, неспособным отбиться от наскоков своих недругов. Они глумились над ним, смеялись над его простодушием, необразованностью, и он не мог поставить их на место, так как сознавал, что сам-то он не на месте.

Размышляя обо все этом, Халил прошел в свой кабинет и, швырнув на стол толстую книгу в желтой обложке с золотым тиснением, крикнул:

— Шахмар!

Услышав сердитый голос директора, Шахмар, находившийся в соседней комнате, обвел многозначительным взглядом конторских служащих и иронически усмехнулся: начальство-то, мол, не в духе. Еще бы, здорово ему вчера досталось!

Все поняли, что хотел он сказать своей усмешкой, но одобрения не выразили. И дело было вовсе не в том, что сослуживцы, как казалось Шахмару, боялись директорского гнева. Большинство сотрудников МТС сочувствовало Халилу.

— Шахмар! — снова позвал Халил. — Ты что, оглох?

С заносчивой ухмылкой, словно борец, нанесший поражение своему противнику, Шахмар проследовал в директорский кабинет и в пренебрежительной позе остановился перед Халилом.

Халил в это время нетерпеливо крутил ручку громоздкого настенного телефона. Когда наконец телефонистка отозвалась, он попросил:

— Барышня, соедини меня с товарищем Исмаиллы. Да, да, с первым секретарем райкома. Что?.. А где же он?.. Почему не знаешь?.. Ну, ладно, ладно.

Стараясь скрыть огорчение, Халил повесил трубку и, повернувшись к Шахмару, посмотрел ему прямо в глаза. Директор ничуть не напоминал человека, потерпевшего поражение. Показав на книгу, лежащую на столе, он спросил:

— Ты читал эту книгу?

Шахмар покосился на стол и надменно усмехнулся.

— Я же сам тебе ее принес.

— Мало ли, что принес. Я спрашиваю: читал ты ее?

— Читал, ясное дело.

— Та-ак... Чего ж тогда ты плел, будто Мирза Фатали Ахундов вошел в Тегеран вместе с Красной Армией?

— Мирза Фатали?

— Ну да, Мирза Фатали. Кто же еще? Ты сам это говорил. И еще болтал, будто он сочинил «Страшный Тегеран». Бессовестный ты человек! Не знаешь чего, так молчи, а не плети всякие небылицы. Я нынче не спал

всю ночь, вот, одолел, — он ткнул пальцем в книгу, — тут ни словечка нет о «Страшном Тегеране»! И помер он... — Халил раскрыл книгу, нашел подчеркнутую ногтем строчку, — в тысяча восемьсот семьдесят восьмом году.

— Кто, Ахундов?

— Нет, я! — Халил готов был заскрежетать зубами от гнева. — Ты дурачком-то не прикидывайся! Ничего нет подлее лжи.

— Я, значит, подлец? — оскорбился Шахмар. Но самообладание начало ему изменять, самонадеянная усмешка сползла с его губ. А Халил, не отрывая от секретаря сурового взора, продолжал наступать:

— Ты зачем меня обманывал?.. Да брякни я при других все, что ты набрехал, — стыда бы не обобрался! Тебе-то от этого какая корысть? Вот тут черным по белому написано, что Мирза Фатали сочинил шесть комедий и один рассказ. Я грамоте не больно учен, то-другое могу не знать... С меня какой спрос! А ты-то что грамотея из себя корчишь? — Халил хлопнул рукой по книге. — Разуй-ка глаза! Ну, где тут твой «Страшный Тегеран»?

— Спутал я, наверно, — растерянно пробормотал Шахмар.

— Спутал, спутал... — сердито передразнил Халил, — а берешься других поучать! Думал, я на слово тебе поверю? Нет, брат. Вчера я добрый урок получил. Понял, что сам во всем виноват. Слушаю таких вот, как ты...

— Зачем так говоришь, товарищ директор? Ну, ошибся. С кем не бывает. Не вешать же меня из-за этого. С людьми и не такое случается. Идет человек, споткнется, глядь, уж и богу душу отдал.

Халил был доволен, что ему удалось-таки осадить кичившегося своей «образованностью» Шахмара. Не скрывали своего злорадства и конторские работники, которые прислушивались одним ухом к этому разговору.

Но директор не намерен был останавливаться на полпути. Он обрушил на голову бедного секретаря все, что узнал о Мирзе Фатали Ахундове.

— Оказывается, это он сочинил «Гаджи Гара»! Я в театре видел. А ты тут несешь бог знает что: «Страш-

ный Тегеран», Красная Армия... Ты такой же темный, как и я!

Если в начале разговора Шахмар стоял перед директором в нагловато-независимой позе, то теперь у него был такой вид, словно он вот-вот пустится наутек.

— Ну, что ты, ей-богу, привязался ко мне с этим Ахундовым! — произнес он жалобно. — Ты как слепой. Уж если тот ухватится за что-нибудь, так силком не оторвешь.

— А у тебя, видать, нутро горит, будто ты лука наелся. Ишь! Прибежал на запах кебаба, а там осла клеймят.

— Товарищ директор!

— Директор!.. А вчера ты и твои дружки устроили состязание: кто на меня больше грязи выльет.

— Да ведь я...

— А чем ты лучше других? Я вам твержу: давайте возьмемся дружно за дело, поможем фронту. А мои слова как горох об стену. Вот шептаться по углам, лодырей на собраниях выгораживать, на честных людей напраслину возводить это вы мастера! — Халил повернулся к стене, где висела картина, иллюстрирующая знаменитую крыловскую басню. — Глянь-ка!.. Будто с вас срисовано. Вы тоже, как эти лебедь, щука и рак, тянете МТС каждый в свою сторону. А с кого спрос?.. С директора! Все вы у меня на шее сидите. Грамотеи!.. Знаю я, что у вас на уме. Небось ждете не дождетесь, когда я плюну на все и уйду из МТС: мол, черт с вами, делайте что хотите, ломайте все к чертовой бабушке! — Халил угрюмо взглянул на Шахмара. — Ладно. Ступай.

Никогда еще Шахмар не видел директора в таком гневе. Пальцы Халила, державшие папиросу, тряслись, в глазах металось черное пламя.

— Что стоишь как пень? Я сказал: ступай!

Шахмар не двигался с места. Халил усмехнулся:

— Знаю я тебя. Сейчас лебезить начнешь. Заруби на носу: не терплю подхалимства! Это ты над моей могилой елей-то изливай. Покуда я еще жив.

— Ну, что ты распекаешь меня как мальчишку, — снова заныл Шахмар. — Вчера я забился в самый угол, сидел себе да покуривал. За все время ни разу рта не раскрыл!

— Это и плохо. Лжец — подлец, а тихоня, который и «да» и «нет» боится сказать, вдвое подлее. Ясно? Тебе ведь известно, что за гусь наш главный агроном. Наплевать ему на нашу МТС...

— Да он ни сна, ни покоя не знает, днем и ночью работает! Что ты еще от него хочешь?

— Бедняга!.. Два горемыки в МТС: ты да он. — Халил махнул рукой. — Думаешь, я не вижу ничего?

В это время в кабинет уверенной походкой вошел высокий смуглый мужчина в брезентовых сапогах. В уголке пухлых губ дымилась папироса, маленькие, с острой просинью глаза искрились насмешкой — это было их обычное выражение.

— Легок на помине!.. Явился — не запылился! — с неприязнью воскликнул Халил и накинулся на пришедшего: — Слушай, ты будешь работать? Числишься главным агрономом, а проку от тебя с булавочную головку! Ты хоть раз наведался в поле? Проверял, как земля вспахана?

Халил считал главного агронома, Меджида Алиярова, двоюродного брата председателя райисполкома, атаманом окопавшейся в МТС группы интриганов и лодырей. Один вид агронома приводил его в бешенство. Это по вине Алиярова поля, залитые весенним паводком, остались заброшенными. Он отказался проводить пересев, боясь риска, — вдруг случится неурожай? Халил был убежден, что они сумели бы вырастить на этих полях добрый хлопок, но у него не хватило сил убедить в этом других. В районе верили главному агроному, с мнением же Халила считались мало.

Потому-то Халил весь кипел, когда разговаривал с Алияровым.

Шахмар, радуясь, что директор переменил мишень, незаметно, бочком, обошел агронома и проскользнул в соседнюю комнату. Сослуживцы встретили его взглядами, полными откровенной иронии. Желая как-то оправдаться перед ними, Шахмар хмуро буркнул:

— Развоевался наш владыка, только держись!

А Халил все наседал на Алиярова:

— Слыхал, как твой дружок за тебя распинался? Мол, работаешь не покладая рук, себя не жалеешь. Почему же мы этого не видим? Стараться ты, конечно, стараешься. Только не там, где надо...

— Что ты хочешь этим сказать, товарищ Мусаев?! — прервал его оскорбленный агроном.

— А то, что в поле тебя калачом не заманишь. А вот из ресторанов бакинских ты, говорят, не вылазишь. Разве за это тебе МТС деньги платит?

Чтобы осадить расходившееся «начальство», Алияров решил прибегнуть к испытанному приему. Пряча самодовольную усмешку, он небрежно бросил:

— Что ж, товарищ Мусаев... Если я тебе не приглянулся, окажи услугу, освободи меня от работы. Я сегодня же подам заявление.

К великому его изумлению, Халил и бровью не повел, услышав эту угрозу.

— Вот и ладно! — воскликнул он с явным удовольствием. — Все равно от тебя больше вреда, чем пользы. Сделай милость, убирайся на все четыре стороны. На кой черт мне агроном-невидимка!.. Наши сыны воюют, а ты тут в прятки играешь с советской властью...

— Но-но!.. Ты еще не советская власть!

— Вот как?.. А благодаря кому ты институт окончил? Я с бандитами дрался, а ты учился в это время. Нет, любезный... Это я... Такие, как я... Мы и есть советская власть! И видишь, я крепко стою на ногах! Довольно я с тобой цацкался. Пиши заявление!

На Алиярова словно столбняк нашел. Он не ожидал такого поворота событий.

— Н-не понимаю... Что мы с тобой не поделили, товарищ директор? Если у тебя есть какие претензии...

— Почему ты не поехал в колхоз Фиолетова? Я же добром просил...

— А на чем ехать? Дай коня — поеду.

— Что я тебе, конюх? Не сумел коня раздобыть, так шагай пешком.

— До колхоза сорок верст.

— А хоть бы и четыреста. Мне какое дело!

— Вот если б ты уступил мне машину... — вкрадчиво сказал агроном.

— А сам я на чем поеду? На ишаке?.. Мне-то в тысяче мест надо побывать. Шахмар!.. — крикнул он в дверь, которую Шахмар забыл за собой прикрыть, и снова повернулся к агроному. — Надоели мне ваши прихоти. Ишь нашли слугу!.. Нет уж, не будет по-ва-

шему, господа привередники! Я не слуга вам, а пока еще директор МТС. Шахмар!

Шахмар без особой охоты откликнулся на зов директора. Войдя в кабинет, он бросил быстрый взгляд на агронома и, заметив его растерянность, поспешно спрятал за спину дымящуюся папиросу.

— Что прикажешь, товарищ директор?

— Позвони в колхоз Низами. Пусть дадут коня. Скажи, я прошу.

— Сей момент, товарищ директор!

Когда Шахмар ушел, Халил поднял глаза на агронома:

— Что еще у тебя?

— Вроде бы все.

— Тогда скатертью дорога. В этом колхозе такое дело. На одних участках людей не хватает, чтобы собирать хлопок, а на других снимают недозрелый сырец. Поговори с народом. С председателем. Растолкуй им, что к чему. Это хлопок особый, египетский. Ежели собрать его раньше времени, он пойдет вторым сортом. От этого вред и колхозу и государству. Понял?..

Главный агроном чувствовал себя уязвленным. С каким важным видом этот неуч втолковывает ему азбучные истины!.. Но, не желая обострять отношений с директором, он угрюмо сказал:

— Все ясно.

И с опущенной головой вышел из кабинета.

Халил проводил его сумрачным взглядом и вздохнул. На что он надеется, этот пройдоха?.. Ладно. У него поддержка в райисполкоме. Так разве ж Гамид Алияров сам не видит, что его брат никудышный работник!.. Против фактов не попрешь.

Вспомнив, что он так и не дозвонился в райком, Халил снова принялся яростно крутить ручку телефона. Но Исмаиллы в райкоме не было. А как хотелось Халилу излить ему все, что накопилось на душе. Так, мол, и так. Нет больше моего терпения. Или я, или они.

У Халила было несколько свободных минут, и, раскрыв книгу на странице с загнутым углом, он углубился в чтение.

«— Скажи, ради аллаха, Мирза Габиб, что говорят жители Казвина про нового шаха?

— Казвинцы всей душой ненавидят нового шаха и

считают его ничтожным трусом и ленивым бездельником, — ответил Мирза Габиб.

— Клянусь всемогущим аллахом, Мирза Габиб, что простой народ гораздо умнее нас».

Эти слова отвечали собственным мыслям Халила. «Правду сказал Мир Ахур. Народ-то поумней всех умников! Как же простым людям не любить Юсифа Сераджа? Он ведь и сам из народа. А страной правил куда лучше, чем шах Аббас!»

В Серрадже Халил увидел отдаленное сходство с самим собой. Стараясь глубже вникнуть в написанное, он еще раз перечитал эти строки. «Какой мудрый этот Мирза Фатали!.. Будто про меня написал», — подумал он с благоговением и стал читать дальше:

«Хорошо, но ведь Шах-Аббас тогда был нашим повелителем, и его воля была для нас законом. Ну, а теперь, когда нет Шах-Аббаса, что может помешать нам свергнуть с престола и уничтожить этого негодяя, проклятого нечестивца, к тому же верующего, по слухам, в переселение душ? Удалив его с престола, мы смело могли бы посадить на его место достойнейшего из благородной династии Сефевидов. Такому шаху, благодаря его происхождению, все подчинились бы беспрекословно...»

Дойдя до этого места, Халил расстроился. «Вот сукины дети! Скинут беднягу с трона, как пить дать, скинут. Еще бы!.. Ведь он о благе народном радеет. А это им нож острый. Ишь как они под него подкапываются!..» Халил от души сочувствовал Юсифу Серраджу; ему не терпелось узнать, как все обернется...

Но тут в дверях появился Меджид Алияров. Халил с сожалением оторвался от книги и недовольно спросил:

— Ты еще не уехал?

— Сам садись на эту клячу. Шею себе свернуть я еще успею.

Халил поднялся, подошел к открытому окну. Во дворе, тоскливо переступая копытами, стояла тощая, тонконогая лошадь.

— Чем же плоха коняга?

— Спотыкается на каждом шагу! Однажды упала на дороге, в грязи меня вываляла. Я чуть ногу себе не сломал. Благодарю за такое удовольствие...

— А ты крепче держи поводья. Под умелым седоком конь не споткнется. Недавно на этом коне ездил в колхоз Фиолетова товарищ из ЦК. И ничего, вернулся целехонек. На лошадь не жаловался.

— Храбрый, видно, товарищ. Куда мне до него! — огрызнулся агроном. — Мне еще жизнь не надоела.

— А ты не смейся. Товарищ этот и вправду молодчина. За десять дней изъездил вдоль и поперек весь район. Столько дел переделал, сколько нам с тобой и не снилось.

— Я и говорю, где мне за ним угнаться! Он ведь из центра, а я кто? Несчастный провинциал.

— Насмешки строить, это ты мастак. Уж тут за тобой никто не угонится!

Халил был вне себя от бешенства. Он так побледнел, что казалось, порань он сейчас лицо, на коже не выступило бы ни капли крови. Окликнув Шахмара, который стоял подле коня, Халил приказал:

— Скажи председателю колхоза, пусть пришлет самого лучшего коня. Этот не по душе Меджид-беку. Он, видишь ли, боится уронить свою честь...

— Ни на каком коне я не поеду! — не сдержавшись, отрубил агроном. — Какое право имеем мы разъезжать на колхозных конях!

Он резко повернулся и, не оглядываясь, исчез за дверью.

Этого уж Халил не мог стерпеть. Позвав Шахмара, он усадил его за стол и решительно проговорил:

— Бери ручку, пиши. Приказ по Садыллинской МТС. Главного агронома Садыллинской МТС... Написал?.. Ввиду отказа от выполнения служебных обязанностей... Пиши, пиши!.. Отстранить от работы и привлечь к судебной ответственности.

Шахмар отложил ручку в сторону и вытаращил глаза:

— Ну, это ты... того, товарищ директор! Через край хватил. Не знаешь, кто он такой?

— Товарищ Диланов!.. Ты что, глухой? Я сказал — пиши.

Шахмар вновь склонился над листом бумаги. Халил диктовал приказ ровным, уверенным голосом, ни разу не запнувшись. Говоря по правде, он был рад, что все так получилось и он может расстаться с агрономом.

Нет, не чувство мести руководило Халилом. Он презирал людей, которые помнили каждую пустячную обиду и только и ждали случая, чтобы отомстить обидчику. Но если Халил видел, что его недруг наносит ущерб общему делу, он бесстрашно ввязывался в бой, запасаясь, как говорит пословица, саваном.

Сейчас ему представился повод выгнать из МТС бездельника, и он выгнал его. И рука у него не дрогнула, потому что свежи были в памяти вчерашняя поездка по полям, беседы с колхозниками и трактористами, мудрые слова Мирзы Фатали Ахундова. Он знал: народ — за него.

9

Шахмар еще оформлял приказ об увольнении главного агронома, когда в комнате председателя райисполкома Гамида Алиярова зазвонил телефон.

Алияров был дома и, несмотря на позднее время, нежился в постели. Услышав звонок, он протянул руку к телефону, стоявшему на столике возле кровати, и, взяв трубку, откашлявшись, хрипло буркнул:

— Кто это?..

Он уже хотел было бросить трубку, но узнал голос двоюродного брата, Меджида Алиярова, и смягчил тон:

— А-а, это ты. Здорово, братец. Понимаешь, чуть к черту тебя не послал. Замучили звонки, даже дома нет покоя. Ладно, ладно, зачем извиняешься? Мы ведь не чужие. — Алияров взглянул на часы, лежавшие рядом с телефоном. — Все равно пора уже вставать. Заспался я что-то... Что нового, дорогой? Давненько мы не виделись. Забыл ты о нас!

В ответ на этот упрек Меджид язвительно заявил, что теперь у него будет возможность хоть каждый день навещать своего дорогого родственника, так как «господин Мусаев», возомнивший себя большим начальником, снял его, Меджида, с работы.

Председатель райисполкома опять закашлялся, взял из пачки «Казбека» папиросу, несколько раз затянулся и, уняв кашель, поинтересовался:

— Как снял?.. Какое он имел право? Разве ему неизвестны границы его полномочий? Директор МТС

не может самовольно отстранить от работы главного агронома. Это произвол!

— Хорошо тебе говорить, братец. А господин Мусаев, видно, на кого-то опирается...

Агроном звонил брату из конторы и говорил так громко, что последние его слова расслышал Халил, сидевший у себя в кабинете. «Верно говоришь. Опираюсь!.. — подумал он с гордостью и удовлетворением. — Мне есть на кого опереться!» Сунув книгу в ящик стола, он поднялся и, словно не замечая Шахмара, принесшего на подпись готовый приказ, вслух повторил:

— Опираюсь! И всегда буду опираться!

Взяв у секретаря приказ, он четко, размашисто подписался. Потом потянулся к телефонной трубке, но не успел взяться за нее, как раздался резкий звонок. Звонил Гамид Алияров. Даже не поздоровавшись с Халилом, он коротко распорядился:

— Прошу немедленно ко мне!

Повесив трубку, Халил обреченно вздохнул, горько усмехнулся чему-то и вызвал шофера:

— Готовь машину, Салман. Наш повелитель, товарищ Алияров, приказал явиться к нему...

— Мигом домчу!

Не прошло и пяти минут, как «газик» уже несся по направлению к Араксу. От МТС до районного центра было всего два километра, но через Аракс приходилось переправляться на пароме, а на это обычно уходило не меньше получаса.

Воды Аракса по-прежнему отливали ржаво-красным, кирпичным цветом. Но ветер спал, и наступившая после вчерашней непогоды тишина казалась особенно тоскливой.

10

Вот уже пятый год Гамид Алияров занимал высокий пост председателя райисполкома. Он успел привыкнуть к своей должности и чувствовал себя в ней уверенно и вольготно. Правда, в последнее время о нем стали ходить недобрые слухи, но это ничуть не тревожило Алиярова. У него был богатый жизненный опыт, изворотливый ум, и никакая случайность не могла застигнуть его врасплох. Пусть болтают о нем что угодно, на всех

ведь не угодишь. Вон Иисус Христос хотел, чтобы все его любили. А что из этого вышло? Беднягу распяли на кресте! Нет, Алияров врагов не милует. Ну и они в долгу не остаются. Кто строит против него козни, распускает грязные сплетни? Дружки и родичи преступников, осужденных и сосланных. И ему, председателю райисполкома, не трусить — гордиться этим надо!

Так рассуждал наедине с собой Алияров, и эти мысли придавали ему твердости и смелости.

Гамид Алияров родился в одной из глухих деревушек района, которым он теперь руководил. В молодости ему пришлось тянуть батрацкую лямку. Советская власть послала его учиться. Он сумел выделиться среди своих сверстников, вступил в партию, и о нем скоро заговорили, как о талантливом, а главное, политически бдительном работнике. Даже недруги Алиярова признавали за ним организаторские способности. Он перебывал на многих ответственных постах, успешно справляясь с каждым порученным ему делом — такое, во всяком случае, складывалось у всех впечатление. Если его направляли на низовую работу, он не огорчался, не падал духом. «Не должность красит человека, — любил он говорить, — а человек должность!» Его энергия, ловкость, служебное рвение помогали ему и на новом месте в короткое время завоевать авторитет, достаточный для того, чтобы вновь получить достойную должность, а вместе с ней — власть, почет и другие любезные сердцу Алиярова привилегии.

Не раз в высокие инстанции поступали жалобы на Алиярова. Его обвиняли в стяжательстве, в том, что он якобы использует служебное положение в корыстных целях. Но он всегда выходил сухим из воды. При проверке, которой занимались комиссии из центра, ни одно из этих обвинений не подтверждалось.

Поговаривали, к примеру, что Алияров не брезгует взятками. А доказательств не было. Никто и не думал признаваться, что давал взятку председателю райисполкома.

Комиссиям указывали на раскошные ковры в квартире Алиярова, раньше красовавшиеся в других домах. Но бывшие владельцы этих ковров спокойно объясняли: «У нашего народа есть старый добрый обычай — для хороших друзей не жалеть самих дорогих подарков!»

Ходили также слухи, будто Алияров копит золото и бриллианты. Снова приезжали комиссии — проверять эти слухи. В ответ на все расспросы Алияров подносил сухую, жилистую руку к тонкой, как черенок, шее и, смеясь, говорил: «Вас не удивляет, что обладатель таких сокровищ не дорожит собственным здоровьем? О курортах-то я знаю лишь понаслышке...»

Так или иначе, но ему удалось благополучно миновать все подводные камни, и уж никто больше не решался поднимать против него голос. Свяжешься с ним — еще попадешь в клеветники или, того хуже, в «классовые враги». Тогда это слово было в моде, а Алияров слыл специалистом по части приклеивания ярлыков! Он частенько выступал в роли «разоблачителя», стараясь убрать с дороги неугодных ему людей.

11

Позвонив Халилу, Алияров отправился в райисполком. У подъезда его поджидал незнакомый, жалкого вида, человек. Завидев Алиярова, он бросился ему навстречу:

— Товарищ исполком!.. Помоги!.. Одна надежда — на тебя!

— Погоди, — Алияров остановился, выражение его лица было сухое, строгое. — Кто ты такой?

— Ахмед Геюш-оглы. Аробщик колхоза «Революция».

— Что же тебе от меня надо?

— Понимаешь, брата моего... невинную душу... за решетку упрятали. Говорят, с разрешения прокурора...

— Ты что же, не знаешь советских законов? Без санкции прокурора никто не вправе арестовать человека.

— Знаю, все я знаю, да перейдут на меня твои недуги! Только зря он дал эту... санкцию. Ей-богу, зря!

— Вот как?

Благосклонно улыбаясь, Алияров взял Геюш-оглы за руку и провел в свой кабинет. Там он предложил ему сесть, но аробщик, оторопевший от такой внимательности, замотал головой:

— Нет, нет!.. Недостоин я такой чести.

— Садись, и не говори глупостей. Я ведь не бек какой-нибудь, а слуга народа.

«Вот и слушай людей! — подумал Геюш-оглы, преданно глядя на Алиярова. — Болтают, будто он знаться ни с кем не желает. Ай неблагодарные мусульмане!»

Алияров занял место за массивным столом, покрытым синим бархатом, и, все еще улыбаясь, повторил:

— Да садись же, чудак-человек! В ногах, говорят, правды нет. Так, значит, брата у тебя посадили? Ай-ай! Что же это он так оплошал? Голова-то у него есть на плечах? Повидался бы заранее с прокурором, потолковал с ним, как мужчина с мужчиной. Может, все и уладилось бы...

— Да что ты... товарищ исполком, — озадаченно пробормотал Геюш-оглы, — как же он мог...

— Ты, гляжу, не умней братца, — презрительно бросил Алияров.

— Вай!.. Это почему?

— Откуда мне знать почему. Это ты себя спроси. Прохлопал время, а теперь плачешься: товарищ исполком, помоги моему горю! Эк когда спохватился! Где же ты найдешь врача, который согласится лечить покойника?!

На лбу Геюш-оглы выступил холодный пот. Чувствуя себя так, будто на него навалили тяжеленный груз, он расстегнул ворот рубахи.

— Выходит, нельзя его выручить?

— Умеючи все можно...

Геюш-оглы часто замигал, силясь понять, куда клонит председатель райисполкома, и снова с мольбой и надеждой воззрился на Алиярова:

— Товарищ исполком... да перейдут на меня твои недуги! Растолкуй мне, дураку, что делать-то надобно?

— Ну и непонятлив ты, братец, — досадливо сказал Алияров. — Ведь все ясней ясного.

— Ей-богу, я как в лесу.

— Смотри сюда, — Алияров растопырил пальцы на обеих руках и, словно экзаменуя нерадивого первоклассника, спросил: — Сколько это будет?

— Ну... десять.

— Так. Прибавь еще столько же. Какая получается сумма?

— Двадцать...

— Теперь дошло?

У Геюш-оглы глаза полезли на лоб. Еще сомневаясь в том, что правильно понял председателя райисполкома, он нерешительно спросил:

— А с кем мне... поговорить?

— Как это с кем? С прокурором.

— Вай!.. Как это можно!.. — Геюш-оглы, как ужаленный, подскочил на стуле. — Да я помру от страха!

Алияров громко рассмеялся, и в смехе его угадывалось поощрение:

— Ха-ха!.. Ты что ж думаешь, прокурор — святой?

— Нет, дорогой. Он и меня к брату спровадит.

— Ладно. Боишься к нему идти, я сам с ним договорюсь. Согласен?

Геюш-оглы тупо уставился на Алиярова. Он никак не мог уразуметь, шутит председатель райисполкома или говорит серьезно. А тот продолжал:

— Я попрошу его зайти ко мне. Что мне остается делать, если вы задним умом крепки. Являетесь за помощью тогда, когда уж и помочь невозможно. Ну, да уж ладно. Кому, как не мне, заботиться о простых крестьянах! — Он пожал плечами и чуть склонил набок голову. — Не обессудь, братец. Другого выхода у нас нет. Звоню прокурору. А ты не мешкай, приготовь все, что нужно.

— Да хранит тебя аллах, товарищ исполком! — проговорил Геюш-оглы, медленно пятясь к двери. — Дай хоть полчаса сроку. Уж что-нибудь придумаю. Ведь брат он мне, ничего для него не пожалею! Сам разорюсь, а его выручу.

Алияров брезгливо усмехнулся. Вот осел!.. И его, видно, ослом считает. Чтобы не выдать своих чувств, он отвернулся, будто собираясь звонить по телефону...

Геюш-оглы скрылся за дверью. Алияров только того и ждал. Он принял обычную позу и властно нажал перламутровую кнопку звонка. Тотчас на пороге появилась секретарша, высокая, статная.

— Слушаю, товарищ Алияров.

Она, видно, только что подкрасила губы. Губы у нее были тонкие, а зубы частые, мелкие, они влажно поблескивали во рту.

— Будь добра, Дильбер, погляди, нет ли чего в буфете, — попросил Алияров, окинув секретаршу оцени-

вающим взглядом, — дома хоть шаром покати, ни крошки нет. Колбасы не бери. Ну, там стаканчик чаю, — он проглотил голодную слюну, — немного черного хлеба и сыра.

— В буфете есть гусиные яйца. Принести?

— Не надо. Почему я должен питаться лучше других? Только поторопись, а то скоро народ повалит, вздохнуть не дадут.

— Хорошо.

Секретарша исчезла так же быстро, как и появилась. Алияров прикусил губу. «Ишь как вырядилась! Люди бог весть что могут подумать. Надо отделаться от нее под благовидным предлогом...»

Раздумья Алиярова прервал телефонный звонок. Алияров взял трубку, небрежно проговорил:

— Алияров слушает, — и вдруг тело его напряглось, словно он приготовился застыть по стойке «смирно». — Да... Это я, товарищ Исмаиллы.

После первых же слов секретаря райкома лицо Алиярова побледнело, губы задергались, он попытался затянуться папиросой, но она не горела, зажечь же спичку он не решался.

— Товарищ Исмаиллы!.. — Он чуть не задыхался. — Устал я ему помогать. Ну не на месте человек, что тут поделаешь. Мало того, что он груб и малограмотен, он еще кадры разгоняет. А как же, есть факты. МТС не вылезает из прорыва. Что? Верно. Верно, говорю! Согласен с вами на сто пятьдесят процентов. Да разве я против того, чтобы помочь? Только...

Алияров умолк и лишь кивал головой, как будто собеседник мог это видеть. Положив трубку, он вытер вспотевший лоб и, закурив, сделал несколько быстрых, жадных затяжек.

Разговор с секретарем райкома оставил в нем чувство досады и раздражения. «И что он нашел в Мусаеве! Все равно из этого мужлана толку не будет. Как же, стану я ему помогать! Других забот мало!..»

Вдруг, вспомнив о чем-то, он стукнул себя кулаком по лбу и снова потянулся к телефону. Когда его соединили с районным прокурором, он сказал:

— Дорогой, не мог бы ты зайти на минутку? Дело есть. Да, любопытный случай! Уверен, ты извлечешь из него пользу.

Секретарша принесла на тарелке чай и бутерброды, поставила тарелку на стол и, заученно-кокетливо улыбнувшись, удалилась. Алияров проводил ее плотоядным взглядом: он даже забыл, на чем прервался его разговор с прокурором, и только повторял, наподобие испорченной пластинки:

— Да, да... Я жду... Я жду...

Бросив трубку, он злобно подумал: «Гнать, гнать ее надо, и как можно скорее, не то не оберешься беды!»

Он принялся за бутерброд, но кусок застревал в горле. А все эта дрянь, гурия на секретарском окладе!.. Это из-за нее у него пропал аппетит, во рту стало сухо и горько. Она так и стояла перед его глазами — тонкая, стройная, в нарядном шелковом платье, которое плотно облегало тело, волнующе выделяя каждый изгиб. Щеки Алиярова покрылись красными пятнами, он чувствовал легкую дрожь, а сердце билось тяжко и жарко.

Сколько раз давал он себе слово уволить искусительницу, и не в силах был это сделать. У Алиярова перехватывало дыхание, когда он видел красивую женщину, и он знал за собой эту слабость, но винил не себя, а женщин. Это они заставляли его поддаваться соблазну, они и наряжались только затем, чтобы смущать его покой!

В душе Алиярова за последние годы, не смолкая, спорили два голоса. «Жизнь хороша, коротка, бери от нее все, что можно! — проникновенно нашептывал первый голос, сладкий и вкрадчивый. — Все в твоих руках. Упустишь минуту радости — вновь не поймаешь, минуты уходят, чтоб не возвращаться. Жизнь уходит!.. Не будь безумцем, лови мгновение — быструю птицу...» Другой же голос, голос трезвого разума, властно предостерегал: «Души в себе грешные желания! Или хочешь погубить себя из-за минутного наслаждения? Вспомни, из скольких битв ты вышел победителем. Ты устоял перед самыми опасными наветами. А поддашься женщине, вмиг потеряешь все, что имеешь».

Слушая первый голос, Алияров мечтательно улыбался. Он забывал в эти минуты о делах, об усталости, обо всем, что его окружало. Сладостная истома охватывала все его существо...

Второй голос пользовался у него куда меньшей бла-

госклонностью. Алияров не любил его советов и наставлений, однако терпеливо их выслушивал и исполнял.

Секретарша, конечно, догадывалась о тайных желаниях своего начальника: она обладала тонким чутьем, да и недвусмысленные взгляды, которые бросал на нее Алияров, красноречиво говорили о его чувствах. Но сам он не вызывал в ней ничего, кроме брезгливости. Его серые, глубоко запавшие щеки, тощая, жилистая шея, жесткие как щетина волосы — все это никак не вязалось с ее представлением о мужской красоте. Особенно противны были его большие овечьи глаза, вдруг вспыхивавшие жадным блеском. «Блудливый пес! — думала она, встречаясь с ним взглядом. — Ишь зарится на чужую яичницу!..» Но она старалась ничем не выдать себя и даже от сослуживцев скрывала истинное свое отношение к Алиярову. Не дай бог, заметят что-нибудь, передадут этому деспоту, уж тогда не миновать беды!.. Она знала, как мстителен Алияров, и боялась, как бы за ее неосторожность не пришлось расплачиваться мужу, работавшему в одной из районных организаций.

Правда, иным мужчинам она явно симпатизировала. И когда через приемную, приветливо кивнув Дильбер, прошел вызванный Алияровым районный прокурор, она ответила ему благожелательной улыбкой. Молодость прокурора, его открытое лицо, прямой взгляд, даже манера одеваться, — а одевался он, подобно некоторым школьным учителям, просто, но с какой-то тщательной аккуратностью, — все было по душе Дильбер. Она считала прокурора самым порядочным из всех районных работников.

На первый взгляд благоволил к прокурору и Алияров. Он часто заявлял с присущей ему высокопарностью: «Пока на страже наших законов стоят такие зоркие работники, как товарищ Керимли, — советскому государственному организму не грозят никакие недуги!» Но Дильбер подозревала, что в глубине души Алияров недолюбливал Керимли. И в этом не было ничего удивительного. Алияров не мог не понимать, что, попадись он в руки этому законнику, и Керимли его не пощадит, как не щадил он никого, кто хоть в чем-нибудь провинился перед народом. Председатель райисполкома и виду не подавал, что побаивается «стража закона», но Дильбер,

присутствуя на совещаниях, где выступал Керимли, не раз замечала, как Алияров вздрагивал, услышав какой-нибудь колкий намек прокурора.

Войдя к Алиярову, прокурор поздоровался, положил на подоконник папку со следственными материалами, снял кепку, пригладил вьющиеся волосы, разделенные справа аккуратным пробором, и сел на стул, радушно предложенный хозяином.

Алияров повел речь издалека:

— Как думаешь, неплохо было бы к празднику украсить наш город? Уж больно вид у него неприглядный. Улицы пыльные, грязные. В общем, похвастаться нечем. Мы так увлекаемся сельскохозяйственными делами, севом да уборкой, что забываем о городском благоустройстве.

Прокурор догадывался, что вся эта тирада служит лишь предисловием к чему-то более важному, и потому, легким кивком головы выразив согласие со словами председателя райисполкома, стал терпеливо ждать, когда же наконец Алияров заговорит о том, ради чего, собственно, вызвал прокурора. Алияров же продолжал жаловаться:

— Городское хозяйство в упадке. А что я один могу сделать? Работники у меня никудышные; война их, что ли, испортила? На все у них отговорки: того нет, другого нет.

Прокурор поднял голову, посмотрел в глаза Алиярову:

— Можно ли их винить? Сейчас ведь и правда во всем нехватка.

— Э, было бы желание!.. Знаешь поговорку: если чабан захочет...

— Знаю. То приготовит сыр из молока козла.

— Вот, вот! Почему же эти типы не умеют добыть сыр?

— Дело, видимо, в том, что у козла нет молока! — без тени улыбки проговорил прокурор.

Алияров насторожился:

— Что ты хочешь этим сказать?

— А то, что напрасно вы валите с больной головы на здоровую. Вы вот жалуетесь, что вы — один. А кто виноват? Значит, плохо подбираете людей.

— Гм... возможно.

— Не «возможно», а именно так.

— По-твоему, выходит, все хороши, кроме меня.

— Ну, зачем так ставить вопрос...

— А ты не смущайся. Режь правду-матку. Ведь это, наверно, плод долгих твоих размышлений!..

— Я и не смущаюсь. Повторяю, большая доля вины лежит на вас.

— Что ж, спасибо на добром слове.

— Не за что.

Прокурор взглянул через плечо Алиярова в окно, за которым голубело чистое осеннее небо. А председатель райисполкома, задетый словами прокурора, нервно произнес:

— Ладно, признаю свою вину. Но разве дело только во мне? Тебе по долгу службы со всякими людьми встречаться доводится. Не видишь, что ли, что какая-то гниль в них завелась. Отчего бы это?

Не отрывая взгляда от окна, прокурор неохотно ответил:

— Большинство из тех, кого приходится привлекать к судебной ответственности, — взяточники. Как раз сегодня я изучал одно такое дело. Поверите ли, за последние два года обвиняемый проглотил чуть не весь мир!..

— А я что говорю? — как-то излишне возбужденно подхватил Алияров. — Ты скажи, что толкает людей на это? Нужда? От нужды столько не хапнешь! В чем же корень зла? Почему оно распространяется, как чума?

«Молчал бы уж лучше! — с раздражением подумал прокурор. — Ходят слухи, что у самого рыльце в пушку». Когда он волновался, то не мог усидеть на месте. Он поднялся и прошелся по комнате. Алияров пристально поглядел на него и твердо сказал:

— Не давай пощады этим мерзавцам! — Чтобы придать своим словам большую силу и убедительность, он резко взмахнул рукой. — Надо судить их открытым судом. Пусть все видят, что ни одно преступление не остается у нас безнаказанным!

Прокурор остановился перед Алияровым, их напряженные взгляды встретились, и ни один не отвел глаз.

— Что ты думаешь на этот счет? — спросил Алияров.

— На этот раз я признаю свою вину.

— Это как надо понимать?

— Если я до сих пор не обнаружил причины недуга,

корень зла, как вы говорите, то мне, кроме как на себя, пенять не на кого.

— Ты-то при чем? Никто не сомневается в твоем усердии.

— Видимо, я недостаточно ясно выразил свою мысль. — Прокурор снова заходил по комнате. — Видите ли... Болезнь коренится не в самом больном. Надо искать начало клубка.

— Вот уж теперь я действительно ничего не понимаю.

— Мы привыкли утверждать, — продолжал прокурор, — что взяточничество и другие так называемые «родимые пятна» достались нам в наследство от прошлого.

— А ты с этим не согласен?

— Согласен-то согласен... Но это слишком общие рассуждения. А я, как прокурор, обязан докопаться до истинной причины данного явления. Возможно, какая-то конкретная личность поощряет и даже подстрекает мелких жуликов и взяточников, расплодившихся у нас в районе. И грош мне цена, если я не узнаю, под чьим крылышком они пригрелись, какие обстоятельства способствуют распространению заразы!

Алияров недобро прищурился.

— Не нравится мне, дорогой, твоя философия. Уж не хочешь ли ты сказать, что само наше общество — рассадник болезни? Это поклеп на нашу систему!

— Да вовсе не так! — вскричал прокурор. — Если в какой-нибудь местности есть болото, это еще не значит, что вся местность болотистая. Но вред-то от болота большой. Там раздолье комарам, и они разносят малярию по всей округе. Как мы с этим боремся? Осушаем болота, уничтожаем очаги заразы. Вот и у нас в районе завелось такое болотце с опасными бациллоносителями. И надо его обнаружить и ликвидировать!

Как ни старался Алияров сохранить хладнокровие, но руки у него дрожали, когда он, не докурив одной папиросы, попытался зажечь от нее другую. Он тоже встал с места и, тяжело дыша, сказал:

— Вот за этим-то ты мне и понадобился. Сегодня один глупый мужик предложил мне взятку. Мне, старому коммунисту, народному избраннику! Ты скажи, где он набрался такой наглости? Кто его спровоцировал? Ведь это же явная попытка подорвать авторитет совет-

ской власти! Очень тебя прошу, посиди у меня, подожди, пока он вернется с обещанными деньгами. И проучи его как следует. Ты же прокурор! Будь моя воля, я расстрелял бы мерзавца!

В это время дверь тихо отворилась, и в кабинет вошел Ахмед Геюш-оглы. Поймав устремленные на него взгляды, он попятился и, заикаясь, растерянно пробормотал:

— То... товарищ исполком... Я попозже зайду...

Но на лице Алиярова уже играла ласковая улыбка:

— Куда же ты? Входи, не бойся. Прокурор свой человек. — Он подошел к аробщику, взял его за руку и, подтащив к столу, чуть не силой усадил на стул. — Ну, чего испугался?

Геюш-оглы, видимо, почуял недоброе. Очень уж сурово, даже мрачно смотрел на него прокурор. Ужас охватил беднягу. Он сидел будто на иголках и вдруг вскочил с места и снова метнулся к двери...

— Я после, товарищ исполком...

— Ты что, не слышал? — прикрикнул на него Алияров. — Я же сказал, прокурора нечего бояться.

Но аробщик упрямо твердил:

— Я после... Когда посвободней будешь...

Вспомнив про сверток, зажатый в потной руке, Геюш-оглы поспешно спрятал его за спину. От Алиярова не укрылось это движение, он властно потребовал:

— Что ты там прячешь? Давай сюда. Давай, давай, прокурор в курсе. Скажи мне спасибо, я все уладил.

Прокурор, желая, видимо, показать, что одобряет хитрый ход Алиярова, чуть заметно улыбнулся. Эта улыбка придала аробщику храбрости. Держа перед собой сверток, словно поднос с дарами, он с гордым, торжественным видом шагнул вперед:

— Вот... Пожалуйста...

Пока Алияров раздумывал, каким путем удалось аробщику раздобыть такую большую сумму, прокурор принял от Геюш-оглы сверток. Сверля беднягу острым, пронизывающим взглядом, он строго спросил:

— Мне даешь или Алиярову?

К нему вернулось прежнее мрачное выражение, улыбки как не бывало. Только сейчас Геюш-оглы понял, какую допустил оплошность. Но было уже поздно.

Прокурор, с каменным лицом, передал сверток Алиярову, и тот, пощупав деньги, осведомился:

— Сколько тут?

— Два... двадцать!

— А не врешь? Я ведь не буду проверять. Признайся честно, не прикарманил малую толику?

— Товарищ исполком! Да что ты, ей-богу... Клянусь аллахом!

— Слышишь, прокурор? Он поклялся. Значит, не врет, в свертке действительно двадцать тысяч.

Геюш-оглы за это мгновение успел побывать на том свете и вернуться на грешную землю, но все еще никак не мог взять в толк, чего добивается «товарищ исполком» своими вопросами. А тот продолжал с прежней придирчивостью:

— Ты попросил полчаса, чтобы достать денег? Так?

— Ну... так.

— Как же ты умудрился раздобыть столько за какие-то полчаса? А?..

Геюш-оглы почувствовал, что снова отправляется в ад.

— Я тебя спрашиваю, Геюш-оглы!

— Вот... достал...

— Я и сам вижу, что достал, иначе у меня в руках не было бы этого свертка. А где достал? У кого?

— Смилуйся, товарищ исполком!..

— Не скажешь — мы не возьмем этих денег. И брат твой сгниет в тюрьме.

Ох, какой долгой, какой головокружительной была дорога на тот свет! Геюш-оглы даже зажмурился от страха.

— Ну?.. Мы ждем! — донесся до него голос Алиярова.

Геюш-оглы открыл глаза. Алияров развернул ярко-красную тряпицу, в которую были запеленаты деньги, усмехнувшись, поглядел на новенькие сторублевки. Аробщик обрадовался: вот сейчас «исполком» пересчитает деньги и убедится, что он, Геюш-оглы, честный человек, умеющий держать слово. И страшный сон окончится...

Но Алияров не притронулся к деньгам. Кивнув на Керимли, он требовательно произнес:

— Расскажи-ка прокурору, в чем провинился твой брат.

— В колхозе пять тонн зерна пропало. Так все свалили на брата.

— А он не виноват?

— Ясно, не виноват.

— Тогда зачем же ты даешь взятку? — вмешался прокурор.

— А что делать? Брата-то... лет на пятнадцать закатают, не меньше. Это уж как пить дать.

— Как же это «закатают», если он не виноват?

— Да я слыхал...

Но Алияров не дал аробщику договорить. Он повернулся к прокурору и, пылая гневом, тыча пальцем в преступника, обличающе воскликнул:

— Вот о таких негодяях я тебе и говорил! Надо дать им такой урок, чтоб на всю жизнь запомнился! Арестуй этого мерзавца, пусть держит ответ перед народом.

Геюш-оглы показалось, что земля разверзлась у него под ногами. Он вытаращил глаза, судорожно глотнул воздух, как рыба, выброшенная на песок, и вдруг всем телом налег на стол, пытаясь дотянуться до злополучного свертка.

— Врете вы! Это не взятка! — кричал он в каком-то беспамятстве. — Что хотите со мной делайте, а брат не виноват!.. Не виноват!

Всего несколько минут назад он выглядел жалким и беспомощным, но отчаяние превратило его в тигра, он готов был растерзать и прокурора и Алиярова, только бы заполучить назад свои деньги. Алиярову, однако, удалось его опередить, он быстрым движением сбросил сверток в открытый ящик стола и для вящей безопасности схватился за тяжелое мраморное пресс-папье.

— Руки прочь, подлец! Не твои это деньги — колхозные! Ты еще за все ответишь перед судом!

Прокурор переводил недоумевающий взгляд с одного на другого; на миг ему даже почудилось, будто все, что он видит, происходит во сне. Но, как бы там ни было, он теперь почти не сомневался, что все разговоры о председателе райисполкома — подлый вымысел. Мало у него, что ли, завистников? Вот и клевещут со зла... «Да, вот оно, главное зло — клевета, сплетня. Что ж, это мне наука. Нельзя делать выводы, не проверив лично все слухи и факты».

У Алиярова был вид смертельно уставшего человека. Он тяжело перевел дух и, закурив, обратился к прокурору:

— Слово за тобой, товарищ Керимли.

Прокурор взял трубку и попросил кого-то незамедлительно явиться в райисполком.

— Я в кабинете товарища Алиярова. Да, да. Жду.

Закончив разговор, он повернулся к Алиярову.

— Глаз не сомкну, пока не расправлюсь со всей этой нечистью!

Он с гневным презрением взглянул на Геюш-оглы. А тот, схватившись руками за голову, громко, истерично причитал:

— Братец, братец, несчастный я человек! — Он вдруг рванулся к Алиярову. — Это ты меня запутал! Верни деньги!

— Я уже сказал, — терпеливо и сдержанно, поучающим тоном произнес Алияров и нажал кнопку звонка, — деньги эти и не твои, и не мои. Их возвратят по принадлежности. Так ведь, товарищ прокурор?

Геюш-оглы вдруг сник, у него задрожали губы:

— Нет у вас такого права. Я их у людей одолжил... Еле достал... Не имеете права!..

Ему не дали договорить. В дверях появилась секретарша.

— Дильбер! — приказал Алияров. — Вызови милиционера. Пусть уведет этого типа.

Керимли остановил его жестом руки:

— Не надо, я уже вызвал.

12

Дождавшись милиционера и отправив с ним Геюш-оглы, Керимли ушел. Алияров довольно потер руки и беззвучно рассмеялся: ловко все было разыграно, как по нотам! Теперь прокурор о нем самого наилучшего мнения!..

Алияров в эти минуты был уверен в себе, как никогда. Он сумеет наконец положить конец кривотолкам! Даже Тарлан Исмаиллы, который, судя по некоторым его намекам, подозревал председателя райисполкома в не-

благовидных поступках, вынужден будет признаться, что ошибался. Не худо было бы, если бы прокурор по всему району растрезвонил о том, как Алияров дал достойный отпор взяточнику. Тогда секретарь райкома не от него, Алиярова, а от других услышал бы о его благородном поведении.

Алиярову не раз приходилось сталкиваться с партийными работниками, теоретически «подкованными», но в то же время удивительно простодушными. К числу таких работников он относил и Тарлана Исмаиллы. Своей честностью, простотой, справедливостью новый секретарь райкома снискал в народе добрую славу, но, по мнению Алиярова, был слишком уж бесхитростным и наивным. Исмаиллы любил повторять, что по натуре своей человек добр и благороден. «В самых темных душах, — говорил он, — есть светлые уголки».

Вот эти-то убеждения Тарлана и являлись, по мнению Алиярова, наиболее уязвимым его местом. Алияров считал, что партийному работнику, мыслящему таким образом, придется рано или поздно, ввиду полной политической слепоты, покинуть поле общественной деятельности. Зорок лишь тот политический руководитель, который сомневается даже в лучшем друге.

Так думал Алияров, сидя за своим столом и с удовольствием попыхивая папиросой. Вдруг он спохватился: где ж это застрял Халил Мусаев? Ведь он велел директору МТС незамедлительно прибыть в райисполком. Этот невежда еще поплатится за свое самоуправство. Ишь что выкинул — решил уволить Меджида, родственника председателя райисполкома!.. «Погоди у меня! — мысленно пригрозил Алияров. — Плохо ты меня, братец, знаешь. Уж если я над прокурором одержал верх, то тебя-то подавно положу на лопатки!..»

13

Халил задержался на переправе. Пришлось ждать, пока паром не перевезет на ту сторону груженные хлопком арбы. В город он приехал с большим запозданием, но не слишком этим огорчился. В дороге он многое успел передумать и решил не идти к Алиярову. Что голову-

то под топор подставлять? Кроме нахлобучки, ничего его там не ждет. А руганью он сыт по горло!.. Нет, с этим надо кончать.

Халил велел Салману остановиться у здания райкома, вышел из машины и поднялся по каменным ступеням на второй этаж, где находился кабинет Тарлана Исмаиллы.

14

Новый секретарь райкома, Тарлан Исмаиллы, совсем недавно вернулся с фронта.

На фронт он ушел в первые дни войны. Его назначили комиссаром полка. Три года сражался Тарлан с фашистами. Он пережил тяжкую пору отступления, видел, как самоотверженно бились, как редели в ожесточенных боях наши войска... В волосах его проступила ранняя седина...

А вот быть свидетелем славных побед ему уже не довелось. Когда Советская Армия перешла по всему фронту в решительное наступление, Тарлан был тяжело ранен.

Была у Тарлана заветная цель. Он мечтал, как и до войны, трудиться на светлой ниве народного просвещения.

С желанием его не посчитались. Направили в свой район на партийную работу.

В районе его встретили радостно; лишь Алияров не мог скрыть холодной неприязни. Друзей Тарлана это не удивило. Алияров, не ладивший с прежним секретарем, все сделал, чтобы выжить его из района, и надеялся сам занять его место. Возвращение Тарлана помешало осуществлению тайных планов председателя райисполкома. Так, во всяком случае, объяснял причину его неприязни второй секретарь райкома, бывший однокурсник Тарлана.

У Тарлана, однако, не было оснований враждовать с Алияровым. Не для того доверили ему высокий пост, чтобы он сводил счеты с завистниками. Даже после того, как он ознакомился с положением в районе и дошли до него слухи о стяжательстве Алиярова, якобы окружившего себя своими людьми, бессовестными жуликами и

подхалимами, Тарлан не стал спешить с выводами. Не в его правилах было верить людской молве, с маху решать чужие судьбы. Фронт научил его дорожить каждым человеком, сделал еще более чутким, терпеливым, внимательным. Ему хотелось прежде самому разобраться в том, что представляет собой Алияров, понаблюдать за его действиями.

Когда Тарлана избрали секретарем райкома, он вместе со своей женой, Сарией, поселился в районном центре. Их сын, Марат, готовившийся к защите диссертации, жил в Баку. Он не забывал своих родителей. И каждый раз, когда сын навещал отчий дом, Тарлан, глядя на него, с особой остротой чувствовал, что сам он стареет. Но это не очень огорчало его.

— Пусть моя жизнь близка к закату, зато какого сына я вырастил! Он будет достойным моим наследником.

Судьба сына была главной темой разговоров Тарлана и Сарии. Вот и сегодня утром, за чаем, Тарлан завел речь о Марате.

— Ночью я прочел его диссертацию. И знаешь, женушка, если я раньше все-таки сомневался в призвании сына, то теперь твердо уверен: он на верном пути! Я бы посоветовал ему съездить на несколько месяцев в Москву, поработать под руководством опытных литературоведов.

— Ты уж не внушай ему этого, — просительно сказала Сария, — я и так редко его вижу. Уедет в Москву, с ума сойду от тоски.

Тарлан подошел к жене, обнял ее за плечи.

— Марат ведь не только наш с тобой. Мы вырастили его, чтобы он служил народу, и я верю, что он нас не посрамит!

Губы Сарии тронула слабая улыбка.

— Разве я что говорю? Я не меньше тебя радуюсь его успехам.

— Почему же ты тогда против его поездки в Москву? Пусть едет. Поучиться у умных людей никогда не вредно. Он покажет свою работу видным ученым, послушает, что они скажут, проверит свои выводы...

— Ты прав, дорогой. Но сколько уже лет он живет

вдали от семьи! Когда же я нагляжусь на него вволю! Ведь я мать...

— Потерпи, жена. Потерпи для его же блага.

Сария опустила голову, брови ее печально дрогнули. Тарлан ласково погладил жену по плечу и, смеясь, пообещал:

— Вот поеду в Баку, возьму тебя с собой. Месяца два поживешь с сыном, любуйся им на здоровье!..

Он подсел к столу, торопливо допил остывший чай, пробежал глазами свежие номера газет и, взглянув на часы, поднялся.

— Передай своему директору, — сказал он Сарии, — пусть поможет садыллинцам. Ну, пошлите туда двух трактористов, которые уже управились со вспашкой. Скажи, я на этом настаиваю. Не забудешь?

Сария работала главным агрономом в Саатлинской МТС, ее назначили на эту должность, когда муж был еще на фронте.

В ответ на просьбу Тарлана она недовольно поморщилась.

— Вспашку мы завершим не раньше, чем послезавтра. Да и не дело это, приучать людей к иждивенчеству. Халил справится и без нас.

— Пойми, его парней лихорадка замучила. Какие они работники! Не подсобить им, так МТС выполнит план, ну самое большее, процентов на семьдесят. И мешкать нельзя, видишь, какая погода! Не сегодня-завтра опять дожди зарядят. — Тарлан собрал свои бумаги, завернул их, за неимением портфеля, в газету и полушутя, полусерьезно скомандовал: — В общем, передай ему мой приказ. И точка. Об исполнении доложить. Ясно?

Твердыми, четкими шагами, от которых заскрипел старый дощатый пол, Тарлан направился к двери.

15

Когда в кабинет к нему вошел Халил, Тарлан был занят чтением телеграмм — из ЦК, из Совнаркома. Почти в каждой содержался упрек: «Не выправите положение со сбором хлопка — будете отвечать перед партией».

Увидев, как подавлен Халил, Тарлан забыл о соб-

ственных неприятностях. Он встретил посетителя пословицей, распространившейся в последнее время в деревне:

— Что с тобой, дорогой товарищ? Ты мрачен, как колхозник, у которого пропал теленок. Садись, рассказывай.

— Эка беда — теленок! Мое горе погорше...

— Ну, у тебя, видно, целый корабль потонул! — пошутил Тарлан, но, всмотревшись в лицо Халила, переменил тон. — Что слышно о Фирудине? Пишет?

— Позавчера письмо получил. Жив-здоров.

— А как здоровье Саяд-баджи? Я, когда был у вас на прошлой неделе, все приглядывался к ней. Она места себе не находит. Да что удивляться? Все матери одинаковы.

— Уж эти мне бабьи слезы! Всегда у нее глаза на мокром месте. Утром встает — ревет, спать ложится — ревет. Как будто только ее сын на фронте...

— Ты не обижай ее. Старайся подбодрить, — посоветовал Тарлан, вспомнив утренний разговор с женой. — Наше-то чадо почти рядом, в Баку. И то жена извелась.

Тарлан, впрочем, понимал, что совсем другое гнетет Халила. Самое большое горе для него — отставание МТС. Но у Тарлана и в мыслях не было винить в этом Халила, хотя тому казалось, что секретарь райкома лишь из вежливости интересуется его семейными делами, а сам только и ждет момента, чтобы напомнить ему о неполадках в МТС и осыпать мягкими, ранящими в самое сердце упреками.

И Тарлан наконец сказал:

— Ближе к делу, дорогой. Говори, чем я могу тебе помочь?

Ко всему приготовился Халил, только не к такому вопросу. Его серые большие глаза чуть расширились от удивления. А Тарлан настойчиво повторил:

— Говори, я слушаю.

Халил тяжело вздохнул.

— Надумал я, товарищ райком, обратно в бригаду податься. Уж не откажи в поддержке. Право слово, будь я в бригаде, так мы бы давно со вспашкой управились. А то... честят меня все на чем свет стоит.

— Кто же тебя честит?

— А кто первый проснется, тот и ругает.

— А все-таки?

— Я, товарищ райком, в жизни ни на кого не жаловался. За дело ругают. Ну, какой из меня директор? Курам на смех! Не гожусь я для такой должности.

— Кто же, по твоему, годится?

— Тут надобен человек грамотный. А я кто? Пешка, — Халил уставился в пол. — Стыдно людям в глаза смотреть. Перед детьми родными и то зазорно. Веришь ли, кусок хлеба в горло не лезет. Сколько ж мне еще краснеть перед советской властью? Позволь сесть на трактор, Тарлан-муаллим! Слово даю, не ударю в грязь лицом.

Голос Халила дрогнул. Больше всего он боялся, как бы Тарлан не счел его малодушным: мол, спасовал перед трудностями, решил сложить с себя всякую ответственность. А это неправда!.. Работая трактористом, он вернул бы себе доброе имя и с новыми силами ринулся бы в драку со всей этой шакальей сворой, засевшей в МТС. Это он сейчас пикнуть не смеет: сам-то хорош, не может справиться с делом, которое ему поручили. А почему поручили? Да потому, что заранее знали: провалится он, с треском провалится! И рано или поздно выгонят его в шею из МТС, и все, кто имел против него зуб, будут торжествующе потирать руки: достукался, голубчик? Узнал теперь, почем фунт лиха? Поделом тебе, крикуну!

Вот ведь как все ловко закручено... Нет, надо самому убираться подобру-поздорову. Лишь тогда он вздохнет спокойно. Тогда и руки у него будут развязаны. Какие только слова найти, чтобы Тарлан это понял?

А Тарлан видел, что все слова Халила идут из самой глубины души. Он сейчас в панике, но это человек честный и искренний, с ним тоже можно говорить прямо и откровенно.

И Тарлан сказал:

— Значит, хочешь вернуться в бригаду?

— Я ведь для пользы дела, товарищ райком! Не след партию-то обманывать. Да и перед тобой не желаю кривить душой. Что греха таить, кишка у меня тонка МТС командовать...

— Выходит, те, кто выдвинул тебя на этот пост, ошиблись?

Халил махнул рукой.

— Какая там ошибка! Знали, что делали. Мыслишка у них была: на весь район меня опозорить.

— И для этого тебя повысили в должности? Как-то не вяжется одно с другим.

— Твоя воля — верить или не верить. Только так оно все и есть.

— Кто же тебя выдвинул?

— Прежний райком. И райисполком. Решили в жертву принести, как ахундовского Юсиф-шаха. Свалили на меня чужие грехи, чтоб я и головы-то не мог поднять...

Тарлан задумался, глядя в окно, лоб его прорезали глубокие морщины. Потом он внимательно посмотрел на Халила и медленно проговорил:

— Скажи-ка, как называют людей, бросивших оружие и удравших с поля боя?

В глазах Халила мелькнуло смятение: вопрос Тарлана застал его врасплох.

— Так как же их называют?

— Дезертирами, — с трудом выдавил Халил.

— И какое их ждет наказание?

— Расстрел.

— А ты, значит, тоже задумал дезертировать?

Халил проглотил застрявший в горле комок.

— Товарищ райком!.. — сказал он хрипло. — Уж ты-то меня не добивай. Какое же это дезертирство? Мне, темному мужику, сподручней быть рядовым бойцом. Потому я и прошусь в бригаду.

— Вот и видно, что ты не был на фронте, — спокойно произнес Тарлан. — Там ведь и так случается, что командира убивают и его заменяет простой солдат. Это святая его обязанность! Сам знаешь, в тылу сейчас не хватает командных кадров. Вот партия и поручила тебе занять место командира, вести в бой своих трактористов. А ты — в кусты. Кто же ты, как не дезертир?

Халил ошеломленно раскрыл рот, а Тарлан, улыбнувшись, подошел к нему и дружески положил руку на плечо.

— Уж больно ты горяч, дорогой. Раз-два, и решил все проблемы! В общем, так. Считай, что ни о каком переводе в бригаду разговора не было. И о каких-то там кознях против тебя я тоже ничего не слышал. Ты — директор МТС, ты за все и в ответе. Верю, положение в МТС трудное. Так надо его выправлять, поднимать станцию на ноги, а не спасаться бегством! Вот если тебе помощь нужна, это другое дело. Ты и расскажи, в чем

нуждаешься,—он снова задумался.—Ты вот сетуешь на свою необразованность. Так ведь знания не с неба сваливаются. Работай, и одновременно запасайся знаниями, повышай, как говорится, свой теоретический уровень. Это ведь требуется и от рядовых трактористов. А как же иначе? Так и растут люди. И многие становятся командирами производства.

— Мне, видно, этот груз не по плечу.

— Неправда! — протестующе воскликнул Тарлан. — Странный ты человек, Халил-даи. Видишь в себе только дурное, а хорошего словно бы и не замечаешь.

Халил понуро опустил голову.

— Чего нет, того и не увидишь.

Тарлан бросил на него неодобрительный взгляд: зачем же, дорогой, такое самоуничижение? Наступило молчание, некоторое время собеседники, словно рассорившись, не смотрели друг на друга. Первым заговорил Тарлан:

— Вот кончится война, пошлем тебя учиться. Учиться никогда не поздно.

— За это спасибо скажу, товарищ райком, — тихо, благодарно произнес Халил.

— А пока работай. Ты так рассуждай: вы мне хотели свинью подложить, думали, завалю я дело и дам вам козыри в руки? А я вот, назло всем, вытяну МТС из прорыва, уж тогда вам поневоле придется прикусить языки. Работа, дорогой, — вот лучший ответ на все козни и происки. У тебя же есть все задатки руководителя: опыт, любовь к людям, самокритичность, организаторский талант. А мы со своей стороны все сделаем, чтоб тебе помочь. Договорились?

Халил молчал. Душу его раздирали сомнения. Он понимал, что о возвращении в бригаду нельзя было больше заикаться, в то же время его не очень-то радовала перспектива остаться директором МТС.

— Товарищ райком! — сказал он наконец. — Имею до тебя просьбу.

— Говори, слушаю.

— Пошли к нам хоть на время врача из города...

— Ладно. Сделаю.

— И еще. Уволил я нашего главного агронома, Меджида Алиярова. Надо, чтоб райком одобрил мой приказ.

— Ого!.. Решился-таки снять этого субъекта с работы?

— Было дело.

— Правильно поступил. Молодчина!

— А известно тебе, что меня уже вызвал председатель райисполкома? Не миновать, значит, расправы. Этот живьем съест!

— Вот как? По этой-то причине ты и решил бежать из МТС?

Но Халилу не хотелось продолжать разговор на эту тему. Неразумно спорить с человеком, который только что обещал тебе свою поддержку. И Халил заговорил о другом:

— Товарищ райком... Я вчера на полях побывал. Был в колхозе имени Чапаева. Веришь ли, женщины босиком работают!

— Не может быть!

— Душа за них изболелась, товарищ райком! Обувь в кооперативе имелась. Так эти жулики роздали ее дружкам и знакомым. Раздобыть бы хоть пар десять—пятнадцать. Я бы сам в колхоз съездил, своими руками вручил бы туфли!..

Тарлан нахмурился, забарабанил пальцами по столу, лоб его снова собрался в морщины.

— Ладно, достанем обувь. Но ведь это еще полдела. Кто-то уже нажился на этой махинации!

— Хапуг на наш век хватит. Вон в колхозе «Революция» кладовщика посадили. Запустил руку в колхозные закрома.

— В колхозе «Революция»? Не помнишь фамилию этого кладовщика?

— Погоди-ка... — Халил достал записную книжку. — Вот. Самед Геюш-оглы.

— Геюш-оглы... Хорошо, я сам за этим прослежу. А то что-то много преступлений остается у нас в районе или нераскрытыми или безнаказанными. Кто стоит за всем этим? Распутать бы этот клубок! — Тарлан взволнованно заходил по кабинету. — Нет, каковы мерзавцы!.. Война идет, народ и так вдосталь хлебнул горя, а эта сволочь... — Он остановился перед Халилом, глаза его пылали гневом. — Нет страшнее преступления, чем греть руки на народной беде! И это ведь не фашисты, не шпионы, не диверсанты какие-нибудь, а наши же люди! Да

полно, наши ли они? Советский у них только паспорт. А нутро чужое. Распутать, распутать надо этот клубок, и как можно скорее!

Но Тарлану не удалось закончить свою мысль. Дверь распахнулась, и в кабинет ворвался Гамид Алияров. Холодно кивнув секретарю райкома, он подступил к Халилу:

— Вот ты где!.. А я жду тебя не дождусь. Что это за порядки ты завел в МТС? Самовольничаешь? Разгоняешь специалистов?

Халил искоса взглянул на Тарлана, с мрачным любопытством наблюдавшего за этой сценой, и ответил, стараясь сохранить хладнокровие:

— Криком ты меня не проймешь, товарищ Алияров. Пускай я не шибко грамотен. Пускай я для вас пешка, мужик неотесанный. Но я не трус. Трусом я никогда не был! Вот мое слово: или я, или твой братец.

Алияров достал папиросу, руки у него дрожали.

— Да ты знаешь, что творишь? Он не только мой брат, он специалист! А специалисты на улице не валяются. Государство тратит уйму денег, чтобы вырастить достойные кадры. Нынче каждый из таких людей на счету. А из-за каприза новоявленного хана...

— Не барышня я, чтоб капризы-то разводить. Да спроси кого хочешь, все скажут, что брат твой лодырь, бездельник. Сам ни черта не делает и других с пути сбивает.

Алияров никак не мог зажечь папиросу, спички ломались, он клал их обратно в коробок. Тарлан, чтобы успокоить его, предложил:

— Ты сядь. И возьми себя в руки.

— Нет, полюбуйся-ка на этого сатрапа! Когда мне сказали про его художества, я ушам не поверил!.. Ни с кем не считается: ни с райкомом, ни с райисполкомом. Мы для него уже не руководители. Так, манекены какие-то.

— Ты говори только за себя. И, сделай милость, сядь. — Тарлан иронически усмехнулся. — Гляди, ты даже на спички нагнал страху!

Алиярову наконец удалось закурить, он несколько раз затянулся и, немного успокоившись, сел на стул. Он ждал, что Тарлан станет на его сторону, хотя бы ради того, чтобы поддержать авторитет председателя рай-

исполкома. Но его ожидания не оправдались. Тарлан твердо сказал:

— Товарищ Мусаев прав.

— Пра-ав?..

— Да, прав. Ни для кого не секрет, что Меджид Алияров вместо того, чтобы работать, разводит в МТС склоки, тратит время на развлечения. На месте Мусаева и ты поступил бы точно так же.

«Да это заговор!» — холодея, подумал Алияров. А Тарлан хоть и понимал, что Алияров не пойдет ни на какие уступки, все же, пытаясь кончить дело миром, увещевающе сказал:

— Тебе, товарищ Алияров, следовало бы поговорить с братом, выяснить, почему он с таким упорством, достойным лучшего применения, увиливает от выполнения прямых своих обязанностей. Не отрицаю, возможно, есть и доля вины Халила...

Алияров подозрительно посмотрел на Тарлана. «Ишь каким кротким прикинулся! За дурака меня принимает. Как мягко стелет! А сами, наверно, сговорились за моей спиной».

— Ну, поговорил бы я с ним, — возразил он, — а после наш разговор все равно истолковали бы вкривь и вкось. Мол, занимаюсь кумовством, родственника выгораживаю. Хоть весь Азербайджан свидетель тому, что Меджид способный, знающий агроном! — Он свирепо взглянул на Халила. — Разве не так?

— Что верно, то верно, умом-то его бог не обидел, — чистосердечно сказал Халил. — Да что проку от его знаний, ежели он держит их под семью запорами? Хоть бы поделился с кем. А то ведь только нос дерет, ей-богу. Пошлешь его куда, так он весь перекривится. Пальцем пошевелить не желает! Черт с ним, что он меня-то перед людьми срамит. Я так думаю, пускай хоть сто раз на дню и меня, и моих родителей ругает, лишь бы делу помех не чинил. Я и на том сказал бы спасибо.

Халил говорил без гнева, скорее с какой-то тоской, но Алияров, однако, сохранял настороженность, переводил взгляд с одного на другого, силясь угадать, какое действие оказывают на Тарлана сетования директора МТС. «Пожалуй, разжалобит он секретаря, — прикидывал он в уме. — У того, говорят, сердце мягче воска.

А этот тип на слезу бьет. Ишь распустил нюни. Мужик, мужик, а хитер как дьявол».

У председателя райисполкома все внутри переворачивалось от злобы и бешенства. С трудом сдерживая ярость, он вмешался в разговор:

— Если нет у вас совести, так давайте, валите все на брата. Он один во всем виноват! Да если бы я был уверен, что стоит только его выгнать, и сразу все пойдет как по маслу, я первый потребовал бы его увольнения. Согласен, он не без греха. Так кто же из нас застрахован от ошибок?

Тарлан даже поморщился, вспомнив, что до сих пор Алияров отзывался о брате чуть ли не как о самом выдающемся агрономе во всей республике.

— Спора нет, в отставании МТС повинен не только твой брат, — сказал он, обращаясь к Алиярову, — но это нисколько его не оправдывает. Он и сам не работает, и другим мешает. Видно, надеется на твою поддержку.

— Не работает, — проворчал Алияров. — Да при таком директоре у кого угодно руки опустятся. С ним вся МТС в раздоре. Что же, по-вашему, надо разогнать весь коллектив?

— Ну, коллектив ты оставь в покое, — Тарлан повысил голос, — а вот тех, кто сеет смуту, натравливает одних работников на других, будем гнать железной метлой! Это я о твоем брате говорю, товарищ Алияров!..

Алияров стиснул зубы. А Тарлан, повернувшись к Халилу, сказал:

— Действуй смелее, Халил-даи. Помни, мы всегда готовы оказать тебе необходимую помощь. Я уж распорядился, на днях к тебе прибудут несколько трактористов из Саатлинской МТС.

Вскоре Халил ушел, сославшись на неотложные дела. Алияров некоторое время молчал, потом, не поднимая глаз, обиженно пробубнил:

— Из сил выбиваешься, не спишь сутками, из-за этой проклятой работы о доме, о семье подумать некогда. Все, кажется, делаешь, чтобы заслужить уважение земляков. И вот благодарность! Злопыхатели глотки надрывают: Алияров такой, Алияров сякой, все ему не по нраву, со всеми он в контрах. Нечего сказать, дожил. Какой-то Мусаев в большей чести, чем председатель райисполкома.

Тарлан пристально взглянул на Алиярова.

— Не понимаю твоего тона. И не вижу причин для жалоб. Ты говоришь, что работаешь не покладая рук. А такая ли уж это большая заслуга? Сейчас все так трудятся. И брата ты зря выгораживаешь. Если уж он такой опытный агроном, каким ты его аттестуешь, то прямой его долг — всеми силами помогать Мусаеву. А он нос воротит. Не ты ли ему дурной пример подаешь? Или вы ждете, что к нам в район пришлют со стороны каких-то особенных работников? Напрасно ждете. Война проредила наши ряды. Мы сами должны растить кадры!

Алияров досадливо махнул рукой.

— Я тебе про одно, ты про другое... — Он поднялся и произнес со скрытой угрозой: — Спасибо, секретарь, просветил ты меня. Теперь я знаю, что делать.

И, не дожидаясь ответа, вышел.

16

Сев в «газик», Халил забился в задний угол, чтобы свободно отдаться своим думам. Беседа с Тарланом не рассеяла его сомнений. Тарлан, правда, обещал помочь. Зато Алияров смотрел волком. А от него всего можно ожидать.

Халил тяжело вздохнул. Услышав этот вздох, Салман обернулся и сочувственно спросил:

— Что, товарищ директор? Поцапался с нашим исполкомом?

— Ты откуда знаешь?

— Шофер все знает! Я видел, как он в райком входил. Ну, а пока поджидал тебя, перекинулся словечком с его шофером. Он говорит, что Алияров сегодня злой как бес.

— Попридержи язык-то. Не о дружке говоришь.

— Эх, хозяин, ну что ты печалишься? Пускай Алияров печалится.

— Это почему же?

— А потому, что ты честный человек, а он нет. Так на чьей стороне сила? Правда-то кривду завсегда бьет!

— Ты, парень, говори, да не заговаривайся. Рехнулся, что ли?

Но Салмана словно прорвало. Он спешил выложить все, что думал и знал об Алиярове, и его уже невозможно было удержать:

— Давно я хотел тебе сказать, Халил-даи... Да все боялся, что за сплетника посчитаешь. Ты, ей-богу, как ребенок. Думаешь, все такие честные, как ты? Вот увидишь, не миновать этому Алиярову военного трибунала.

— Вот ты бы трибуналу все и рассказал.

— Да ведь за руку он не схвачен...

— Тогда не клевещи на человека.

— Не клевещи!.. Скажешь тоже. Да все чистая правда! И кроме, как от шоферов, ни от кого ее не услышишь. Шоферу-то о хозяине все, как есть, известно. Он ведь не слепой и не глухой. Уж будь спокоен, все разнюхает! И при себе держать не станет. Как говорит пословица, не доверяй тайны другу, у твоего друга тоже есть друзья. Вот шофер Алиярова и шепнул мне как-то, что его хозяин прямо не знает, куда халы [1] девать. А теперь будто еще и золотишко прикапливает, и другие такие вещи. Будь уверен, с миллиончик уже набрал.

Обвинение это показалось Халилу настолько чудовищным, что он резко оборвал Салмана:

— Ты, парень, поменьше бы к сплетням прислушивался! Столько нынче слухов гуляет, что уж правду от брехни не отличишь. Иных хлебом не корми, только дай честного человека опорочить. Ну, посуди сам, ежели б Алияров был таким богачом, разве выставлял бы он напоказ свои халы?

— А кто сказал, что он выставляет? Ты загляни в его здешнюю квартиру: ей-богу, тюфяка нет приличного, спать не на чем. Зато в Баку у него такие хоромы! — Салман даже присвистнул. — Закачаешься!.. Только кто об этом знает? Бакинская-то квартира вроде как даже и не его. Все шито-крыто. А мы помалкиваем, будто воды в рот набрали.

— Послушай, сынок, — снова прервал Салмана Халил, — что болтаешь-то попусту?

— Попусту? — вскинулся Салман. — Ты, товарищ директор, сколько получаешь?

— Тыщу двести.

— А Алияров?

— Кажись, тыщу пятьсот.

— На какие же капиталы он себе такую квартиру

---

[1] Халы — большие ковры.

отгрохал? У тебя-то дома небось одни мыши водятся. И те голодные.

— Да ты сам-то был у него на квартире? Что он, в гости тебя приглашал? — чуть не закричал Халил, разозленный упрямством шофера, который все гнул свое.

Салман глухим от обиды голосом ответил:

— Ну, не был. Так его шофер видел все собственными глазами. А уж он врать не будет. Зачем ему накликать беду на свою голову? Не-е, он не врет. Он человек рабочий, терпеть не может всякой нечестности.

— Отчего же он только тебе все это поведал?

— Понимаешь, хозяина побаивается. Все равно, выведут его на чистую воду!.. Ты вчера меня про Геюш-оглы спрашивал. Ну, про того кладовщика. Знаешь, по чьей милости он за решетку угодил? Говорят, и тут не обошлось без Алиярова. Ты байку про серого осла слышал?

— Ну-ка, расскажи, — уже заинтересованно попросил Халил. Он страсть как любил занятные истории.

— Да, ходит такая бывальщина... Будто имелся у Геюш-оглы серый осел. И обладал этот осел диковинным свойством. Уведи ты его хоть за тридевять земель, навьючь кладью потяжельше да шепни на ухо, что все это надо доставить Алиярову, так осел с закрытыми глазами найдет алияровскую квартиру и встанет как вкопанный перед самой дверью! Считай меня последним лгуном, если это неправда!

Шофер рассказывал этот анекдот с такими уморительными ужимками, что Халил не мог удержаться от смеха и забыл даже одернуть Салмана. А тот мрачно сказал:

— Вот ты смеешься, а сам, верно, думаешь: брехня все это. Оно и понятно. Сам-то ты живешь своим трудом, на чужое добро не заришься. Детишки твои день сыты, день голодны. Ты и о других по себе судишь. А уж я-то знаю, что за птица этот Алияров. Чего только не наслышался, по району мотаясь. Ты помнишь Гулу Гераева, председателя колхоза «Революция»? Ей-богу, колхоз никакими снарядами нельзя было разрушить. А сам Гераев... Да сунь ему в горло живую змею, он и тогда не зарезал бы колхозного ягненка, не то что ради Алиярова, а даже в честь приезда первого секретаря Цека! В общем, Алиярову от него, как говорится, ни козлят, ни

молока. Вот и задумал он расправиться с Гераевым. И так все устроил, что обвинили беднягу в расхищении колхозного добра. Это Гераев-то вор! Он и по сю пору в тюрьме сидит. А колхоз под гору покатился. Обокрали его до нитки жулики, вроде Геюш-оглы. Ты думаешь, почему у колхозников руки опустились? Да потому, что все, что они пóтом и кровью добывали, попадало в руки разным мошенникам. А те задабривали взятками Алиярова. Слава богу, Исмаиллы вернулся. Теперь колхозом Набат заправляет. Да ведь сколько еще лет понадобится, чтобы он ожил! А, что говорить... Все равно ты не веришь.

Халил, однако, готов был уже поверить Салману. Не мог же тот, в самом деле, все это выдумать? Да и какая ему корысть возводить напраслину на одного из самых влиятельных людей в районе? Нет, зря такими словами не бросаются. И Халил злился уже не на Салмана и даже не на Алиярова, а на самого себя. «Вон какие ходят разговоры... А я узнаю все последним. Ну, не тупая ли башка! Еще колхозников корил: мол, плохо работаете. Да кому же охота чужой карман набивать? Эй, Халил, раскрой пошире глаза! Ничего-то ты, друг, не видишь, что у тебя под носом творится».

Он зажег папиросу, пустил носом дым и снова задумался.

А Салман, приняв его молчание за осуждение, с каким-то отчаянием произнес:

— Потом скажешь, что я был прав, да поздно будет! Когда же наконец возьмутся за этого типа, раскроют все его темные дела?..

17

Районный прокурор почти уверился в неподкупности председателя райисполкома. И когда следователь, ведущий дело Самеда Геюш-оглы, старый, опытный работник, с тревогой доложил Керимли, что на следствии вскрылись факты, свидетельствующие о причастности Алиярова к этой грязной истории, прокурор изумленно поднял брови.

— Постой, постой. Кто, говоришь, замешан в преступлении?

— Председатель райисполкома Гамид Алияров. Ты

пойми меня правильно, товарищ Керимли. Я еще не пришел к окончательным выводам. Но факты...

— Что же это за факты? — строго, чуть ли не раздраженно спросил прокурор.

— Самед Геюш-оглы только что показал, что Алияров знал о его комбинациях с зерном и даже будто потворствовал ему в этом. — Следователь порылся в толстой, разбухшей от бумаг папке, которую держал в руках и, отыскав нужный лист, продолжал: — Вот его слова: «Я судьям докучать не стану, что в жмурки-то играть, виноват, скажу, давайте мне срок, отсижу, сколько надо. Но неужто Алияров от расплаты уйдет? Вместе ведь колхоз грабили».

Прокурор встал из-за стола и принялся ходить по комнате.

— Факты!.. — сердито передразнил он следователя. — Клевета это, а не факты. Типичный оговор. Жулик, видимо, узнал, что благодаря честности и бдительности товарища Алиярова нам удалось схватить за руку его братца, вот в отместку и решил приплести его к этому делу. Ты заметь, преступники, чуя гибель, стараются и других за собой потянуть, оговаривают всех, против кого таят злобу. Это их обычная тактика. Вот и этот Геюш-оглы... Что же он до сих пор молчал?

Следователь пожал худыми, острыми плечами:

— Как бы то ни было, но его упорство меня смущает. Он, например, настойчиво требует, чтобы ему дали очную ставку с Алияровым.

— Он играет ва-банк, вот и все, — возразил Керимли. — Ему ведь терять нечего.

Все-таки прокурор сам допросил подследственного. Геюш-оглы повторил все, что до этого говорил следователю, подтвердил, что настаивает на очной ставке, и даже пригрозил Керимли:

— Я до прокурора республики дойду! Почему покрываете Алиярова?

Велев конвойным увести кладовщика, прокурор отправился в райком, к Тарлану Исмаиллы. Он подробно рассказал о сцене в кабинете Алиярова и о сомнениях, вызванных показаниями и твердой позицией Самеда Геюш-оглы. Тарлан внимательно выслушал прокурора, но не высказал своего мнения.

В этот день ему никуда не нужно было ехать, од-

нако он вызвал шофера, попросил его подготовить машину и, обращаясь к Керимли, сказал:

— Извините, но я тороплюсь. Зайдите ко мне завтра со всеми материалами по этому делу. Мы должны действовать с максимальной осмотрительностью. Не забывайте, речь идет о крупном работнике, выборном лице.

Попрощавшись с прокурором, он сел в машину и велел шоферу ехать в колхоз «Революция». Настроение у него было скверное. Он был полон решимости до конца разобраться в этом щекотливом, запутанном деле, хотя и понимал, что Алияров после столкновения в райкоме может дать каждому его шагу ложное истолкование. Скажет еще, что не угодил секретарю райкома и теперь тот хочет с ним расправиться.

День выдался погожий, на небе не было ни облачка. Сбор хлопка, судя по всему, проходил успешно. Навстречу то и дело попадались арбы, доверху груженные мешками с хлопком.

Вот и поля колхоза «Революция». Тарлан вышел из машины, поздоровался с девушками и женщинами, собиравшими хлопок. По сравнению с тем днем, когда здесь был Халил, народу в поле прибавилось, больше стояло и мешков, набитых хлопком. Вместе со всеми трудилась Набат Керимова, новый председатель колхоза. Она была в нарядном, видно недавно купленном, платье, голову покрывала чалма, какую обычно носят курдянки. Завидев Тарлана, Набат подошла к нему неторопливой, исполненной достоинства походкой, подала руку. Странное впечатление производила эта женщина. Держалась она спокойно, уверенно, у нее на первый взгляд был даже бодрый вид, но в задумчивых глазах таилась печаль, и за все время, пока она беседовала с Тарланом, лицо ни разу не осветила улыбка.

Тарлан поговорил с ней о колхозных делах, а потом, как бы между прочим, поинтересовался, нет ли в поле кого-нибудь из семьи Самеда Геюш-оглы. Набат сказала, что ни жена, ни дети бывшего кладовщика на работу не выходят и, грустно улыбнувшись, добавила:

— Ничего, теперь хочешь не хочешь, а придется поработать. Узнают, как хлебушек-то достается. Вы, должно быть, слыхали, их кормилец в тюрьму попал. Поделом ему, злодею!

Тарлан, чтобы не возбудить излишнего любопытства

окружающих, не стал поддерживать этот разговор. Выяснив с помощью окольных расспросов, где живет семья Геюш-оглы, он сел в машину.

Тарлан сильно волновался, курил одну папиросу за другой. Боясь, как бы при виде его машины в селе не догадались, кто приехал, он вылез, не доезжая до школы, за которой, по словам Набат, находился дом Геюш-оглы, и, наказав шоферу ждать его, дальше пошел пешком.

В селе стояла тишина, на улице не было ни души. Но его мог заметить кто-нибудь из учителей, и, стыдясь своей вынужденной осторожности, Тарлан обошел школу стороной и принялся искать дом, описанный Набат. Он сразу узнал его по зеленой веранде. Во дворе гуляла наседка с цыплятами, собаки, похоже, не было, но Тарлан на всякий случай выдрал из плетня прут потолще и только после этого постучал в калитку. Ему открыла маленькая девочка, крепко сжимавшая в руках старую уродливую куклу.

— Доченька, это дом Самеда Геюш-оглы? — спросил Тарлан.

Девочка утвердительно кивнула.

— А как тебя зовут?

— Отелло.

— Как, как? Телло?..

— Да нет же! — Девочка досадливо топнула ножкой, — О-тел-ло.

Тарлан не мог удержаться от улыбки.

— Мама дома, Отелло?

— Мама у соседки.

— Ты не можешь ее позвать?

Уродливая кукла в руках девочки резко дернула головой. Щеки у куклы были ядовито-красного цвета. Тарлан все еще улыбался, глядя то на куклу, то на девочку.

— Так позовешь?

Девочка шмыгнула носом:

— А ты кто такой, дяденька? Тебя как звать?

— Тебе это обязательно нужно знать?

— Но ведь ты же спросил, как меня зовут, — рассудительно ответила девочка.

— Это другое дело. У тебя просто чудесное имя!

Девочка недоверчиво посмотрела на Тарлана.

— Так ты знал, как меня зовут?

— Нет, не знал. Поторопись, доченька. Мне надо поговорить с твоей мамой.

— Ладно, — девочка еще сильнее шмыгнула носом, — пойду позову.

Она вприпрыжку побежала по улице, споткнулась, упала вместе с куклой на землю, но не выпустила ее из рук и не заплакала, а тут же поднялась и опять побежала. Тарлан проводил ее задумчивым взглядом, сел на невысокую поленницу дров, закурил.

Жена Геюш-оглы не заставила себя ждать. Это была полная, рыхлая женщина лет сорока пяти, с распухшими, покрасневшими глазами, — видимо, от недавних слез. Она вопросительно взглянула на Тарлана, но не произнесла ни слова.

— Здравствуй, баджи, — сказал Тарлан, вставая ей навстречу. — Ты меня, очевидно, не знаешь...

— Нет, милый человек, не знаю, — вздохнула женщина. — Ох, к добру ли твой приход? Кто ты такой будешь?

Она замолчала, прикрыв губы концами платка. Дочь стояла, прижавшись к ее юбке, и не отрывала от пришельца горящих глазенок. Вот сейчас она узнает, как зовут этого незнакомого дяденьку!..

Но Тарлан вместо того, чтобы ответить на вопрос женщины, тихо сказал:

— Я к тебе по поводу твоего мужа...

— Его выпустят?! — с надеждой вскрикнула женщина.

Но Тарлан, нахмурясь, покачал головой:

— Нет, баджи. Он скоро предстанет перед судом. Вот я и хочу потолковать с тобой, выяснить кое-что. Здесь будем говорить или зайдем в дом?

Женщина бросила на него подозрительный взгляд.

— Ты бы потолковал с самим Самедом.

У Тарлана кошки скребли на душе. Но и отступать он считал себя не вправе.

— Понимаешь, баджи... Я его защитник. Поверь, я ему только добра желаю.

— Правду говоришь? Тогда будь гостем, заходи, пожалуйста, — предложила женщина и, провожая Тарлана к дому, громко запричитала: — Ай, стыд какой! Ты ко мне со всей душой, а я... Что же ты сразу не сказался?

Они вошли в комнату. Сели за стол, накрытый голубой скатертью.

— Баджи, этот разговор не для детских ушей, — сказал Тарлан, показав глазами на девочку.

— Доченька, Отелло, беги к дяде. Я тоже скоро приду.

Девочка еще крепче прижала к груди свою ярко размалеванную куклу и выбежала во двор.

Тарлан незаметно для хозяйки окинул взглядом комнату. На что же пошли деньги, вырученные кладовщиком от продажи колхозного зерна? Судя по обстановке, семья жила скромно. В комнате из дорогих вещей были только радиоприемник «Урал», никелированная кровать да настенное зеркало.

Тарлан потушил о спичечный коробок папиросу и обратился к хозяйке:

— Дело вот в чем, баджи. Твой муж во всем сознался.

У женщины пересохло в горле. Она растерянно переспросила:

— Сознался?..

— Что же ему оставалось делать? Все равно на суде все раскрылось бы.

— Ой, горе мне, горе!.. — снова принялась причитать хозяйка. — Что же он натворил! Он же неповинен, клянусь аллахом, неповинен! Ироды проклятые!.. Загребли все деньги, а бедный Самед отвечай за них!

— Кладовщиком-то твой муж был, — нахмурился Тарлан, — он и зерно продал. Ведь это доказано.

— Продать-то продал, а выручку в карман другие положили.

— Кто это другие? Ну что же ты замолчала? — Тарлан осуждающе покачал головой. — Нельзя так, баджи. Если хочешь помочь мужу, так говори всю правду, ничего не утаивай.

— Не виноватый он, клянусь аллахом, не виноватый!.. — чуть не рыдая, повторяла женщина.

Тарлан сказал ласково и в то же время строго:

— Успокойся. И не надо себя обманывать. Твой муж виноват, очень виноват. И перед народом, и перед своей семьей. Вольно ж ему было запускать руку в колхозные закрома! Ведь знал же, что такие преступления не проходят безнаказанно. — Вспомнив о девочке со странным

именем Отелло, он с болью добавил: — Хоть бы детей своих пожалел!..

Короткие, густые ресницы женщины намокли от наплывающих слез.

— Не виноватый он! Его другие попутали!..

— Вот я и хочу узнать, кто же толкнул твоего мужа на это преступление. Ты пойми, только правда может облегчить его участь. Так кто же был его соучастником?

Женщина опасливо оглянулась.

— Нет, братец. Это такой человек... Погубит он Самеда!

Тарлан поднялся, сказал, не скрывая досады:

— Ну, как хочешь. Вижу, я понапрасну теряю время.

Женщина с минуту колебалась. Она боялась открыть Тарлану правду, но еще больше боялась, что он уйдет и унесет с собой последнюю надежду. Незнакомец внушал ей доверие. И, еще раз оглянувшись по сторонам, словно кто-то мог ее подслушать, заручившись обещанием гостя сохранить все в тайне, она произнесла быстрым шепотом:

— Пусть аллах покарает Алиярова!

Тарлан даже вздрогнул.

— Алиярова?.. О каком Алиярове ты говоришь, баджи?

— Об исполкоме, о ком же еще! — уже со злостью сказала женщина. — Это он загубил Самеда, разрушил наш очаг, осиротил моих деток!..

— Трудно в это поверить, баджи.

— А я тебе все, все, как есть, расскажу, — заторопилась женщина, боясь теперь лишь одного: что Тарлан ей не поверит. — Пришло время сдавать зерно государству. Алияров прислал за зерном машины. Со склада увезли пятнадцать тонн, а сдали десять. Куда эти пять тонн подевались, уж не знаю. Знаю только, что Самед принес домой всего пять тысяч рублей. Остальное, значит, другие промеж собой поделили. Муж говорил, что самый большой куш урвал Алияров. А когда посадили Самеда, приходил к нам человек от Алиярова. Он и у Самеда побывал. «Вы, говорит, держите язык за зубами, пускай Самед и на суде молчит, а уж после мы его вызволим из тюрьмы. Уж тогда Алияров вас озолотит». А на что мне его деньги, братец? Пусть мне мужа вернут!.. Пожалей нас, братец! Спаси Самеда, век за тебя бога буду

молить. Говорят, если его военный трибунал будет судить, могут и расстрелять... Спаси его, братец!

Женщина разрыдалась. А Тарлану нечем ее было утешить. Ничего не сказав, он вышел во двор, потер рукой лоб, словно пытаясь прогнать головную боль. Так вот ты какой, Алияров!.. Думал, посулами всем можно рот заткнуть? А вот и сорвалось! Что все твои хитрости перед горем этой женщины? Жаль, нельзя ей помочь в этом горе. Пособничество Алиярова не снимает вины с Геюш-оглы. Можно будет только смягчить наказание...

Он услышал за собой шаги женщины, но не обернулся. В это время раздался стук копыт, по улице проскакала Набат. Увидев Тарлана, открывшего калитку, она крикнула:

— Нашли, товарищ райком?

Тарлан молча кивнул.

А жена Геюш-оглы, услышав слова Набат, пошатнулась, щеки ее залила смертельная бледность.

— Ай, пусть аллах накажет меня! Так это был сам райком?..

И она в отчаянии принялась царапать ногтями свое лицо.

18

Из спора с Тарланом Алияров сделал для себя лишь один вывод: вместе им не ужиться. «Секретарь и историю с Мусаевым раздул лишь затем, чтоб меня свалить! — размышлял он, сидя у себя в кабинете. — Только я ведь не из тех, кого легко проглотить. Как бы не подавиться... Думаешь, сила на твоей стороне? Врешь, найдутся и у меня влиятельные покровители!»

Больше всего жалел Алияров, что упустил столько времени: надо было сразу же после появления Тарлана в районе постараться его обезвредить, накапливая компрометирующие данные, сообщая, куда следует, о каждом его неверном шаге.

«Взять хотя бы разговор в райкоме... Его ведь можно и так повернуть, что Исмаиллы не поздоровится. Почему, мол, он взял под защиту Мусаева, этого недотепу, развалившего МТС? Почему прикрывает его недостатки? Разве это не типичное проявление групповщины? Верно,

тут и сомнений быть не может: новый секретарь, Исмаиллы, развел в районе групповщину!»

Довольный тем, что навесил на Тарлана ярлык, Алияров стал припоминать, какие еще ему можно приписать пороки... Не злоупотребляет ли он своим положением партийного руководителя, пользуясь во время поездок по району гостеприимством колхозников, охотно принимая угощение? Стыд и позор!.. Люди себе в куске хлеба порой отказывают, а первый секретарь райкома, рассиживая в гостях, уплетает за милую душу шашлыки и курятину! Дорого же обходится хозяевам их радушие!..

Честно говоря, Алияров и сам любил поесть, но давал волю аппетиту лишь тогда, когда гостил у преданных ему председателей колхозов. Перед всеми же остальными он разыгрывал роль человека неприхотливого, довольствующегося малым, и часто, на виду у всех, доставал из кармана скромный бутерброд с сыром, который, для отвода глаз, всегда брал из дому, и запивал его стаканом простой воды. Бывало так, что колхозники, у которых он останавливался, потчевали его, чем бог послал, а он вместо того, чтобы поблагодарить радушных хозяев, с высокомерным пафосом заявлял: «Народ в трауре, а вы лезете с угощением. Не время сейчас пировать!» Хозяева обижались, а председатель райисполкома похваливал себя за осторожность: «Я вам не Тарлан Исмаиллы, я старый волк, всякого насмотрелся на своем веку, меня голыми руками не возьмешь! Недаром молвит пословица: мать осторожного сына не знает горя».

Алияров со злорадством сопоставлял свои слова и поступки с поступками и словами Тарлана. Сравнение оказывалось не в пользу последнего. Первый секретарь райкома не был таким уж неуязвимым, как казалось на первый взгляд. Мозг Алиярова работал все лихорадочней. «А о чем говорит тот факт, что Исмаиллы рекомендовал в председатели колхоза «Красный Восток» Гани Зейналова? Брат-то этого Гани давно разоблачен как враг народа. Ба!.. А кто ему приходится зятем? Самед Геюшоглы, расхититель колхозной собственности! Вот кого пригрел под своим крылом Тарлан Исмаиллы, первый секретарь райкома!»

Правда, припутывать к этому делу Самеда Геюшоглы было небезопасно: ниточка от его преступления тя-

нулась к самому Алиярову. Но Алияров не сомневался, что кладовщик будет нем как могила: ведь он через доверенных людей наобещал Геюш-оглы с три короба, а этот тип падок на деньги. Нет, он никого не выдаст и всю вину, как и было условлено, возьмет на себя. А проболтается, так Алияров и в этом случае сумеет замести следы, ему не впервой.

Председателю райисполкома вспомнились люди, осужденные по его наговорам. Он действовал по принципу: не погубишь других — сам погибнешь, и, если ему грозило разоблачение, спешил нанести удар первым, смешивал своих противников с грязью, выдавая их невольные промахи за вредительские акты. И все сходило ему с рук. Он еще козырял своей бдительностью!

Он и Тарлана обвинит во всех смертных грехах. Для верности можно даже переложить дегтя, заявив, к примеру, что Тарлан на фронте был в окружении и кто знает, с чистой ли совестью вернулся домой?

Но надо сохранять осторожность. Не стоит самому марать руки. От него еще могут потребовать веских доказательств, и вместо того, чтоб запутать Тарлана, он того гляди запутается сам. В прошлом он не раз прибегал к такому коварному средству, как анонимка. Он и сейчас попробует выпустить отравленные стрелы из чужого лука!..

Алияров позвонил прокурору, поинтересовался, рассказал ли тот о случае с взяткой Тарлану Исмаиллы.

— Видишь ли, дорогой, секретарь райкома должен первый узнавать о таких вещах. Да, вот еще. Я так разволновался, что совсем забыл о деньгах этого мошенника. Сейчас с курьером пришлю их тебе. Советую не затягивать этого дела. Не цацкайся с преступниками, поступай, как того требует закон. Да, да, оба они заслуживают самого сурового наказания.

Не успел он повесить трубку, как к нему явился Меджид Алияров. Небрежно поздоровавшись с братом, председатель райисполкома достал из сейфа сверток с деньгами, вызвал секретаршу и, протягивая ей сверток, сказал:

— Дильбер, передай это курьеру. Вызови милиционера для охраны. Пусть отнесут деньги прокурору Керимли.

Дождавшись, когда Дильбер уйдет, он повернулся к брату.

— Присаживайся.

Но тот, не двинувшись с места, с обидой проговорил:

— Не понимаю, братец. Что это ты смотришь на меня, как коза на афишу? Чем я тебе не потрафил?

— А тем, что я из-за тебя терплю одни неприятности!

— Ну, раз так, — агроном, насупившись, по-бычьи нагнул голову, — я тебя не буду утруждать.

Он повернулся, чтобы пойти к двери. Гамид Алияров быстро вышел из-за стола:

— Меджид!.. Куда же ты? Это мальчишество!

В голосе его слышались просьба и раскаяние, однако это не смягчило Меджида. Обида его была так велика, что он даже не оглянулся. Алияров нагнал его в приемной и, схватив за рукав, силой втащил обратно в кабинет.

— Садись. И прояви хоть немного снисходительности. Не видишь, какое у меня настроение? Ну, что ты надулся? Что я сказал обидного?

— Если бы я знал, что ты меня так встретишь, то не стал бы навязываться, — с кислой миной произнес Меджид. — Ты ведь, слава богу, знаешь мой характер. Отцу родному в ножки не поклонюсь!

— Да ладно тебе, — досадливо отмахнулся Алияров, — вот это упрямство и губит нас. Надо быть более гибким. А ты... Довел дело до того, что Мусаев поносит тебя на всех перекрестках. И ему верят!.. Сегодня я поскандалил из-за тебя с самим господином Исмаиллы.

Агроном скривил губы в презрительной усмешке:

— Милое дело!.. Я еще буду на коленях просить, чтобы верили мне, а не Мусаеву. На черта мне это нужно! Сунули в самую паршивую МТС, да еще травят, придираются к каждому шагу. Уж лучше я выхлопочу себе участок, разведу огород — побольше денег-то зашибу, чем в этой проклятой МТС. Клянусь аллахом, так и сделаю, если на меня всех собак будут вешать. Ну, кто такой этот Мусаев? Да, конечно, он депутат, а я простой смертный, да еще беспартийный к тому же. Вот он и наскакивает на меня как петух. А все стоят и глазами хлопают. Ну и плевал я на всех!

Алияров с опаской покосился на дверь: не дай бог, чтобы эти истерические выкрики достигли посторонних

ушей!.. Братец явно хватил через край. Ишь расшумелся! А руками машет, что твоя мельница.

— Вот что, дорогой братец, — наставительно сказал Алияров, — не вздумай всего, что ты тут наговорил, повторять на людях. И без того на нас косо поглядывают. Скажут еще, что зазнался. Сами, мол, из батраков вышли, а теперь простого тракториста за человека не считают, глумятся над депутатом, орденоносцем. Уж будь спокоен, разведут демагогию.

У агронома нервно дернулась щека. Он метнул на брата гневный, презрительный взгляд. А тот, словно оправдываясь, продолжал:

— Пойми, ну что я мог сделать? Я попытался было за тебя заступиться, так он на меня, как ястреб, накинулся. Сказал, что ты не работаешь, а склоками занимаешься.

— Кто так сказал?

— Да Исмаиллы, секретарь райкома. Наш властелин!..

Агроном, однако, не уловил заключенной в этих словах иронии и пришел в еще большую ярость:

— Да пошел он к черту!

— Напрасно ты так кричишь.

— И буду кричать!.. Рта мне не заткнете!

Алияров решил промолчать. Он не одобрял поведения Меджида. А тот с подозрением взглянул на брата. Уж не случилось ли чего серьезного? Не собираются ли тучи над головой Гамида? И вместо того, чтобы посочувствовать брату, агроном язвительно спросил:

— Что с тобой, братец? С чего это ты стал таким трусливым? Ты ведь всегда бахвалился, что твой меч рубит без промаха.

Насмешка задела Алиярова за живое. Он сухо проговорил:

— Каждая шутка хороша к месту. Пока не родился еще такой человек, которого испугался бы Гамид Алияров! И не таких, как Исмаиллы, в бараний рог сгибали. Цыплят по осени считают.

— Что же ты тогда такой кислый, будто зеленое яблоко съел?

— За это я тебя должен поблагодарить. Почему ты не указал этому кретину Мусаеву его место? Почему позволил сесть тебе на шею? Он же, как руководитель,

гроша ломаного не стоит. Безграмотный тупица, не способный поделить ячмень между двумя ослами!..

— А что я тебе говорил?

— Братец милый, свет очей моих, да ты не говорил, а кричал так, что на весь мир было слышно. Нельзя же так. — Алияров перешел на доверительный шепот. — Ты не допускаешь возможности, что моя секретарша передаст все Тарлану?

Агроному ничего не оставалось, как согласиться с братом. Верно, криком делу не поможешь. Надо поработать не за страх, а за совесть, взять вожжи в свои руки, показать всем, кто в МТС подлинный хозяин!

Гамид Алияров продолжал поучать Меджида:

— Рассуди сам. Не сегодня-завтра к вам прибудут трактористы из Саатлинской МТС. С их помощью ваша МТС завершит вспашку досрочно, и ты с носом останешься. Скажут, главный агроном всю осень баклуши бил, только мешал всем, а вот без него работа пошла на лад.

— Ха!.. Будто дело только в осенней вспашке, — усмехнулся Меджид. — А ремонт? Машины ржавчиной покрылись, сеялки не чищены. Их и за год не приведешь в божеский вид.

— Ну и что? Тебя же и спросят: куда главный агроном глядел?—спокойно возразил Алияров.—Нет, братец, так дело не пойдет. Надо Халила под удар подставить, пусть он за все отдувается. Собери против него такой материал, чтобы сам аллах не мог вырвать Мусаева из когтей правосудия. Понял? Я сейчас должен уехать. Ступай ко мне домой, пораскинь мозгами на досуге. Вечером встретимся, авось что-нибудь придумаем.

19

В этот день Гюльпери поздно вернулась домой. С утра до ночи не разгибали спины девушки из ее бригады. Коробочки начали осыпаться, надо было спешить с уборкой. Девчата даже не заметили, как закатилось солнце. Они готовы были работать хоть всю ночь. Но, как назло, кончился керосин в фонарях, луну закрыли тучи. Волей-неволей пришлось разойтись по домам.

Гюльпери, не раздеваясь, бросилась на постель. И, как всегда, когда она оставалась одна, ее обступили воспоминания. Она думала об Идрисе, о коротком своем счастье, и сердцу было сладко и больно...

Они поженились незадолго до войны. Жизнь простиралась перед ними раздольным зеленым полем, щедро залитым солнцем, овеянным свежими, пьянящими ветрами.

Но над миром в это время уже сгущались черные тучи.

В то памятное июньское воскресенье Идрис и Гюльпери поднялись рано утром и отправились в поле. Работалось легко, радостно. Кетмени дружно вонзались в податливую землю. То тут, то там рассыпалась веселыми искрами острая шутка, вспыхивал смех, легким пламенем взвивалась к небу бодрая песня.

Услышав, что фашисты ночью обрушили бомбы на мирно спавшие советские города и села, колхозники сначала не могли поверить страшной вести. А когда дошел до их сознания весь ужас совершившегося, они потрясенно замолкли, ледяной холод сковал их сердца, и в полях погасли костры радости и веселья.

Идрис вместе со своими сверстниками ушел на фронт.

Гюльпери провожала мужа. До станции было километров десять—двенадцать, но они не замечали дороги. Шли, подбадривая друг друга, хотя и понимали, что никакие слова утешения не в силах снять тяжести с сердца. Ведь совсем недавно они слили свои судьбы в одну и вот уже расстаются, и разлука — они предчувствовали это — предстоит трудная и долгая.

Поезд, который должен был увезти Идриса и его товарищей, прибыл на станцию с большим запозданием. Но ожидание не тяготило Идриса и Гюльпери. Время, казалось, ускорило свой ход, они говорили и не могли наговориться, пытались вспомнить что-то очень важное и не в силах были вспомнить, им хотелось о многом рассказать друг другу...

Поезд ворвался на станцию в самый разгар их беспорядочной прощальной беседы. Стоянка была короткой. Никогда еще Идрису не было так тяжело. Он смотрел и смотрел на Гюльпери затуманенными от слез глазами, а потом, не обращая внимания на окружающих, крепко

прижал к груди и долго-долго не отпускал ее от себя. И никого не удивил этот поцелуй, хотя, по древним крестьянским обычаям, не было для мужчины и женщины худшего позора, как целоваться на людях.

То и дело оглядываясь, Идрис побежал к вагону. Сердце молодой женщины болезненно сжалось. Она провела рукой по щеке и тут же отдернула намокшую ладонь. «Боже, я плачу!.. Нехорошо это, провожать его слезами...»

Она кинулась к вагонам, но Идриса нигде не было видно. Отъезжающие толпились в дверях теплушек, махали руками, прощаясь с друзьями и родными. Гюльпери, не сдержавшись, крикнула тревожно и пронзительно, как раненая птица: «Идрис!.. Идрис!..» И в то же мгновение над головами парней, сгрудившихся в дверях, показалось взволнованное лицо Идриса.

— Гюльпери!..

И до самого отправления поезда они не отрывали друг от друга глаз, полных прощальной тоски. Гюльпери попробовала пробиться сквозь толпу поближе к вагону, но ей не удалось продвинуться ни на шаг. Она лишь кричала срывающимся голосом:

— Идрис!.. Пиши чаще!.. Не заставляй меня волноваться!

Поезд тронулся. Гюльпери вначале шла рядом с вагоном, не сводя глаз с мужа, но поезд все набирал скорость, и она побежала по перрону в каком-то беспамятстве, расталкивая других провожающих. Она бежала и кричала:

— Пиши, Идрис!.. Слышишь, пиши!..

Идрис молчал и только махал рукой. И от его молчания у Гюльпери разрывалось сердце.

— Пиши, Идри-ис!..

Она все бежала и бежала за поездом и остановилась лишь тогда, когда перестала различать лицо мужа. Поезд удалялся, а она стояла и провожала его молящим, тоскливым взглядом, пока он не скрылся за холмом. И только тогда, осознав всю тяжесть, всю неотвратимость случившегося, Гюльпери громко разрыдалась. Плечи ее судорожно вздрагивали, крупные жгучие слезы лились по щекам. Ей хотелось крикнуть вслед поезду так, чтобы ее услыхал муж: «Скорей возвращайся, Идрис!.. Я буду ждать тебя!»

Но слова эти остались у нее в сердце, — и поезд, и Идрис были уже далеко.

Вот донесся до нее протяжный, приглушенный расстоянием гудок паровоза. И наступила тишина, такая тяжелая, плотная, что у Гюльпери зазвенело в ушах. Она оглянулась — рядом никого не было. Она чувствовала себя совсем-совсем одинокой, к горлу снова подкатил соленый комок, но она удержала слезы и даже упрекнула себя: «Чего ревешь?.. Не у тебя одной горе».

Вскоре кто-то окликнул Гюльпери:

— Доченька!.. Иди, арба тебя поджидает.

К ней шел худощавый, рослый старик с обветренным, загорелым лицом. Это был дядя Идриса, колхозный кузнец Намаз-киши. Когда Гюльпери прощалась с Идрисом, старик, не желая мешать им, отошел в сторону и все это время издали следил за Гюльпери.

— Идем, доченька.

Краска залила лицо молодой женщины. Старик, наверно, видел ее слезы и теперь осуждает ее за то, что она не сумела совладать со своими чувствами!..

Но Намаз-киши ни словом не упрекнул Гюльпери, а, напротив, принялся утешать ее:

— Не убивайся, дочка. Вспомни-ка пословицу: если весь народ в горе, он горе одолеет. Наши дети с помощью аллаха раздавят этих гадов и воротятся живыми и невредимыми.

Отвернувшись, чтобы старик не заметил на ее лице следы слез, Гюльпери тихо ответила:

— Так и будет, дядюшка...

Она незаметно вытерла краешком фартука щеки и, опустив голову, зашагала впереди старика к станции. А тот, стараясь не отстать от нее, говорил:

— Много я на своем веку видывал всяких войн: японская, мировая. С турками еще... Разве упомнишь, как они все прозывались.

В другое время наивная речь старика вызвала бы у Гюльпери улыбку, сейчас же она только покачала головой:

— Нет, дядюшка, эта война будет не такой, как прежние. Слыхали радио? За одну ночь столько городов разрушено!..

— Все равно им нас не сломить! — твердо сказал Намаз-киши. — Не по зубам орешек.

Они сели на арбу, старик стеганул волов кнутом и, когда тронулись с места, повернулся к Гюльпери:

— Притомилась, доченька? На станцию-то пешком шли. Отдохни пока.

До села они добрались уже ночью. В густой синеве неба ярко мерцали звезды. Село было сковано жуткой, непривычной тишиной: казалось, вместе с парнями ушла из него и жизнь. Гюльпери даже согнулась под гнетом этой тишины.

Уединившись в своей комнате, она предалась невеселым думам...

Дом, в котором предстояло ей томиться одиночеством, построил недавно сам Идрис. Гюльпери тогда повесила на окна белые занавески, тщательно вымыла пол, украсила стены большими коврами, своим приданым, и разместила на них радующие глаз картины.

Они купили две новые кровати. Одна из них теперь пуста. А ковры и картины, вся обстановка в доме напоминают Гюльпери о прошлом, которого уже не вернешь. На что ей все это?.. Дом осиротел без Идриса.

И, оглядывая немудреное убранство комнаты, Гюльпери испытывала не радость, а вялое равнодушие.

Она легла в постель, но долго не могла уснуть. Ей было зябко — то ли от тревоги за мужа, то ли просто оттого, что не чувствовала она на своей щеке горячего мужниного дыхания, к которому уже привыкла и от которого обычно так сладко замирало сердце.

Где-то он сейчас, на какие дороги закинет его война?..

Всю ночь Гюльпери металась в постели, ее мучили неотвязные мысли о муже, она снова и снова провожала его, и исчезал за холмом последний вагон, и она возвращалась в село, усталая, разбитая... Истерзанная этими видениями, Гюльпери забывалась в коротком сне и тут же пробуждалась от новых кошмаров.

С того дня прошло почти четыре года. Но жива была в сердце Гюльпери память об Идрисе, и любовь к нему, как костер на ветру, разгоралась все пуще: ведь от сурового дыхания ветра гаснет лишь слабое пламя.

Тоску по мужу Гюльпери прятала глубоко в сердце, на людях больше молчала, а если кто и поминал Идриса добрым словом, она, потупив глаза, старалась удержать рвущийся из груди тяжкий вздох.

- Каждый день после работы Гюльпери запиралась в своей комнате, чтобы никто не мешал ей думать о муже, вести с ним в мыслях нескончаемые беседы...

20

Так было и в тот день, когда встретились, как заговорщики, братья Алияровы.

Изнуренная тяжелой работой и думами о муже, Гюльпери скоро уснула.

И, как бывало почти каждую ночь, ей приснился Идрис.

Он был один в бескрайней степи. «Воды!.. Воды!..» — шептали его пересохшие губы. Увидев Гюльпери, он еще раз простонал: «Воды!..» — и, обессиленный, рухнул на колени. Гюльпери бросилась к нему, схватила под руки, подняла. Лицо его было в крови. «Идрис!.. Кто это тебя?» — спросила она, осторожно обняв его за плечи. Но вместо ответа он снова попросил пить. Она оглянулась, ища глазами воду, но все вокруг было объято пламенем. Горели деревья, горела трава, горели земля и небо!.. Гюльпери, оставив мужа, металась по степи, но не могла пробиться сквозь плотную стену яростно бушевавшего огня. Ее тоже начала мучать жажда, губы растрескались, щеки пылали. В ужасе вернулась она к мужу: «Что делать, Идрис? Я не нашла воды!» А Идрис только повторял: «Помоги, Гюльпери!.. Помоги! Достань хоть каплю!» И вдруг она увидела, что Идрис вовсе не ранен и на его лице нет крови. Он крепко обнял жену и стал ее успокаивать: «Видишь, милая, я цел и невредим. Только пить... ужасно хочется пить! Сколько уж дней я в огне. Пойдем поищем воду». И они принялись искать воду в пустынной степи, охваченной от горизонта до горизонта нестерпимо жарким пламенем...

Гюльпери, вздрогнув, проснулась, но долго еще не могла прийти в себя. Все тело горело как в лихорадке. Она поднялась, взяла с полки кружку, наполнила водой из медного, стоявшего в углу кувшина и утолила жажду. Жар все не проходил. Может, в комнате слишком душно? Она распахнула настежь дверь и окна. С улицы ворвался студеный ветерок, пахнущий привядшей травой. Гюльпери села на кровать, жадно вдыхая ночную прохладу. Но огонь не переставал жечь ее тело, и мни-

лось ей, будто сжимает ее в жарких объятиях Идрис — не тот одинокий, стонущий от жажды и ран солдат, какой привиделся ей во сне, а прежний Идрис, сильный и ласковый. И горячее дыхание мужа коснулось ее щеки...

И тут же видение исчезло. Гюльпери вздохнула со всхлипом и собралась уже было раздеться и снова лечь в постель, как в дверь постучали.

Гюльпери замерла. Кто бы это мог быть?.. Родные уже спят, да по ночам никто и не ходит в гости. Наверно, ослышалась.

Но только она принялась разбирать постель, как стук повторился. Гюльпери устремила в темноту испуганный взгляд.

— Кто там?..

— Это я, Гюльпери!.. Открой.

Голос был незнакомый. Но пришедший, должно быть, хорошо знал Гюльпери, иначе не осмелился бы стучаться к ней в такой поздний час. Женщина затаила дыхание, сердце билось часто-часто. «Открывать или не открывать? Что привело сюда этого человека? А может, он с вестью об Идрисе?..»

— Кто ты, братец?

— Открой, это я, Алияров,— донеслось из-за двери,— председатель райисполкома. Понимаешь, машина сломалась...

— Алияров? — с нескрываемым удивлением переспросила Гюльпери.

— Ну да. Что ты, не помнишь? Я же на свадьбе у тебя был!..

И правда, Алияров, любивший иногда козырнуть своим «демократизмом», был в свое время почетным гостем на свадьбе Гюльпери и прославленного колхозного бригадира Идриса. Он привел с собой своих друзей, тоже занимавших в районе ответственные посты. Это придало свадебному празднеству некоторую торжественность, к счастью не послужившую помехой шумному веселью.

С утра до поздней ночи не смолкала зурна, парни и девушки водили хоровод «яллы», а потом, накинув на жениха и невесту келагай[1], затеяли игру в «джут-джут»[2].

---

[1] Келагай — головной платок.

[2] «Джут» — пара.

А когда сели за стол, Алияров поднял тост за здоровье молодых.

— Пусть они не ведают горя! — сказал он. — Слава молодежи социалистического села!..

Гости дружно захлопали. Алияров до дна осушил стакан с вином и разбил его об пол.

Произнося свой тост, он неотрывно смотрел на жениха и невесту, но лица Гюльпери не было видно за тюлевым покрывалом, она же видела всех, видела, как горят глаза у Алиярова, как пылают его щеки, и ей казалось, что председатель райисполкома искренне радуется их счастью и взгляд его светится отеческой заботой, а щеки покраснели от выпитого вина.

Прошло четыре года, но Алияров не забыл эту свадьбу!

Правда, в село, где жила Гюльпери, он выбирался редко и с самой Гюльпери за все это время почти не виделся. «Второй голос» решительно предостерегал его от встреч с этой женщиной.

Но сегодня, видно, самой судьбой предназначено ему было встретиться с Гюльпери. Машина Алиярова застряла как раз возле ее села. И, следуя зову распаленного воображения, рисовавшего перед ним сладостные, манящие картины, Алияров, оставив с машиной шофера, направил свои стопы к дому Гюльпери. Расчет у него был простой: вот уже четыре года молодуха живет без мужа, а женщина она здоровая, в самом соку и уж, верно, крепко стосковалась по мужской ласке. Такая обнимет так, что кости затрещат!.. Внимание председателя райисполкома должно польстить этой простушке, и она приголубит, утешит его, поможет отвлечься от докучных забот и тревожных, злых мыслей. А главное, будет держать язык за зубами.

Гюльпери, конечно, была далека от каких-либо подозрений. Когда Алияров напомнил ей о свадьбе, перед ее мысленным взором промелькнули светлые, немеркнущие образы прошлого. Все связанное с этим счастливым прошлым было дорого Гюльпери. И она засуетилась, зажгла лампу, стоявшую на подоконнике, сорвала со стены, возле которой были аккуратно сложены пестрые одеяла и тюфяки, белый, с синей каймой келагай и, накинув его на голову, заспешила к двери.

— Заходите, пожалуйста.

Свет лампы упал на лицо Алиярова, он часто замигал маленькими острыми глазками и прилип к Гюльпери долгим, пронзительным взглядом. Гюльпери растерялась. Она хотела было повторить приглашение, но Алияров заговорил сам:

— Уж извини, дочка, за ночное вторжение. Был на собрании в соседнем селе, собрание, как всегда, затянулось. А тут еще машина закапризничала: встала, и ни с места. Куда мне было деваться глядя на ночь? Односельчан твоих я почти не знаю, а Идрис был моим другом. М-да... Приютишь меня до утра?

Гюльпери вполне удовлетворило это объяснение. Она верила людям. И уж совсем не было причин не верить такому почтенному, уважаемому человеку, как Алияров.

— Идриса-то нет. Но все равно, заходите, — радушно сказала Гюльпери. — Был бы он сам дома, он бы вас получше принял. Уж не обессудьте. Проходите, садитесь. Проголодались, верно, с дороги-то? Я сейчас чай вскипячу, поужинаете.

Алияров, по-своему истолковав ее приветливость, уже торжествовал победу. Он медленно, важно прошел к письменному столу и сел на стул. Гюльпери, видимо, испытывала чувство неловкости, она вопросительно смотрела на гостя и все повторяла:

— Садитесь... Я сейчас...

Алияров поднял голову. Что это с ней? Она, кажется, собирается покинуть его?

— Ты не утруждай себя, — произнес он дрогнувшим голосом, — я есть не хочу. Постели мне на полу, я отдохну немного, и довольно с меня.

Но Гюльпери, не обратив внимания на его просьбу, исчезла за дверью. «Что ж это она меня одного оставила? — заволновался Алияров. — Еще позовет когонибудь, опозорит на весь район. Или ей невдомек, зачем я пришел? Черт подери, неладно получается. Твержу об осторожности, а сам... И леший меня понес к этой девке! Что люди скажут, если увидят меня здесь? — И он принялся лихорадочно подыскивать возможные оправдания. — А что тут такого? Идрис мне... вроде сына. Вот я и попросил у его жены пристанища. Не на улице же мне

ночевать. Разве я виноват, что машина меня подвела? Попрошу прислать арбу, притащить машину в село...» «Почему же ты выбрал дом одинокой женщины? — возразил Алиярову невидимый собеседник. — Разве нет у тебя в селе других знакомых? Пошел бы к председателю колхоза или к кому-нибудь из бригадиров». Но у Алиярова и на это готова была отговорка: «Гюльпери мне ведь тоже... вроде как дочь. Я давно не видел ее, вот и решил узнать, как она живет, справиться о здоровье. У нее муж на фронте, нельзя оставлять бедняжку без заботы и внимания».

Вскоре, однако, ему надоело пререкаться с самим собой. «Э, будь что будет!» — сказал он себе и, лениво потянувшись, поднялся. Обежав скучающим взглядом развешанные на коврах картины и фотографии, он подошел к окну и уставился в темноту, прислушиваясь к каждому шороху. Гюльпери все не появлялась. Казалось, после ее ухода прошло не десять—пятнадцать минут, а несколько часов. Мрачные сомнения закрались в душу Алиярова. Все его надежды рушились. «Чертова девка!.. Боится, видно, как бы кто-нибудь не застал нас вдвоем. Родственников, что ли, пошла будить? Пришлет когонибудь, а сама поминай как звали! Или, того лучше, уговорит председателя дать мне колхозный грузовик, чтобы я поскорее убирался...»

В это время в комнату торопливо вошла Гюльпери. Схватив самовар, она направилась во двор, бросив на ходу:

— Скучно вам одному? Я мигом.

— Я же сказал, не надо мне ничего, — сердито проговорил Алияров, — с полчаса назад я и пообедал, и чаю напился.

Гюльпери была уже во дворе, оттуда донесся ее голос:

— Как же так можно? Вы так редко к нам заглядываете. Не хватало, чтоб я отпустила вас, не угостив.

— Да говорю тебе, сыт я. Напрасно беспокоишься.

Гюльпери промолчала. Алиярову она казалась сейчас воплощением хитрости и коварства. Он яростно кусал губы и клял себя за то, что вздумал явиться в этот дом, в эту ловушку. Но что ему было делать, если его машина действительно застряла на дороге?

Гюльпери, однако, действовала без всяких задних мыслей. Ей просто хотелось отблагодарить Алиярова, дорогого гостя, свидетеля самых светлых минут в ее жизни, за то, что он когда-то присутствовал на ее свадьбе и от души пожелал ей и Идрису доброго здоровья и счастья. И разве не оказал он ей честь сегодняшним своим приходом? Попав в беду, он первым делом вспомнил об Идрисе и о ней, Гюльпери, и не постеснялся разбудить ее посреди ночи. С друзьями ведь не чинятся. И она постарается доказать, что стоит дружбы такого почтенного, доброго человека, она примет и проводит его, как велят законы гостеприимства.

Гюльпери разожгла во дворе очаг, положила углей в самовар и, бросив масла в небольшой медный казан, пристроила его над огнем. Вернувшись в комнату, она взяла несколько головок луку, очистила их, то и дело вытирая слезы, и положила в казан. «Пусть гость потерпит немного, — подумала она озабоченно, — зато ужин будет на славу».

Алияров, настороженно следивший за каждым ее движением, по запаху, тянувшемуся со двора, догадался, что Гюльпери готовит что-то очень вкусное. И хотя он и уверял до этого, что сыт, однако дразнящий аромат разбудил в нем волчий аппетит.

Он выглянул во двор. Гюльпери возле очага перебирала рис, с трудом сдерживая сладкую зевоту. Видно было, что она не скоро займется гостем. От нечего делать Алияров стал рассматривать аккуратные стопки книг, высившиеся на подоконнике. Тут были «Отверженные» Виктора Гюго на азербайджанском языке, «Анекдоты Молла Насреддина», «Баяты», «Тавриз туманный», «Советы агронома». В отдельной стопке собрана была политическая литература. Алияров перелистал брошюры из этой стопки и заметил на страницах следы пальцев.

«Ишь, книги-то она не для вида держит, — подумал он с удивлением, — больше меня читает». И Алияров зевнул. Сам он ничем не интересовался, а духовные запросы своих земляков, их тягу к культуре считал пустой блажью. «Главное, чтоб желудок был полон, — говорил он своим друзьям, — а всякие там романы, духовная, так сказать, пища, — это, простите, излишняя роскошь». Вы-

ступая на собраниях, он разглагольствовал: «Настоящий марксист тот, кто думает только о хлопке, кто и во сне видит хлопок!» Он очень гордился этим своим «афоризмом», а если кто-нибудь вступал с ним в спор, то пренебрежительно отмахивался: «Э, братец, с меня план требуют, а не высокий культурный уровень».

Но вошла Гюльпери, и Алияров без особого сожаления оторвался от книг. Молодая хозяйка сменила на столе скатерть и с виноватым видом обратилась к гостю:

— Вы простите меня, ужин наспех сготовлен. Вот воротится он с фронта, тогда уж я вас угощу, устрою пир на весь мир.

— Гюльпери-ханум! — сказал Алияров. — Зря ты это затеяла. Постели мне, я посплю. Третий день на ногах!..

Он задержал похотливый взгляд на ее полных, смуглых щеках, на тонкой талии, и только теперь, приметив в глазах гостя нехороший огонек, Гюльпери заподозрила неладное. Она покраснела и отвернулась. Алиярова обрадовало ее замешательство, в сердце вновь затеплилась надежда. «Для начала неплохо, — подбодрил он себя,— видно, и дальше все пойдет как по маслу».

— Это ты читаешь, Гюльпери-ханум? — спросил он, кивнув на подоконник.

— Это его книги. Но я их тоже читаю.

— Чьи, говоришь?

— Ну... Идриса.

— Ах, вон оно что. А я думаю, о ком это она говорит! Молодец. Чтение — вещь полезная.

— Вот только новых книг мало. Никак не могу достать.

— Ну, это ты зря. В магазины каждый день поступает какая-нибудь новинка.

— Я, когда была в райцентре, справлялась. Кроме вот этого, — она показала на брошюры, — магазин ничего не получил. Хорошо еще, что газеты выписываю. Там и стихи печатают, и рассказы. Какие хорошие стихи у Самеда Вургуна и Ахмеда Джамиля! Вам они нравятся?

Алиярову наскучила болтовня Гюльпери. Дай ей волю, так она начнет пересказывать содержание всего, что ей удалось прочесть. Самое время сейчас заниматься разбором литературных произведений!

Он оставил ее слова без ответа и взял в руки томик Гюго.

— Занятная книжонка. Хотя, говоря по правде, не очень-то я верю этим писакам. У них на одно правдивое слово сотня лживых. Верно?

— Что вы!.. — с каким-то даже испугом возразила Гюльпери и взглянула на том «Отверженных». — Когда я этот роман читала, так не спала три ночи подряд. Прямо не могла оторваться.

Боясь попасть впросак, Алияров уклончиво заметил:

— Читаешь, читаешь, а в памяти ничего не удерживается.

— Что вы такое говорите!.. — воскликнула Гюльпери. — Я вот все, все помню. А бедняжка Фантина так и стоит перед глазами, как живая. Неужто все так и было, как тут написано?

— А ты и поверила? — Алияров скептически прищурился. — Эти писаки горазды на выдумку. Недавно пожаловал к нам в район один такой сочинитель. Колхозники дни и ночи в поле проводят, хлопок убирают, а этот бездельник пристал, как банный лист: созовите, говорит, людей, я стихи буду читать.

— И что же, читал? — с живым интересом спросила Гюльпери.

— Пусть спасибо скажет, что я с ним еще вежливо обошелся. Вот кончится война, говорю, освободимся мы от тяжких забот, тогда и приезжай. И что же ты думаешь? Он до сих пор тут околачивается. «Я, говорит, изучаю колхозную действительность, книгу о вас напишу». Представляю, что он насочиняет, когда вернется в Баку!

— Вы не помните его фамилии? Я многих знаю.

— Прости, я даже не спросил, как его зовут. Не до него мне, милая.

— Жаль...

Гюльпери прервала разговор и, извинившись, выбежала во двор. Спустя несколько минут она вернулась с дымящимся пловом.

И тут же за дверью раздались чьи-то шаги. Алияров принялся вспоминать заготовленные впрок оправдания. Дверь открылась, и на пороге появился незнакомый Алиярову высокий старик. Он подошел к гостю и протянул ему руку:

— Здравствуй, товарищ исполком. — Старик носом втянул воздух. — Эх, любила же меня покойная тещень-

ка! Поспел к самому ужину. Не много сыщется таких счастливчиков, которых ночью потчевали бы пловом. Уж полакомимся.

— Это Намаз-ами, дядя Идриса, — смущаясь, представила старика Гюльпери.

Она разложила плов по тарелкам. Алияров в душе поносил ее на чем свет стоит: «Вот сукина дочь, недотрога!.. Позвала-таки старого хрыча! Подстраховалась! Ишь скромница!»

Он сидел насупясь, наморщив и без того низкий лоб, его жесткие волосы встопорщились, словно иглы у ежа, маленькие, злые глаза, налитые яростью, впивались то в старика, то в Гюльпери. Но тут же Алияров одернул себя: «Эй, дорогой, опять позабыл об осторожности? Нельзя так открыто проявлять свое недовольство».

Он опустил глаза, а когда снова их поднял, то в них уже светилась вкрадчивая ласка.

Поглощенный этим лицедейством, он даже забыл ответить на приветствие старика. А тот, как только присел за стол, забросал Алиярова вопросами:

— Как здоровье, товарищ исполком? Давненько ты к нам не наведывался. Что нового на белом свете? Когда кончится эта война проклятая?..

Алиярову уже не нужно было напрягать силы, чтобы скрыть свою злость и раздражение. Насупленные брови как нельзя более соответствовали теме разговора.

— До победы вроде уже недалеко, — сказал он, подавляя мрачный вздох, — только, судя по всему, немало еще мук примет народ. Немцы болтают о каком-то новом оружии. Устрашить нас хотят. Посмотрим, что из этого выйдет.

— Новое оружие, говоришь? — в умных, проницательных глазах старика мелькнула тревога. — Неужто оно страшней нашей «катюши»?

— Не знаю, что и ответить. Пока все, как говорится, в тумане.

Алияров снова нахмурился. Вот проклятый старик! Привязался со своими разговорами. Его все раздражало в Намазе-киши, но с особой неприязнью смотрел председатель райисполкома на его щеки, гладкие, покрытые бронзовым загаром, не утерявшие еще своей свежести. Здоровью этого старика можно было позавидовать!

Гюльпери поставила перед гостями тарелки с пловом,

а сама примостилась возле окна, на маленьком стуле, с волнением прислушиваясь к беседе Намаза-киши и Алиярова. Каждое упоминание о войне болью отдавалось в ее сердце.

Тут она заметила мрачную мину на лице Алиярова и поспешила вмешаться в разговор, судя по всему неприятный для гостя:

— Плов остывает. Угощайтесь.

Алияров обрадовался поводу прекратить затеянную стариком беседу, морщины на его лбу разгладились.

— Гюльпери-ханум! — обратился он к хозяйке. — А ты-то что же? Грех не отведать такого плова. Меня не стесняйся, я и зашел-то сюда только потому, что считаю дом ваш вроде как своим.

— И хорошо сделали. Но я поела как раз перед вашим приходом.

— Нет, так не годится, — Алияров тщился выставить себя перед стариком другом этой семьи, — ты устала после работы, несмотря на это, ужином занялась. А теперь отказываешься поесть вместе с нами! Это не дело. Если б я знал, что ты только ради меня стараешься, так, ей-богу, сразу ушел бы.

Гюльпери ответила, что ей не в тягость забота о таком дорогом госте, и настойчиво повторила:

— Вы ешьте, обо мне не беспокойтесь.

Намаз-киши выбил трубку, сунул ее в карман, придвинул к себе тарелку и, отложив ложку в сторону, принялся есть плов руками.

— Гюльпери у нас скромница, товарищ исполком, — похвалил он хозяйку. — Не чета нынешним вертушкам. Меня и то стесняется. Так-то. Да она помрет с голоду, а не сядет за один стол с гостями.

— Зря, дедушка, вы на наших девушек наговариваете, — вступилась за своих подруг Гюльпери, — кабы не они, так пропал бы хлопок.

— Да я не о том. Это верно, работают они так, что любо-дорого поглядеть, а вот старших не почитают.

— Вот и неправда!.. Мы всех уважаем, и старых и малых. Но и девушки вправе требовать уважения. — Гюльпери улыбнулась. — Горе тому, кто попытается умалить их успехи! Вот уж тогда они вправду превращаются в тигриц.

Хотя Алияров, по его словам, не был голоден, однако

на плов набросился с такой жадностью, что ни словечка не уловил из спора Гюльпери и Намаза-киши. А Гюльпери то и дело поглядывала в его сторону. Она была чуткой, заботливой хозяйкой, от нее не укрылось, что гость чем-то обижен. Уж не тем ли, что она пригласила Намаза-киши? Но что бы сказали люди, прослышав, что в ее доме ночью был посторонний мужчина? Нет, она не могла поступить иначе, и если Алияров сердится на нее за это, значит, нехорошее у него на уме...

Взяв с подоконника книгу, Гюльпери углубилась в чтение, решив больше не смотреть на Алиярова. Голову она склонила чуть набок, словно нежная расцветшая фиалка, взгляд рассеянно бродил по страницам, а мысли были далеко-далеко, там, с Идрисом... Ей припомнился недавний сон. «Хорошо, что это только сон!» — подумала она с облегчением. А потом снова вспомнила о своих обязанностях хозяйки и, встрепенувшись, подняла голову. Лицо Алиярова выражало довольство и сытость. «Вот и славно! — обрадовалась Гюльпери. — Видно, по вкусу ему пришелся мой плов».

Алияров, за отсутствием салфетки, носовым платком вытер губы и подбородок и, отодвинув тарелку, сказал:

— Спасибо, хозяюшка. Мне ведь и есть-то совсем не хотелось, да плов у тебя такой аппетитный, что трудно было устоять перед соблазном. Поверишь, до сих пор во рту его вкус!..

Гюльпери поспешно встала и, подойдя к столу, потянулась за пустой тарелкой.

— Давайте я еще принесу!

— Нет, нет! — Алияров придержал тарелку. — Сколько можно есть!.. Большое спасибо.

Гюльпери вернулась на место. Намаз-киши, разделавшись со своей порцией, вознес хвалу аллаху, вытер губы рукавом архалука и повернулся к Гюльпери.

— Спасибо, доченька. Дай бог, воротится Идрис живым-здоровым, ты тогда на все село наготовишь плова. Уж вволю наедимся!..

— Так ты не наелся? — смеясь, спросила Гюльпери и устремилась было к столу, но ее остановила лукавая, добродушная улыбка Намаза-киши. Она поняла, что старик шутит.

Алияров с завистью и удивлением смотрел на открывшиеся в улыбке зубы Намаза-киши, крепкие, жемчуж-

но-белые, плотно прижатые друг к другу, отливающие после плова жирным, глянцевитым блеском. «Наверно, искусственные», — успокоил он себя и, желая проверить свои подозрения, льстиво заметил:

— Ай, ами, боюсь сглазить, но зубы у тебя как у юноши.

— Э, это прежде они были хоть куда! — Старик щелкнул себя по верхней губе. — Вот эти два уже шатаются.

— Как это тебе удалось сохранить их?

— Эка хитрость!.. Покойный мой отец прожил на свете сто десять лет, и все зубы у него были здоровые. А возьми других крестьян... Целые дни они на воздухе, в поле да в горах. Я вот смолоду ни вином, ни табачком не баловался. Это с горя к трубке-то пристрастился. От нее, верно, зубы и портятся.

«О чем такому горевать!.. — неизвестно почему разозлился Алияров. — Не надоело тебе небо-то коптить? Зажился, старый!»

Он насмешливо взглянул на Намаза-киши и спросил:

— Что же у тебя за горе такое?

— За деток тревожусь. Четверых на фронт проводил.

— Сыновей?

— Внуков! — Намаз-киши вздохнул и как-то вдруг ссутулился, стал меньше ростом.—Давно уж от них вестей нету. Род-то наш древний, товарищ исполком. Кто продолжит его? На войне ведь всякое бывает... Ты, однако, не подумай, что я им трусость прощу, лишь бы выжили. Но мои-то не побегут от рыжего, нет, не побегут.

Алияров нетерпеливо заерзал на стуле.

— Верно говоришь, старый. Мудро! — И он прикрыл ладонью сладкий зевок.

— Утомил я тебя, поди, своей болтовней, — извиняющимся тоном сказал Намаз-киши. — Постели гостю, дочка. Пусть товарищ исполком отдохнет малость. А ты ступай к нам, бабушка Шамама ждет тебя.

— Сейчас, ами.

Гюльпери переменила простыню на кровати, принесла одеяло в шелковом пододеяльнике.

— Вот и ладно,— одобрительно проговорил старик.— Пойдем, дочка. Дадим поспать товарищу исполкому. Гляди-ка, как умаялся! А я вот, как наслушаюсь про войну, так не до сна мне. Ворочаюсь всю ночь, как ошпа-

ренный. Ты спи, спи. А я запрягу волов, съезжу за твоей машиной. Шофер-то твой там остался? Вот бедняга!.. Я пришлю его, пускай и он отдохнет.

Намаз-киши извлек из кармана кисет с табаком, набил трубку и поднялся, собираясь уходить. Гюльпери попросила у гостя прощения за то, что не смогла принять его лучше, и, улыбнувшись, ласково сказала:

— Спокойной ночи, ами.

Она первая вышла из дому.

Алияров, оставшись один, закурил и нервно заходил по комнате. Даже если бы при нем обругали его отца, и то он не пришел бы в такое бешенство. «Вот уж не везет, так не везет. Провели, как мальчишку, — он сжал кулаки. — Это все старый пес подстроил».

Раздевшись, он повалился на постель, заботливо приготовленную хозяйкой, но сон не приходил. Алияров курил одну папиросу за другой, наполнил едким дымом всю комнату и сам от этого хрипел и надрывно кашлял. А когда во дворе раздался знакомый гудок его «эмки», он в ярости стукнул кулаком по подушке. И ярость эта обессилила Алиярова. Устают ведь не только от работы...

Повернувшись лицом к стене, Алияров заснул.

Шофер, войдя в комнату, тихо позвал его, но Алияров не откликнулся, только слышно было, как он сипит, кашляет, беспокойно ворочается во сне...

22

Разбудил Алиярова петух, заголосивший под самым окном. Алияров открыл глаза и рыскающим, мутным от еще не прошедшей дремоты взглядом стал шарить по комнате, ища Гюльпери. Вместо молодой хозяйки он увидел своего шофера, Теймура. Тот спал сидя, положив голову на стол. Могучий храп сотрясал комнату. Алияров хотел было окликнуть шофера, но передумал. Он ведь вчера ночью бросил Теймура на произвол судьбы, оставил одного в поле. Черт с ним, пускай отоспится!.. Может, оно и к лучшему, что он пришел: с этой шоферней ухо держи востро. Поговаривают, будто у Теймура язык слишком длинный. «Пригрел змею за пазухой! — Алияров злобно взглянул на спящего шофера. — Кормишь его, а он тебя продаст ни за грош. Подавиться б тебе моим хлебом!..»

Он выкурил папиросу, надымив как паровоз, и попытался снова уснуть, но в это время опять закричал петух, да так торжествующе громко, что Алияров выругался: «Ч-черт!.. Вот они, прелести сельской жизни. И деться-то от них некуда!» Он с головой укрылся одеялом, но это не помогло. Вздохнув, он откинул одеяло, посмотрел на часы. Было без пяти десять. «Ого!.. А я-то думал, еще раннее утро. Надо вставать».

— Теймур!.. Хватит спать! — крикнул он шоферу, но тот даже не шевельнулся.

Алияров, кряхтя, слез с постели, оделся и, подойдя к Теймуру, стал трясти его за плечи. Он тряс шофера с такой силой, словно хотел выместить на нем всю свою злобу, порожденную неудачами этой ночи, а заодно отомстить ему за болтовню, за черную его неблагодарность. «Подлая душа!.. Сколько я добра тебе сделал! А ты... Гляди, как бы это боком тебе не вышло».

— Довольно дрыхнуть-то! — приговаривал он с яростью. — Ишь развалился. Посади свинью за стол, она и ноги на стол. Что за привычка такая!

Теймур наконец разлепил ресницы и, ошалело уставившись на Алиярова, вскочил со стула:

— А?.. Что?.. Едем?..

— Нет, здесь остаемся! — процедил Алияров.

— Что-то вы не в духе, хозяин. — Теймур почесал затылок.— Что это на вас нашло?

— А чему особенно радоваться? Уж десять часов, а мы храпака задаем. Тебе, дорогой, приношу особую благодарность. Пока до села дошел, так чуть ноги не отнялись. Ты сам-то как, своим ходом добрался или к арбе прицепили?

— Своим ходом! — угрюмо ответил Теймур. — Намучился, пока мотор завел. Дала мне жизни старушка! — Он поднял с пола выпачканную в грязи куртку. — Видали?.. Часа три не вылазил из-под машины. Разве ж это автомобиль? Колымага старая, а не машина. Сколько раз просил, давайте купим запчасти. А вы только ругаетесь. Ну, никуда этот драндулет не годится! Ей-богу, другой на моем месте ни за какие коврижки за руль не сел бы. От этой развалины только и жди подвоха.

— Будет ворчать! — оборвал его Алияров, уж не впервые выслушивавший подобные жалобы. — Откуда новую-то взять? У моего отца нет автомобильного завода.

Алияров с каким-то остервенением задымил папиросой. Наступила долгая пауза. Председатель райисполкома раздумывал, как бы проверить, действительно ли Теймур такой болтун, как о нем говорят.

— Никто не видел тебя? — спросил он, выпуская серый клуб дыма.

— Вроде никто.

— А аробщик?

— Верно, мы с ним у самого села встретились. Он мне дорогу к этому дому показал.

— Уж, наверно, дали волю языкам!..

— Не до разговоров было, хозяин. Устал я, как собака.

Ответы Теймура и сам его тон, как обычно ворчливый и вялый, несколько успокоили Алиярова. Судя по всему, шофер не придал особого значения повышенному любопытству своего хозяина.

Алияров вышел на веранду и, возвратившись, недоуменно пожал плечами:

— Куда хозяева подевались?

— Позвать? — вскинулся Теймур. — Где их искать?

— Они вроде решили оставить нас без завтрака.

— У меня лично со вчерашнего утра крошки во рту не было, — мрачно сообщил Теймур. — Чей это дом-то?

Алияров подозрительно покосился на шофера.

— А тебе это так важно знать? Привык совать нос, куда не следует!

— Зря это вы, товарищ Алияров, — обиделся Теймур. — Уж будто я такой нахал...

— Я знаю, что говорю.

— Вот и не знаете. Да будь я хоть чуть попронырливей, так не сидел бы голодный. Вчера-то меня в два дома приглашали. Уж не пожалели бы угощения. Только я не пошел.

— Не я ли тебе помешал?

— При чем тут вы? Сами знаете, не сладко людям живется. Изо рта готовы кусок вынуть, чтобы гостю отдать, а у самих животы подводит.

В глазах Алиярова вспыхнул недобрый блеск.

— А я, значит, отнимаю у людей последний кусок? Это ты хочешь сказать?

— Ну вот... Вы председатель райисполкома.

— А председателю, по-твоему, уж и дела нет до того,

как живется колхозникам? Говорили мне про тебя всякое, да я не верил. Напрасно не верил! Теперь вижу, что не из своей тарелки ешь. В чужие дела лезешь!

— Много ли я вообще ем? — с укором спросил Теймур, но только подлил масла в огонь.

Забыв, где они находятся, Алияров истерично выкрикнул:

— Ты брось свои подковырки! Болтаешь обо мне повсюду, что в голову взбредет! Рот — что дыра в мешке.

— Да что я о вас такого говорил?

— Тебе лучше знать.

— Я только знаю, что народ говорит...

— Народ!.. Нынче каждый проходимец норовит выступать от имени народа. Ну и что же болтает этот «народ»?

— Вы у тех, кто болтает, и спрашивайте.

Алияров побагровел от ярости.

— Наглец! Это по твоей милости гуляют по району гнусные сплетни. Думаешь, я ничего не знаю? Ну, дожил!.. Собственная собака тебя кусает! — Теймур молчал, и это еще больше взвинтило Алиярова. — Следователь какой выискался! Еще допытывается, у кого я ночевал. «Интересно, чей это дом», — передразнил он шофера. — А чей бы то ни был, тебе-то какое дело?

Теймур, которому и невдомек было, за что так взъелся на него Алияров, стоял понурив голову и даже не пытался спорить с раскипятившимся хозяином.

Сердито дымя папиросой, Алияров вышел во двор. Возле очага, на котором вчера ночью Гюльпери готовила плов, хлопотала какая-то старуха. Услышав шаги, она подняла голову.

— С добрым утром, сынок. Я чай поставила. Гюльпери спозаранку в поле ушла. А меня, старую, попросила позаботиться о дорогом госте. Умойся, сынок, я сейчас завтрак соберу.

Только этого недоставало Алиярову — встретить вместо статной красавицы Гюльпери эту скрюченную от старости ведьму!

— Спасибо, — буркнул он, и слово благодарности прозвучало в его устах как проклятие. — Где мне умыться?

— Сейчас, сейчас, сынок, да перейдут на меня все твои недуги!

Обрадовавшись возможности услужить высокому гостю, старуха, путаясь в подоле длинной сборчатой юбки, засеменила в глубь двора, где находился небольшой сарай, и вернулась с тазом и кувшином.

— Вот, родимый, умойся. Нынче все, от мала до велика, хлопок собирают. А меня в селе оставили. Вроде как за начальство.

Наивная, искренняя заботливость старухи смягчила Алиярова. Он засучил рукава и, нагнувшись над тазом, сказал:

— Молодец, бабушка. Да какая ты бабушка! Прямо орлица, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить. Дети-то есть?

— А как же, родимый! И сынки есть, и внуки,— затараторила старуха, поливая Алиярову на руки. — Кабы не война, так уж всех бы переженила. Одного недавно в газете похвалили. Аллах свидетель, он еще под стол пешком ходил, а я его, кровиночку, больше всех любила. Этот, говорю, себя покажет. Вот и угадала. Сердце-то вещун!

— Что же, орден ему дали?

— Чего не знаю, соколик, того не знаю. Но уж так хвалят, так хвалят!..

— Как зовут его?

— Керем. Керем его имя, родимый.

— Припоминаю. В газете был помещен его портрет. Он за день уничтожил четырнадцать фашистов.

— Не знаю, соколик, не знаю, сколько уж он там поубивал этих нечестивцев, только, говорят, он такой же герой, как Гачаг Наби[1]. Аллах великий, как я услышала это, так будто второй раз на свет родилась. — Слезы радости блестели в глазах старухи, каждое ее слово дышало гордостью за героя внука. Вдруг тень набежала на ее морщинистое лицо. — Сынок, когда же война кончится?

Алияров, смывая мыло с лица, ответил:

— Скоро, бабушка, скоро.

— Чтоб этому проклятому Гитлеру потерять и не найти своих детей! Не дал людям жить спокойно! Уж я просила аллаха, чтоб он спалил злодея в адском огне! — Голос старухи дрожал от гнева. — Только, говорят, нет у него детей. Правда это или брешут люди?

[1] Гачаг-Наби — народный герой, историческая личность. Боролся в XIX веке против беков и царской администрации.

— Правда, бабушка.

Старуха возвела очи к небу.

— Справедлив аллах!.. Не дает детей таким кровопийцам!

Алияров, вернув старухе кусок простого, хозяйственного мыла, торопливо прошел в дом и вытерся чистым полотенцем. Утром он был злой, и злость уродовала его, теперь же, когда он умылся и немного рассеялся, лицо его прояснилось, глаза смотрели спокойно, почти ласково. Достав расческу, Алияров попытался привести в порядок свою жесткую шевелюру, но не добился успеха. Тогда он, как чалмой, обмотал голову полотенцем и в таком виде снова появился во дворе. Медленно прошелся взад и вперед, с наслаждением вдыхая чистый утренний воздух. Он охотно погулял бы и дольше, если бы перед глазами у него не маячил Теймур. Шофер тщательно, не спеша, умывался, и каждый раз, наталкиваясь на него взглядом, Алияров чувствовал ожог в груди. Подвернись ему в эту минуту другой шофер, он без раздумья вручил бы ему ключ от машины.

Старуха уже собрала завтрак, приготовленный ею заранее, пока гости спали. Она принесла свежий мед, сыр-мотал, домашнее масло, которое Гюльпери берегла для Идриса. Алияров, войдя в комнату, загоревшимися глазами посмотрел на стол, накрытый к завтраку. «Это мужичье лучше нас живет!» — подумал он с каким-то мрачным недоброжелательством и вдруг заметил на столе черный хлеб.

— Отчего это у вас хлеб такой? — обратился он к старухе.

— О чем ты, сынок?

— Хлеб, говорю, у вас неважный.

— В этом году, сынок, пшеничку еще не раздавали, чтобы мне умереть на твоих глазах. Это хлеб из прошлогодней мучицы.

— Сегодня же скажу вашему председателю, чтоб начинал раздавать хлеб. А за опоздание он ответит!

— Сынок, лучший хлеб мы послали нашим солдатам. Да ты не погнушайся, отведай этого. Он только с виду такой, а на вкус ничего, добрый хлеб. И предки наши им кормились, и мы едим, не жалуемся.

«Дьявол... Слова нельзя сказать, — мысленно выру-

гался Алияров. — Тотчас поймают на чем-нибудь. Больно много умников развелось!»

— Да я разве что говорю! — Он уже старался осторожней подбирать выражения. — Просто полюбопытствовал, почему вы черный хлеб едите, когда в колхозе полно золотой пшеницы. Я ничего не имею против черного хлеба. Но, согласитесь, к меду он как-то не подходит.

Довод этот и старухе, и Теймуру показался не слишком-то убедительным, но они промолчали. Теймур проглотил голодную слюну. Старуха живо повернулась к нему.

— А ты что стоишь, родимый? Присядь-ка, поешь.

— Спасибо, бабуся, я не голоден. — Шофер покосился на Алиярова и неторопливой походкой вышел из дому. Алияров бросил вслед ему испепеляющий взгляд.

Старуха подала гостю яичницу. Она радовалась, как ребенок, видя, с каким аппетитом поглощает он скромный завтрак.

Уже уходя, Алияров задержался на пороге и спросил:

— Да, бабушка, я так и не знаю, кем ты Идрису доводишься.

— Прости меня, грешную, да перейдут на меня твои недуги, — застыдилась старуха. — Я, сынок, подруга жизни Намаза-киши...

Она проводила Алиярова до самой машины. «Эмка» выбралась из села на проселочную дорогу и исчезла вдали, оставив за собой густое облако пыли.

Старуха стояла на улице до тех пор, пока не потеряла машину из виду.

23

Братья Алияровы встретились только утром. Меджид провел эту ночь в квартире брата, на жестком диване в столовой. Он поднялся хмурый, заспанный и сразу сел за стол.

— Где это ты пропадал, братец? Я уже устал ждать. Совсем себя не жалеешь. Можно ли так работать!

— Не повезло, в пути шина лопнула, — Алияров вздохнул и, достав неизменную пачку «Казбека», закурил. — Ты, верно, проголодался? Может, чай согреть?

СОДЕРЖАНИЕ

Вражда 3
Схватка 69
Трудная осень 249
Послесловие 392

Мехти Гусейн
СХВАТКА

М., „Советский писатель“, 1963, 396 стр.

Редактор *А. И. Чеснокова*
Художник *Ю. А. Васильев*
Худож. редактор *В. В. Медведев*
Техн. редактор *З. Г. Игнатова*
Корректоры *С. И. Малкина* и *В. Н. Стаханова*

Сдано в набор 18/III 1963 г. Подписано в печать 29/VIII 1963 г. Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л. $12^3/_8$. (20,30). Уч.-изд. л. 20,87. Тираж 100 000 экз. Заказ № 431.
Цена 78 коп.

Издательство „Советский писатель“ Москва К-9, Б. Гнездниковский пер., 10

Типография им. Володарского Ленииздата, Фонтанка, 57

78 коп.

МЕХТИ ГУСЕЙН

СХВАТКА